МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД 1980

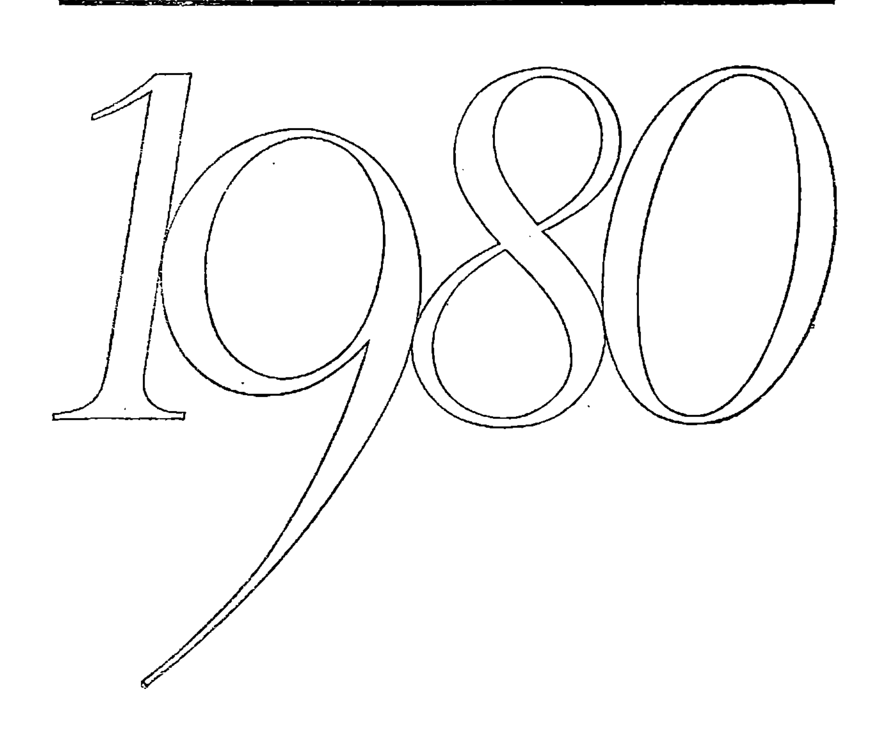
МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД



1980

МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД
1980

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ



МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД



«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1980

СБ 2
М 75

Художники:

Владимир Мартусевич (оформление)
Николай Нефедов
Александр Овсянников
Владимир Орлов

М $\frac{70302-382}{083(02)-80}$ 49—80 4702010200

Александр Ковалев

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ РЕСПУБЛИКИ»

ВОЛХОВ СТРОИТЬ

18 марта 1918 г. на заседании комитета хозяйственной политики ВСНХ В. И. Ленин точно и коротко формулирует решение: «Волхов строить»...

Широк ты, Волхов, статен.
Попробуй с шириной
схватись одной лопатой
да дерзким —
«Волхов строить».
Попробуй расстараться
хоть толпами, хоть в розницу —
смешно кайлом тягаться
с тысячелетней вольницей.
Но, мир переиначивая,
над всей страною —
кайлом,
        лопатой,
                тачками
Волхов строить!
У Волхова силища —
мы будем спорить.
От Ладоги до Ильменя —
Волхов строить!
Нет с шириною сладу —
наляжем втрое.
От Ильменя до Ладоги —
Волхов строить!

Мосты взметнем, что радуги,
над быстриною.
От Ильменя до Ладоги —
Волхов строить!
Запомни нас по имени —
волховстроевцы.
От Ладоги до Ильменя —
Волхов строим!

ГРАФТИО

> Несокрушимая энергия... безграничная трудоспособность, ни на минуту не ослабевающий порыв навстречу новой, трудящейся России...
>
> *Из характеристики на красного директора Волховстроя тов. Графтио Г. О.*

Когда в инженерном совете,
суммировав все резолюции,
чиновник черкнул на проекте
размашистое — «Революция»,
он, видимо, сам опешил.
И, тщательно вымарав слово,
переписал поспешно —
«Предосудительно ново».
Но разве упрячешь действительность
за формулировками куцыми, —
читалось: «Предосудительно»,
а слышалось: «Революция».
Читалось: «Электрификация»,
а из подсознанья просачивалось:
«В России ГЭС — провокация.
В России свет — стачка».
О да! Уникальность конструкции,
в европах престиж, овации.
Техническая революция?
А что, разве есть разница?
«Техническая» — занятно.
Но в закостенелом темени:
престижи, оно приятно,
да только надежней в темени.
Впотьмах на Руси привычнее.

А свет, он всегда скандальнее.
Сегодня дозволь техническую,
а завтра рванут социальную.
«Простите, но есть инструкции. . .»
И вы, не моргнув, растоптали
смешную мою революцию
бетономешалок и стали.
Но так уж она устроена —
сквозь косность,
                цензуру,
                        запреты,
сквозь ссылки, сквозь все остроги
тянулась Россия к свету.
И, видимо, было в конструкции
России достаточно стали —
рванула она Революцию,
ту самую, социальную.
Ту самую, с именем Ленина,
которая первым декретом —
«Долой инструкцию темени!
Даешь инструкцию Света!»
Нет-нет, я отнюдь не политик
и не агитатор Советов.
Я русский гидростроитель.
И я — за инструкцию Света.
Я — за инструкцию воздуха,
совести, мысли, прогресса.
За все революции Волхова
и будущих Днепрогэсов.

ГАВРЮШИН

. . .Среди военных тревог девятнадцатого, голода, тифа, разрухи мы строили завтрашний день страны.

С. Гаврюшин, комиссар Волховстроя

Когда нас Краснов утюжил
шрапнелью в окопах под Красным,
мне, комиссару Гаврюшину,
все было предельно ясно.
Мне было предельно ясно,

что, стрелянные и срубленные,
мы падаем не напрасно, —
там, за спиной, Республика.
Я смыслил в слесарном деле
и мало в атаках фланговых.
Но я понимал предельно:
это — сегодня главное.
И я учился атакам,
под артобстрелом не глохнуть...
Но Ленин сказал: «Не драка,
Ваша наука — Волхов».
Юденич полки обрушивал,
из Бреста грозился немец.
А я, комиссар Гаврюшин,
вникал в чертежи и схемы.
Хотелось завыть по-волчьи,
все бросить и с первым отрядом...
Но Ленин сказал: «Волхов»,
И я понимал — так надо.
И я вникал в накладные,
в счета, формуляры, бланки.
И я писал докладные
и требовал денег в банках.
Начпрод брал за самую глотку,
начстрой — со своими мерками,
и я вышибал селедку,
и я выбивал бетоньерки.
Выслушивал сводки, отчеты
и чьи-то простые души...
И вдруг ощутил отчетливо —
вот он, твой фронт, Гаврюшин.
Фронт, где цена сражения
не трибунал или слава, —
фронт, где терпеть поражение
мы не имеем права.
Ибо не фонды, не сроки
и не в газетах рубрики, —
там, за спиной Волховстройки,
завтрашний день Республики.

ЭКСКАВАТОР НОМЕР ДВЕНАДЦАТЬ

Кирка, лом, лопата стали боевым оружием волховстроевцев. Первый экскаватор — американец «Марион», республиканский номер 12 — появился на стройке осенью 1922 г.

Я экскаватор номер двенадцать.
Я не из идолов культовых,
я кровный брат ломов-пролетарцев
и всех лопат-пролеткультовок.
Я экскаватор номер двенадцать,
ты не смотри пытливо,
я по рождению американец,
но по идее — путиловец.
Я пролетарий душой, рычагами,
всею стальною закваскою.
Сколько в стране нас?
Судите сами —
номер республиканский.
Сколько в стране нас?
А вы всмотритесь
в наше великое братство —
нас миллионы, нас тысячи тысяч,
строящих наше завтра.
Мы архитекторы, мы провозвестники,
«заново мир оборудующие».
Товарищ Мочалов, наляжем вместе
на котлован будущего.
На бюрократов удары обрушивай,
не отступай, не сдавайся,
ковш мой — кулак твой, товарищ Гаврюшин,
действуй, требуй, сражайся.
В чем наша сила, в чем стойкость характера?
Мы не таим секрета —
мы вместе с Лениным,
мы вместе с Графтио,
мы — за инструкцию Света!

РЫЦАРИ СВЕТА

Мы живая газета рабклуба.
Нас нельзя продавать,
Ни читать и ни рвать,
Мы сплоченная мысль Коммуны...

С этого марша начинала свои выступления агитбригада Волховстройки

Выжившие и павшие
в битве за Свет с Теменью,
я начинаю с марша
свой монолог последний.
Названные и не названные
в этих строках коротких,
я начинаю с праздника —
с вашей всеобщей сходки.
Я начинаю с расчета
ваших шеренг геройских —
с вас, кессонщик Федотов,
с вас, предком Кржижановский,
с вас, плитолом Пименов,
с вас, инженер Левин,
с нашего главного имени —
Предсовнаркома
ЛЕНИН
Я начинаю с основы,
с первой искры пламени —
нет, не с ночей бессонных
над чертежами и планами,
нет, не с атак фланговых
и не кормежки скверной —
я начинаю с главного:
с вашей сплоченной
ВЕРЫ.
Каменщики, монтажники,
плотник, нарком, ученый,
я начинаю с праздника
вашей
МЕЧТЫ
сплоченной.
Нет, не с технической справочки
«о киловаттах в натуре», —
с праздника первой лампочки
Волхова и Шатуры.

С праздника вашего братства,
слитого неразделимо
с будущим праздником Братска,
с будущим Усть-Илима,
с будущим всей Планеты —
светлой,
            весенней,
                        юной,
празднующей
        ДЕНЬ СВЕТА
на площадях Коммуны.

Вячеслав Андреев

* * *

Я смотрю на голубые лужи,
И тотчас из памяти моей
Выплывают в их просторы дружно
Флагманы газетных кораблей.

И плывут торжественно и ходко
Сквозь года... И на бортах видны
Отраженные водою сводки
С неоконченной еще войны.

РОВЕСНИКУ

Без громких слов, без выкриков и нервов —
Не знаю, плохи или хороши, —
Мы — лишь солдаты из резерва
И нынче занимаем рубежи.

Теперь уже не спрячешься за спины
Родителей, не убежишь домой.
Десятилетья, будто бы старшины
Неумолимые, нас ставят в строй.

Окончились ребячьи словопренья.
И нам сегодня отвечать с тобой
За то, чтоб мы остались поколеньем
Послевоенным. И никто другой.

СТАРАЯ ГАЗЕТА

Беру ее в ладони,
И рука
Дрожит
Тяжелой дрожью автомата.
В упор стреляет
Каждая строка,
И миной рвется
Выцветшая дата.

Гремит война на согнутом листе.
И со страниц сквозь дымные заметки
С улыбкою в глаза нам смотрят те,
Кто завтра не вернется из разведки.
Здесь, просочившись
Сквозь повязку лет,
От вдовьих слез
Расплывшийся наверно,
Указ алеет...
Это документ,
Где дед представлен
к ордену...
Посмертно.

* * *

Мы лежим,
Отринутые далью,
Там, где нас
Настигла тишина.
В небесах
Посмертною медалью
Дальняя качается
Луна.

Мы лежим,
Не найденные вами,
Писем
Не пославшие родным,
Прислонясь
Друг к другу головами, —
Номер первый
С номером вторым.

Мы легли
В суглинок этот хмурый
Спинами
На солнечный восход,
Как на огневую амбразуру,
Навалясь
На сорок первый год.

Андрей Сочагин

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Каждый год в один и тот же день они собираются у нас. Отец при орденах и медалях, добрый и веселый, уже с раннего утра дежурит у дверей и, заслышав звонок, торопится открыть, крича на всю квартиру: «Сейчас! Сейчас!» Он распахивает дверь и, как перед строем, командует: «З-за-ходи!» Первым, как всегда, приходит Михаил Васильевич Целях. Кавалер двух орденов Славы, он смешно вытягивается, отдает честь и громовым голосом докладывает: «Товарищ капитан второго ранга! Старшина первой статьи Целях по вашему приказанию прибыл!» Они обнимаются, да так, что медали еще долго не могут улечься на груди у каждого. Подбегаю и я: к моей неописуемой радости, Михаил Васильевич здоровается со мной за руку.

— Ну, здравствуй, здравствуй, герой, — рокочет его голос. — Двоек много получил?

— Ни одной! — кричу я, с опаской глядя на отца.

— Ну-у... Молодец. Раз ни одной, тогда держи! — И он из внутреннего кармана пиджака достает большую плитку шоколада.

— Ух ты!..

Мне больше ничего не надо: довольный, я убегаю к себе в комнату.

Отец с гостем проходят в гостиную.

— Кто-нибудь еще пришел?

— Да нет, но к обеду будут все...

— Как Алексей? Приедет?

— Телеграмму получил, но не сообщает, когда будет. Не любит он этих встреч... Да, Миша... Две недели назад у него умерла жена...

— Так что же ты...

— Не кипятись! Я узнал об этом от Баранова. И то только через десять дней... Алексей тогда в санатории Министерства обороны отдыхал... Я приехал, стал помогать, а он от всего отказался. Ну ты же его знаешь...

— Подожди, Юра, а кто же сейчас с ним?

— Ну, кто-то... Сын там, пионеры помогают, военкомат в курсе дела... Все нормально...

— Нормально, говоришь?.. Ладно, приедет — расспрошу... О, слышишь... Еще кто-то из наших. Пошли откроем.

Но я их опередил. Мне интересно было встречать папиных фронтовых друзей, так как они здоровались всегда со мной как со взрослым, что-то обязательно дарили. Гладя мои черные вихры, почти каждый из них говорил: «Похож, похож... Весь в батю». И почему-то всегда после этого спрашивали: «А Алексей уже пришел?»

Для меня он был просто дядя Леша. Единственное, что мне запомнилось в нем с последней встречи, так это его черные перчатки, которые он всегда носил. Он был какой-то невзрачный, совсем не как папа: маленький, худой и с большими печально-препечальными глазами. Не нравился он мне.

Я открыл дверь, а вдогонку мне летело запоздалое отцовское: «Сейчас!» Но, к моему удивлению, на лестничной площадке стояла какая-то тетя. Пока я думал, что мне предпринять, она спросила: «Дима?» — и, не дожидаясь ответа, вошла.

— Дима? — переспросила она, и вдруг ее серьезное лицо превратилось в солнце. Оно излучало такую теплоту, такое счастье, что я даже присел от удивления.

— Юра... — прошептала она. — Миша...

И непонятно мне стало: плачет она или смеется. С минуту она смотрела на папу и дядю Мишу, а затем тихо проговорила:

— Дима, да дай же пройти...

Папа всхлипывал, Целях что-то бормотал, а тетя, плача и целуя их, словно заклинание повторяла: «Миша — Юра... Миша — Юра... Миша — Юра...»

«Зачем они плачут? — думал я. — Ведь сегодня у нас самый большой праздник, как говорит папа. Вот глупые...»

Я не удержался и дернул отца за руку:

— Не плачь. И вы, тетя, тоже... И вы, дядя Миша. Не надо плакать.

— А мы и не плачем, — всхлипнула тетя, доставая платок.

— Нет, плачете, плачете!.. — закричал я, показывая пальцем на ее заплаканное лицо. Две слезные дорожки, идущие от

глаз, блестели, и, как только она их вытирала, они снова становились видимыми.

— Мы плачем для того, чтобы ты смеялся... И зови меня тетя Нина. А это тебе.

И она из маленькой черной сумочки достала шоколадку.

— Вот здорово! Их у меня уже две. — Я забыл сказать «спасибо». Сжимая в руке подарок, я тут же забыл и про тетю Нину. Теперь я был богачом. Вот Танька-то позавидует! Принесу в школу серебряные бумажки, на ее глазах их разглажу, а потом пускай хвастается своими марками.

Я настолько увлекся шоколадом, что даже не пошел встречать очередного гостя. А их пришло сразу несколько. Они вошли шумно, весело. Каждый обнял отца, долго жал ему руку, что-то говорил. Папа всех их построил в одну шеренгу, заставил седого капитана первого ранга доложить ему и уже потом всех рассадил в гостиной.

— Через час начнем, — объявил он. — А пока ты, Коля, ты, Паша, и ты, Нина, шагом марш на камбуз помогать Мише. А вы, мужики, — обратился он к остальным, — раздвигайте стол да распаковывайте свои свертки.

«Мужики» дружно загалдели, сняли пиджаки и кители и в считанные минуты подготовили праздничный стол. Откуда-то достали скатерть. В фартуке появился дядя Миша. Все засмеялись. На подносе он принес несколько блюд, расставил их. Увидев меня, поманил пальцем: «Ну-ка, иди сюда, герой...»

Я приблизился.

— Закрой глаза и не подглядывай.

Я с удовольствием это сделал, предвкушая что-то необычное. За спиной шептались «мужики». Наконец слышу: «Кру-гом!» Оборачиваюсь, и... на подносе, принесенном дядей Мишей, возвышался шоколадный торт! Я подпрыгнул от радости. Вот это да!

В это время раздался звонок. Он был каким-то тихим, даже робким. Обычно так звонит сосед дядя Женя. Но дядя Женя вот уже две недели как болеет.

— Алексей, Алексей... — в один голос заговорили гости и высыпали в коридор. Отец, волнуясь, быстро построил гостей в две шеренги и, рявкнув: «Смирно!» — открыл дверь.

Да, это был Алексей, а для меня — дядя Леша.

Отец взмахнул рукой, и строй гостей, словно на параде, отчеканил:

— Здравия желаем, товарищ старшина!

Отец бережно, как-то нежно обнял его.

— Здравствуй, здравствуй, Леша.

И каждый из ветеранов, подходя к этому человеку, сжимал его за плечи, говорил что-то невнятное, но идущее от сердца. Целях и седой капитан первого ранга поднесли ему цветы.

— Спасибо, друзья, — тихо благодарил он и, глядя на цветы, виновато улыбнулся.

Отец и дядя Миша, осторожно взяв под руки гостя, повели его в гостиную. Усадили. Наступило молчание... Все смотрели на гостя, а тетя Нина опять заплакала. Так длилось несколько минут, пока дядя Миша, прокашлявшись, спросил: «Ну что, начнем?» Все сразу оживились: кто-то передавал тарелки, кто-то разливал вино, тетя Нина поставила цветы в вазу. Многие закурили.

— Товарищи! — Из-за стола поднялся мой отец. Шум моментально прекратился. — Друзья! Братишки!.. — отец запнулся. Он когда волнуется, то немного заикается. — ...Вот мы и снова вместе. Год назад нас на два человека было больше... — отец снова замолчал. — ...Гена Кривошеев до этой встречи не дожил четыре месяца... А недавно умерла Маша... жена Алексея... Прошу всех встать...

Еще минуту назад гости улыбались, смеялись над дядей Мишей в фартуке. А теперь за столом стояли суровые и мужественные люди. Резко обозначились морщины. Тетя Нина не скрывала слез. Сжал свои громадные кулаки капитан первого ранга. Тяжело дышал дядя Паша. Стало очень тихо.

Отец поднял бокал. Его голос дрожал:

— Первый тост, как всегда, за тех, кого нет с нами...

Дядя Миша и тетя Нина убрали грязную посуду и поставили чистую. Отец, горячо споря с капитаном первого ранга, что-то рисовал на салфетке. Дядя Коля показывал какие-то фотографии своему соседу. Гости раскраснелись, громко переговаривались, кто-то звонко, от души хохотал. И лишь дядя Леша казался одиноким. Он смотрел на боевых товарищей, изредка улыбался, иногда что-то тихо и невнятно говорил. Он ничего не ел, бокал стоял нетронутым.

Я подскочил к нему.

— Дядя Леша, а это что такое?

Он наклонил голову, я теребил нашивки на его пиджаке.

— Это за ранения. За легкое и тяжелое.

Пытаясь хоть как-то разговорить его, я выпалил:

— А вам, наверное, холодно?

— Почему? — улыбнулся он.

— Ну, вы же в перчатках!..

...Я до сих пор с ужасом вспоминаю эту минуту. Наступила такая тишина, что звук упавшей вилки мне показался страшным грохотом.

— Дима! ..— Лицо отца стало совсем белым. Таким я его видел только однажды, два года назад, когда умерла моя мама.

— Дима, что ты сказал...— еле проговорила тетя Нина.

Дальше я не помню, что было. Все разом закричали, а я выбежал из комнаты, забился под кровать, боясь показаться оттуда. Даже не знаю, сколько прошло времени, пока меня не нашла тетя Нина. Она вытащила меня из-под кровати, отряхнула, вытерла своим влажным платком мое зареванное, испуганное лицо, усадила рядом.

— Папа тебе не рассказывал... Дядя Леша и твой папа были вместе в лодке, когда их, раненных, переправляли на наш берег. Немцы заметили лодку и открыли огонь. Гребли тетя Маша и еще один моряк. До берега оставалось совсем немного, но волной от разорвавшегося рядом снаряда перевернуло лодку. Трое наших сразу же пошли на дно. Был бы там и твой отец, но Алексей, раненный в руки, успел зубами ухватиться за ворот его кителя и удерживал на воде. Когда мы подошли на катере, то увидели, что он вот так и поддерживает твоего отца, а Маша — и его, и Алексея. И отец, и старшина пришли в себя только в госпитале. Через три месяца твой отец возвратился к себе в часть, а Леше руки ампутировали. С того дня они всегда были вместе...

Я долго не мог опомниться, тетя Нина успокаивала меня. Вошел отец.

— Дима...— отец заикался.— Иди и... попроси прощения.

— Юра, но он же не знал...

— Нина, в этом виноват я, но... все равно. Алексей поймет...

С минуту я смотрел на отца, а потом... Я вскочил. Из шкафа достал торт и шоколадки. Все это переложил на поднос и пошел за отцом в гостиную. Глядя только на дядю Лешу, подошел к нему, положил на колени поднос и... заплакал.

Владимир Кондратьев

ГДЕ-ТО ПЕЛА ШУЛЬЖЕНКО...

Я не мучал себя вопросами —
Просто вслушивался в слова
Грустной песни о поле росном
И — что кружится голова,
Что кого-то ночами нету
И что надо бы не стареть,
Что любовь —
Это бабье лето,
Что любовь —
Это яблонь цветь.
И откуда мне,
Молодому,
Было молодость ту понять?
Где-то пела Шульженко,
Дома
Молча слезы глотала мать...

ДРУГ

Друг давно мне не пишет с БАМа.
Что ж, работа там горяча.
Только это еще не драма —
Писем с БАМа не получать.
Было б все хорошо да складно,
Люди добрые говорят...
Я сегодня опять в нарядной
Для него попрошу наряд

И всю смену опять упрямо
Буду думать, глотая пыль:
«Не забыл бы он вбить на БАМе
За меня хоть один костыль!»

СРАЖЕНИЕ ВО ДВОРЕ

Кричит мне мама из окошка:
«Иди домой, пора уж спать!»
А я, убитый понарошку,
Лежу, еще не вправе встать.
Пусть покричит еще немножко,
А мы победой кончим бой.
Пусть я убит,
Зато Сережка,
Мой самый лучший друг,
Живой!

В ПЕРЕСМЕНКЕ

Газету — ворох новостей —
Читаем в пересменке.
Стоим как дюжина чертей,
чумазые, вдоль стенки.
Вдыхаем запахи весны
И типографской краски,
В дела сегодняшней страны
Вникаем по-хозяйски.
И пусть на оттисках клише
Других ребят портреты,
Светлее как-то на душе
От нашенской газеты!

Михаил Волков

ТАКОЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Маленькая повесть

1

Сегодня Алексей не выспался. Проснулся, как всегда, рано, но несколько минут лежал в постели и глаза сами собой закрылись: снова замелькали обрывки прерванного будильником сна. Ему виделось, что наступил день, все давным-давно работают и только он спит. Алексей рывком сорвал с себя одеяло, резко вскочил на ноги и посмотрел на часы: времени еще предостаточно.

— Фу, черт!

Жена уже встала, а обычно, когда Алексей уходит, спит: ей на работу позже. На кухне вовсю плещется вода. Галина моет оставшуюся с вечера посуду и готовит завтрак. Значит, можно не торопиться, поваляться немного. С трудом пересилив желание снова лечь, он сунул ноги в большие растоптанные тапочки.

— Доброе утро! — окликнула Алексея жена, едва он вышел из комнаты.

Галина готовит салат из лука, кромсает на изрезанной дубовой дощечке первый весенний овощ.

— И тебе самое доброе. — Потянувшись, Алексей остановился на пороге, облокотился о дверной косяк, шутливо спросил: — А что за праздник у нас?

— Как праздник? — не поняла жена.

Алексей кивнул на салат, галантно повел рукой в ее сторону:

— И вы, мадам, ни свет ни заря поднялись. . .

— Что же, по-твоему, я рано встаю только когда праздники? — обиделась Галя.

— Да нет! Я не о том, — смутился Алексей.

Помолчав, он повернулся и пошел в ванную.

— Мне сегодня к врачу.

Наверное, Гале хотелось, чтобы Алексей спросил: «Зачем?», но он сделал вид, что не услышал: захочет — сама скажет.

Он встал под душ; с минуту, не решаясь открыть, держался за кран холодной воды: по спине поползли мурашки. Вдохнув побольше воздуха, Алексей повернул вентиль.

Внизу, во дворе, раздался пронзительный свист. Алексей выглянул в окно: так и есть, Валерка. Затиснув кисти рук под пряжку солдатского ремня, Валерка сам с собой играет в футбол: носком ботинка пробивает камешки между двух поставленных на попа кирпичей.

Свистеть Валерку научил Алексей. Когда-то чуть не в каждом дворе были голубятни. Тогда все мальчишки умели свистеть без пальцев, свернув язык трубочкой и тесно прижав его к зубам. Сейчас голубятен почти не осталось и редко где мальчишки умеют свистеть. А Валерка теперь каждое утро заливается, поторапливает Алексея.

Алексей махнул рукой: «Давай заходи!»

«Я вас здесь обожду», — тряхнул головой Валерка и демонстративно посмотрел на часы.

— Скоро этот обормот начнет ходить на работу раньше трамваев, — проворчал Алексей, усаживаясь за стол.

— Тятя и дитятя, — сказала Галина, и уголки ее полных губ иронически опустились. — Друга нашел.

— Зря ты так, Галя! Не такой уж Валерка гопник, как про него во дворе брешут кумушки. А что молодой... — Алексей не договорил, замолчал.

Галина спорить не стала; передвинув тарелку поближе к мужу, равнодушно сказала:

— Дружи! Мне что!

Спокойно позавтракать Валерка так и не дал. Прошло несколько минут, и он засвистел снова. Обжигаясь, Алексей глотнул чаю, отодвинул в сторону бутерброды, поднялся: пора.

Увидев Алексея, Валерка в который раз посмотрел на часы и промямлил:

— Ну вот, теперь беги из-за вас.

Алексей любит ходить быстро, а Валерка не умеет. Он пристраивается к шагу Алексея, делает короткие шажки, смешно раскачиваясь из стороны в сторону. Сегодня они быстрей обычного прошли до метро, бегом спустились по эскалатору вниз, бегом поднялись наверх и слились с толпой спешащих на работу людей.

После метро утро показалось особенно светлым. Высоко над крышами, куда-то на восток, проползло серое кудлатое облако. Из-за него выскочил ярко блестящий солнечный диск и, полоснув по глазам ослепительной вспышкой, заставил зажмуриться.

Тысячи людей, сливаясь в единый поток, устремились к заводу. От вокзала, от метро, от остановок, из дворов и переулков к ним примыкают все новые и новые толпы. Люди идут молча, сосредоточенно, их шаги энергичны, быстры, подчинены единому ритму, — никто не бежит, не отстает, не мешается под ногами. Чем ближе проходная завода, тем мощней и стремительней эта река, и уже не хватает тротуаров, люди идут прямо по мостовой.

Перед самой проходной Валерка вдруг остановился, прижал руки к груди и умоляюще попросил:

— Алексей Васильевич, не подходите ко мне сегодня совсем... А? Ну, чтобы я все сам, самостоятельно.

— Хорошо, хорошо, самостоятельный, — засмеялся Алексей, а в груди тоскливо шевельнулось чувство: вот окрепли крылышки, сам хочет летать, без моей помощи. И ему стало немного обидно.

На участке Алексей и Валерка появились вовремя, когда, включив на электрощите рубильник, мастер зычно закричал:

— Токаря! Пора приступать.

Участок наполнился шумом, грохотом, лязгом. За стеной затарахтел двигатель вентилятора. Дав станку разогреться, повращаться на холостых оборотах, Алексей вытащил из тумбочки штангель, очки, крючок — убирать стружку.

Станок Алексея стоит напротив небольшого окна с частой связкой переплетов. Сейчас на улице еще прохладно, нет-нет да и ударит по утрам морозец, и оно закрыто, а вот летом, когда теплынь, Алексей будет держать его открытым с утра до вечера. Отсюда, с третьего этажа, видна часть заводского двора. Двор небольшой, его частенько используют как временный склад: привезут что, сгрузят, лежит, пока не найдут место. Бывает, Алексей идет к начальнику цеха:

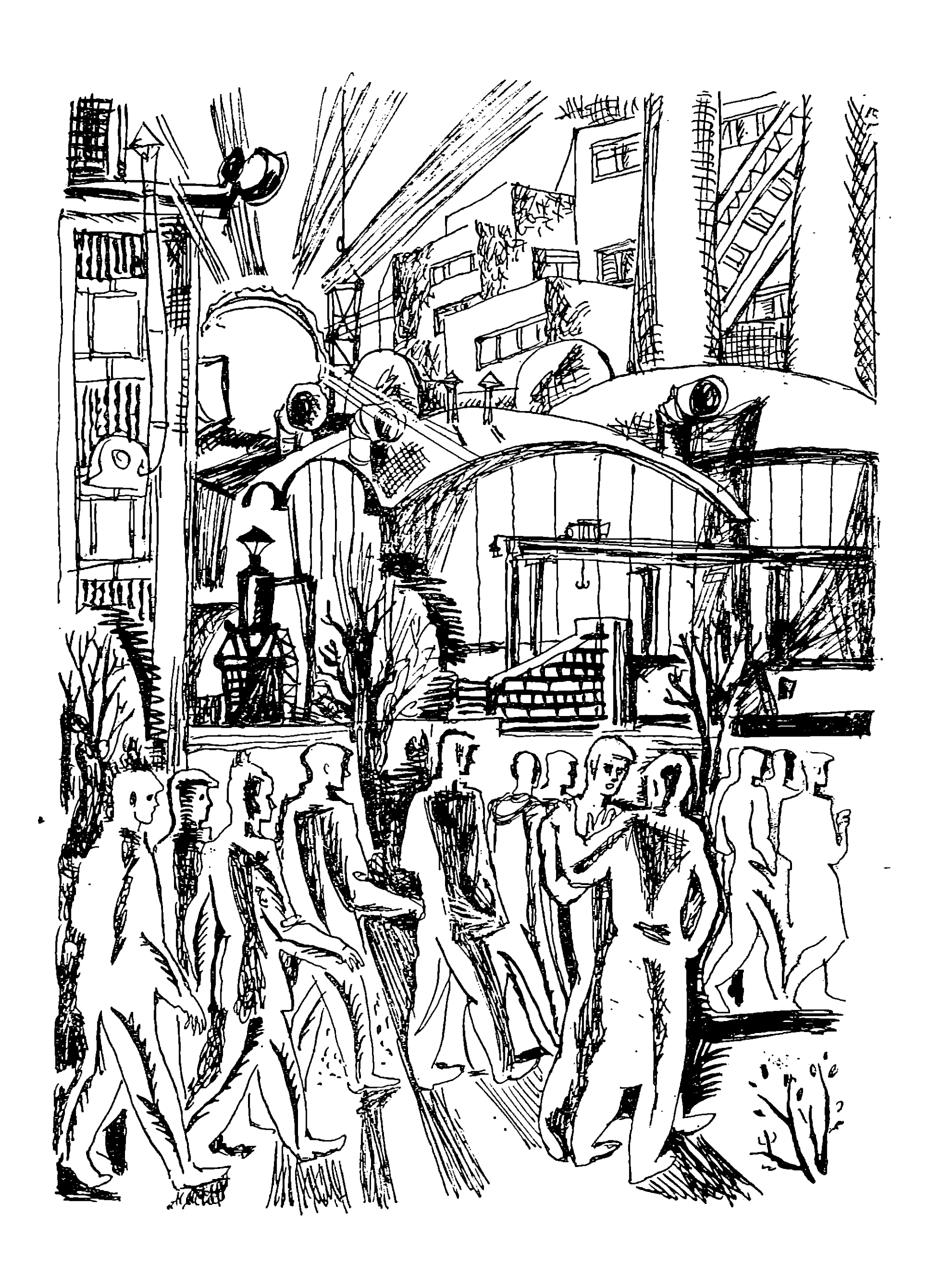
— Николай Сергеевич, станок на улице ржавеет.

Припоминая, Николай Сергеевич трет высокий покатый лоб, что-то резко помечает в блокноте:

— Да, да, Еремин, уберем...

Во дворе растет несколько тополей. Сажали деревьев много, целый сквер, но прижились не все. Говорят: такая на заводе земля, пропитана маслом, эмульсией, — а Алексей думает: такие садовники. Летом, когда кроны распустятся, «козлятники» перенесут стол из цеха в их тень, будут играть в домино на улице.

За заводским забором пустынная улочка, а дальше дома. Что в них — Алексей не знает, и не обращал бы на них внимания,



если бы солнце, к вечеру садясь с другой стороны, не отражалось в окнах и не слепило...

Сегодня Алексей делает валы. Работа простая и не очень тяжелая, а когда она идет, может, в сотый раз, то и вовсе кажется: проще некуда.

Алексей, какой бы ни была работа — новой или старой, выгодной или невыгодной, — любит настроиться на нее основательно: не жалея времени, доводит резцы, выверяет упоры, старается на совесть. Другое дело, когда детали срочно нужны на сборке, тогда начинает увеличивать обороты, подачу, но опять-таки из допусков не выходит, чтоб без брака.

Таня Томилина, контролер ОТК, гладит детали пальчиком, недовольно качает головой:

— Не похоже на вас, Алексей Васильевич!

— Все в допуске, Таня, — хмурится Алексей.

— Но можно бы и получше?..

— Можно бы! — сердится он еще больше, то ли на нее, то ли на самого себя.

После такой работы Алексей здорово устает. Вроде и работа была как работа, не перегнулся, не перетянулся, а идет домой, и еле ноги волочит. Пообедает и какое там книгу читать! — телевизор смотреть и то не хочется.

Другое дело, когда «умная работа» и никто не торопит, не подгоняет. Алексей делает детали как на выставку, любуется. Со стороны посмотришь — еле шевелится, а возьми такую же работу, встань рядом — и не угонишься: что значит двадцать лет у станка отстоять! Алексей не то что не сделает лишнего движения — в сторону не посмотрит, если не надо. Резец скрипит, ему не нравится, переточит, чтобы резал и голоса станка не заглушал. Жесткий размер! Не поленится лишний раз деталь поставить, перекидает всю партию, но зато сделает точь-в-точь.

И время летит: не успел начать — обед, мужики вовсю «козла» забивают, кричат:

— Лешка! Кончай тарахтеть, думать мешаешь...

Таня подойдет, детали пальчиком гладит, улыбается:

— Ну как дела, Алексей Васильевич?

— Все в порядке, Танечка!

— Вы уж меня не подведите, — кокетничает она.

У Алексея личное клеймо. Если и случится брак, чего пока, правда, не бывало, то отдуваться перед начальником ОТК придется самому.

Убирая станок, вытирает тряпкой, думает шутливо: «Ну что, лошадка?»

Станок работает спокойно, мелодично урчит двигатель. Но вот резец вонзается в заготовку. Станок напрягается, взвывает, начинает подрагивать всем корпусом, но, ни на секунду не замедляясь, вал так же бешено продолжает вращаться. Завиваясь в тугую иссиня-черную спираль, шелестя и клацая о станину, сливается в поддон стружка. В свете электрических ламп переливается синим почти готовый вал. Но вал кажется гладким из-за больших оборотов. Когда Алексей снимет его, будут видны и следы резца, и заусеницы. И будет еще много операций, прежде чем вал станет готовой деталью. Сегодня — обдирка.

Ржавчина пылью вьется над станком, запорошила лампочку, она едва светится желтым пятном; руки и лицо испачканы, но Алексей улыбается.

Пока обтачивается один вал, Алексей, не торопясь, вроде лениво, делает шаг назад, берет в ящике заготовку, надевает на нее хомутик, резким движением ключа зажимает болт, кладет заготовку на тумбочку.

Но вот вал проточен, Алексей становится быстрым и вертким: резко останавливает станок, снимает готовый, ставит следующий, врубает ручку фрикциона. . .

Делая шаг назад, он каждый раз смотрит: как там Валерка. Валеркин станок стоит на другом конце участка, наискосок от Алексеева. Иногда Валерка ловит его взгляд и, подняв руку, машет ему: все в порядке.

Валерке с его ростом хорошо играть в баскетбол. Но из-за этой длинноты он кажется худым. Когда же разденется в душе, никакой худобы, сильное поджарое тело с крепкими мышцами. Валерке удобно работать на станке: деталь ставить, снимать — пожалуйста, рук хватает до любого конца дотянуться.

Алексей и Валерка друзья. Конечно, если можно так считать, — ведь Валерка еще салажонок. А официально Алексей — Валеркин наставник, учитель. Начинал обучать с азов, на самых простых деталюшках: показывал, как точить резцы и комбинировать операции. Но Валерка парень толковый, и теперь все чаще обходится без Алексея. В чем Алексей продолжает опекать Валерку, так это подбирает ему все время такую работу, чтобы посложней была: с резьбами, посадками.

— Ты не думай, Валерка, что токарь — это так себе, — иногда говорит Алексей. — Токаря! Пока только в космосе обходятся без них. А так на каждом заводе, на каждой фабрике, в том числе и макаронной, первой строчкой после «Требуется» пишут: «Токарь»! . .

Вчера к Алексею в конце смены подошел мастер Савин; тряхнул головой, показывая: остановись.

— Алексей, завтра встань на расточку гильз. Они на сборке срочно нужны.

Расточка гильз самая нудная и капризная работа в цехе. Десятки людей — и токари, и фрезеровщики, и сверловщики, и термисты — уже приложили к ней руку, теперь финишная чистовая операция, алмазная расточка. Работа сложная, надо выдержать жесткий размер и дать высокий класс чистоты. Только двое в цехе берутся ее делать: Алексей да еще Внуков, но Внуков — старик, ему скоро на пенсию, — и глаза уже не те, и вертеться тяжело. Все чаще их растачивает один Алексей.

— Анатолий Гаврилович! — сказал Алексей. — Поставь Валерку на расточку, пусть поучится.

— Чего? .. — удивленно протянул Савин. — Слушай, Еремин! Детали нужны срочно, и притом годные, ты уж их сам расточи, пожалуйста. А Валера потом потренируется, — и с улыбкой добавил: — Металлолом заводу тоже нужен.

Алексей разозлился:

— Между прочим, у Валерки пока ни одной детали не выкинули.

Савин пожал плечами, но брать на себя ответственность не решился.

— Пойду спрошу Чернышова!

Алексей успел проточить только один вал, как на участке появился старший мастер. Размашистым, пружинистым шагом он направился к Алексею.

— Что тут у вас? — сухо спросил, уставившись на Алексея блеклыми, чуть навыкате глазами.

— Ничего!

Алексей пожал плечами. Понял, что старший мастер недоволен. Если настаивать на своем, то придется ругаться... Этого ему не хотелось, но и от своего отступать он тоже не собирался.

— Предложил на расточку поставить Ситкина, парень работает хорошо, без брака, что же его держать на мелочи...

Чернышов немного смутился. То ли Савин неточно передал слова Алексея, то ли сам не так понял Савина, но строгая складка у переносицы разгладилась.

— А если напортачит?

— Ну-у! — протянул Алексей. — А если? .. Я же не говорю вам: поставьте кого-нибудь, а говорю — Валерку. А за Валерку я ручаюсь. Настроиться ему помогу. Расточит не хуже меня.

Обернувшись к Савину, Чернышов спросил:

— А ведь дело предлагает Еремин, как ты думаешь, мастер?

— Дело... — нехотя согласился тот и отошел.

— Ну вот и хорошо! — Чернышов задумался, что-то прикидывая в уме. — Настройтесь сегодня с вечера. А завтра чтобы все расточить, с гарантией. Давайте.

Старшим мастером Чернышов работает давно, с тех пор как приставший еще в войну ревматизм перешел в хронический. День без боли стал редкостью. Стоять у станка он уже не мог, его перевели мастером, а потом и старшим. У Чернышова много учеников. Алексей — последний. Ему Чернышов передавал свои секреты, знал, что работает токарем последние дни. Рассказывал все, до самой последней мелочи, оставил тумбочку с инструментом и резцами, накопленными за долгие годы. Отдавая, смотрел так тоскливо, будто видел все в последний раз. Тогда кто-то из его товарищей неловко пошутил: «Ты что? Никак помирать собрался?»

Он до сих пор помогает молодым токарям, советует, но это уже не то. Меняется инструмент, меняется работа, да и руки стали забывать... Все же подойди с любым вопросом: сам не знает — в техотдел пойдет, к главному конструктору, обойдет стариков, но обязательно отыщет хитрый резец и редкую оправку и выяснит, почему пошел брак. Алексею иногда кажется, что и разговаривает с токарями Чернышов почтительней, чем с фрезеровщиками или сверловщиками их участка...

Получив «добро» старшего мастера, Алексей и Валерка остались после работы. Алексей позвонил жене, предупредил, что задержится, начал было подробно объяснять Валерке, как растачивать гильзы. Но Валерка вдруг нагнулся, вытащил из тумбочки готовый резец и протянул его Алексею.

Алексей только свистнул.

Молодец парень! Оказывается, сам давно готовится к новым работам, присматривается, точит резцы.

— Ну давай! — улыбнулся Алексей. — Сам, так все сам.

Валерка, видно, хорошо запомнил, как настраивался он, Алексей, и сейчас все делал правильно: расточил кулачки, поставил упор, закрепил индикатор.

— Я пас! — Алексей развел руками. — Сдаюсь. Растачивать будешь завтра. А сейчас...

— В теннис? — предложил Валерка.

— Давай в теннис! — согласился Алексей. — Пару партий, а потом в душ.

Они вымыли руки и, перепрыгивая через ступеньки, побежали наверх, в красный уголок...

Алексей делает шаг назад, кладет готовый вал, берет заготовку, смотрит в сторону Валерки. Нахмурившись, тот сосредоточенно измеряет нутромером гильзу. Рядом аккуратно составлено несколько уже расточенных. Валерка не торопится, помнит, как учил Алексей: «Первый раз, какую работу ни начинаешь, не торопись. Поспешишь — людей насмешишь. Отрабатывай движения, запоминай размеры, кляузные места; чтобы потом делать почти вслепую — не только быстро, но и точно».

К Валерке подошел Бобров Сашка. Бобу сейчас за пятьдесят. Он спивается. Все чаще на работу является заросший, с черной щетиной, с трясущимися руками.

— Во я вчера дал! — восхищенно хвастается он.

«Дал» — это снова напился до бесчувствия. Его тошнит. Он кашляет, сморкается, плюется.

— У, верблюд! — кривится кто-нибудь из мужиков, кто с утра пораньше, до работы, приходит постучать в домино.

Боб косится, но сказать ничего не может: встает и отходит, в одиночестве курит у своего станка или пьет газировку.

Благодушная кладовщица Аннушка любит повторять про Боброва:

— Вот токарь был золотые руки, и человек хороший. Жена стерва попалась, и спился парень.

Алексей тоже помнит, как лет пятнадцать назад пришел к ним Бобров. Работал он, правда, хорошо. Но пил всегда, и пил здорово; из-за этого и с прежнего места уволился. Только он тогда моложе был, сильнее, не так заметно пьянел.

После получки и аванса у него выходной. С похмелья он то и дело бегает пить пиво за проходную, болтается по участкам, несколько дней не работает. А потом придет в себя, видит — нет заработка, начинает брать начальство за горло. Брать за горло — это, никого не слушая, орать, что у тебя семья, дети, тебе их кормить надо, а мастера заработать не дают, халтуры — любимчикам. «Все, сегодня же пишу заявление на расчет... В завком напишу, в обком союза... К черту вашу работу, я себе такую найду... Да с моими руками...»

Приемчик работает как надо. Он получает халтуру.

Сейчас Бобров перестал с Алексеем здороваться, бесится. Прогулял недавно два дня, явился на работу притихший, раньше всех метнулся к станку, включил, начал работать. А перед обедом его вызвали к начальнику. Алексея, как члена цехкома, позвали тоже.

Бобров робко присел на край стула. Николай Сергеевич, дописав какую-то бумагу, поднял глаза, по его лицу скользнула тень: Бобров плакал.

— Та-ак! — протянул Николай Сергеевич, постукивая карандашом по столу, не зная, видно, что говорить Боброву. — Что же нам с вами делать? Два дня прогула — это конечно... Вы же столько лет отработали на производстве, Бобров, знаете, что мы вас обязаны уволить... Да! — Николай Сергеевич задумался, замолчал на минуту, спросил у Алексея:

— Ну что, может, простим его? Там... общественное порицание?.. А?..

Бобров облегченно выдохнул: обошлось, раз начальник решил, значит, все.

— Знаете, Николай Сергеевич, — возразил Алексей, — у Боброва это не первый раз, к тому же не мальчик... Работать ли ему и дальше, пусть решает цехком.

— Ну что же... — согласился Николай Сергеевич. — Будь по-твоему.

«Ничего, пусть потрясется, может, перестанет быть наглецом», — подумал про себя Алексей.

Бобров тогда ничего не сказал Алексею, но здороваться с ним перестал.

...Боб что-то говорит Валерке, щупает пальцем гильзу внутри — смотрит чистоту, улыбается. Валерка тоже улыбается: доволен, наверное похвалил Бобров.

2

Они познакомились четыре месяца назад. Хотя знали друг друга намного раньше — жили в одном дворе. Когда Алексей заканчивал ремесленное, Валерка карапузом гулял с бабушкой; а потом, когда Валерка вытянулся, Алексей просто не обращал на него внимания: какие у него, взрослого человека, могли быть общие интересы с пацаном?

На работе, увидев Валерку в раздевалке, уловил что-то знакомое:

— А, сосед!

И все.

А потом был понедельник. Второй понедельник месяца, когда обычно в конференц-зале собирается цеховой комитет. В тот понедельник Алексей закончил работу около трех, почище убрал станок и пошел мыться: несолидно члену цехкома опаздывать на заседание.

В конференц-зале тишина. Пока пришли только двое. Предцехкома Косов тихо ссутулился над бумагами, перелистывает их — видно, готовится к докладу, — да, скучая, позевывает Семенова из планового.

— Заходи, заходи! — поманила она рукой Алексея.

— Покурю пока, — показал Алексей сигарету.

Неожиданно, так что Алексей вздрогнул, его хлопнули по плечу.

— Здоров, — улыбался Елкин.

Елкин раньше тоже был токарем, и неплохим, их станки стояли рядом. Случалось, что приходилсcь помогать друг другу. После армии окончил институт и теперь инженерит.

— Ну как там моя рацуха? — спросил Алексей.

— Во! — Елкин поднял большой палец. — Чуть-чуть подправить крепление и — фирма...

— Подправишь, мне покажи.

— Товарищи! Алексей Васильевич! — грузный, подслеповатый Фельцман, инженер по технике безопасности, взял их под руки. — Принимаем решения, боремся и сами же нарушаем? В курилку курить, товарищи, в курилку!

Но поговорить им так и не удалось. Едва уселись, прибежал запыхавшийся Паша Пелегин, тоже член цехового комитета.

— Алексей Васильевич, все давно собрались, только вас ждут.

К удивлению Алексея, все, действительно, сидели на местах и ждали только его.

Сразу заговорили о трудностях: в основном подводили заготовители. Мастер заготовительного участка сидел тут же, и Косов предложил ему высказаться.

Мосалов поднялся нехотя, резко заговорил:

— А что я сделаю? На участок из кадров присылают одних алкоголиков. Хороших куда угодно, только не к Мосалову... Сами попробуйте.

Косов сморщился.

— Вам дали петеушника, — он заглянул в бумажку, — Ситкина. А вы на него уже написали докладную, чтобы уволить по статье как прогульщика... Кстати, он здесь? Давайте сразу и с ним разберемся... Пригласите...

Паша Пелегин вскочил со своего места.

— Валерка! — крикнул он, приоткрыв дверь. — Дуй сюда.

Ситкин в зал вошел боком, несмело остановился около дверей. Темные волосы прядями свисали на шею, из-под них лопухами торчали уши. Непомерно растянувшийся свитер мешком болтался на его худощавом теле.

— Нашкодил, а отвечать дядя будет? — рявкнул Мосалов.— Проходи ближе, не стесняйся.

Робко жавшийся у дверей Валерка зло набычился. Подошел к столу, уселся, откинувшись на спинку стула. Мосалов хотел еще что-то сказать, но осекся.

— Вот, на вас поступила от мастера докладная записка, — начал Косов, внимательно разглядывая Валерку. — Мастер пишет, что прогуливаете, станки ломаете, просит вас уволить. Можете вы нам объяснить свое поведение?

— Ну и увольняйте... — Валерка попытался ухмыльнуться, но губы обиженно скривились.

— Увольняйте... Уволить проще простого. Только как потом, дальше вам жить? А работать, не прогуливая, надо везде... Вы что же, всю жизнь решили прогулять?

Наклонив голову, выковыривая из-под ногтей грязь, Валерка молчал.

— Ты можешь сказать по-людски — будешь работать, как все, или снова станешь прогуливать? — пришел на помощь Валерке начальник цеха. — Будешь прогуливать — мы тебя уволим, станешь честно работать — подумаем...

— Не буду, — чуть слышно промычал Валерка.

— Ну что нам с тобой делать? — Косов ладонью потер глаза. — Иди пока в коридор, посиди.

Сутулясь, не поднимая головы, Валерка вышел.

— Либералы! — скривился Мосалов.

Алексей не выдержал. Он не собирался защищать Валерку, мальчишка не понравился ему, но...

— Можно мне? — поднялся он из-за стола. — К нам тоже приходят молодые, Мосалов, тоже ломают станки, тоже неважно работают. Вспомни! Двадцать лет назад мы сами были такими... Учить их надо, а не выгонять. Он мальчишка еще, и выгнать — значит, наверняка дальше из него балбес вырастет. Ты вот здесь кричал нам, а в пятницу от тебя в конце смены тоже не ландышем попахивало. Было?

— Врешь! — неуверенно буркнул Мосалов, но глаза испуганно метнулись, лицо покраснело.

— Воспитывать ребят надо! За руку водить, рядом стоять, пока не поумнеют.

— Вот и воспитывай! — Мосалов, хлопнув дверью, выскочил из зала.

— Николай Сергеевич! — обратился Косов к начальнику. — Не первый сигнал о Мосалове, пора принимать какие-то меры. Да и хам он порядочный...

— Да! Да! Подумаем! — Николай Сергеевич чиркнул в блокноте, посмотрел на часы. — Давайте дальше.

— Здесь-то что решим? — забеспокоилась Семенова.

— Алексей Васильевич заступился, вот под его личную ответственность, — легко решил Косов. — Молодежный сектор у него, вот пусть и пошефствует.

— Так... — Алексей хотел возразить, но Косов даже не посмотрел в его сторону.

— Кто за?

Проголосовали единогласно...

— А ты чего еще здесь? — В полуосвещенном коридоре Алексей увидел сгорбленную фигуру Валерки.

— Вас жду. — Валерка смотрел с интересом. — Мосел сказал, что теперь вы меня воспитывать будете. Ждать велел.

— Пойдем, — сухо позвал Алексей.

Шли молча. Дельных слов, чтобы начать разговор, у Алексея не находилось.

Валерка вышагивал рядом. Приглядываясь к нему вблизи, Алексей не нашел в нем ничего развязного, скорее Валерка был просто нескладным. Стесняясь своего роста, он шел сутулясь, засунув руки глубоко в карманы куртки.

Они спустились в метро. Час пик прошел, людей в вестибюле было немного. Наконец решив, что совсем промолчать нехорошо, Алексей спросил:

— Ты любишь свою работу?

— Не-е!

— Почему?

— Грязная, и платят мало, вон все руки в занозах...

Алексей представил себя на заготовительном участке: ряды стеллажей, нудная — изо дня в день одно и то же — работа...

— Зачем же пошел?

— А кто меня спрашивал? Пришел — послали. Ну и пошел.

— Ну а есть у тебя... Что ты любишь? — спросил Алексей, начиная раздражаться.

— Я?! — Валерка хитро подмигнул. — Я петь люблю... под гитару...

— И хорошо получается?

Валерка вдруг остановился, вдохнул побольше воздуха и, вихляя руками и ногами, гнусаво заорал: «Ду ван ду се, ду ван ду фри...»

Испуганно обернулись немногие прохожие, пошел в их

сторону дежурный по станции милиционер. Алексей растерянно оглянулся. А Валерка с невинной улыбкой добродушно спросил:

— Ну как?

— Молодец! — желчно похвалил Алексей.

— Алексей Васильевич! — Валерка брал инициативу в свои руки. — Вы правда теперь меня воспитывать будете?

— Правда, — кивнул головой Алексей.

— Тогда давайте сейчас в кино сходим. В «Москве» картина идет... зашибись!

Этого еще не хватало! Только что Алексей мечтал, как придет домой, вымоется в ванне, почитает книгу. И на тебе...

— Не могу, Валерка, устал, и вообще, лучше завтра...

Валерка обиженно сморщился, отвернулся, еще больше ссутулился. Алексею стало его жаль.

— Сходи один.

Валерка щелкнул пальцами: денег нет.

— Я дам.

— Два рубля...

— Одного хватит.

— Алексей Васильевич, — стал уговаривать Валерка. — Раз вы не пойдете, я девушку приглашу, не идти же мне одному? А там две серии.

Схватив деньги, Валерка кинулся к выходу.

— Ты куда?

— Мне тут ближе, — на ходу откликнулся Валерка. — Не беспокойтесь, с получки отдам.

Часы показывали половину девятого. Подошла электричка. «Соврал про кино, наверно», — подумал Алексей.

На следующий день цехком не выходил у Алексея из головы.

Черт возьми этого Ситкина! Ну хотя бы был парень с их участка, другое дело. Тут он на глазах, в любое время подойти можно, помочь, а так? Что же ему, как надзирателю, мотаться, следить: пришел Ситкин или нет, ломает он станок или работает на нем. Чертовщина какая-то!

Поговорить с мужиками? Да там и нет никого, кого он хорошо знает. В этом прав Мосалов, что заготовка — проходная казарма... Поговорить с Мосаловым? Нет уж, дудки. У них и до этого отношения как на ножах, а после вчерашнего добра не жди. Мосалов мужик мстительный.

И тут Алексею пришла мысль перетащить Валерку к ним на участок, токарем. Что ему на заготовке чахнуть? Работа и гряз-

ная и неинтересная. Правда, он револьверщик, но это ничего, выучится... «Помогу резцы точить, настраиваться... Парень он сообразительный, захочет — толк будет».

Решил сразу и поговорить. Сначала с Валеркой, разумеется, а то вдруг откажется, потом уже с начальником.

Алексей прошел весь заготовительный участок, но Валерки нигде не увидел. Подошел к рослому незнакомому детине в грязной, засаленной спецовке.

— Ситкин работает?

— Был с утра, — нехотя откликнулся парень.

— А где сейчас?

Детина кивнул на часы:

— Не видишь, оперативка началась!

Алексей посмотрел на часы: действительно, десятый час, а в девять начинается оперативка. Да, но при чем здесь Валерка?

— Неужели опять нашкодил? — вырвалось у него.

Детина удивленно посмотрел на Алексея, осклабился:

— Ты сколько лет на заводе?

— Восемнадцать... — ничего не понимая, ответил Алексей.

Детина засмеялся:

— Восемнадцать лет отработал, а не знаешь: когда начальство заседает, рабочий класс опохмеляется... Вчера твой Валерка набрался здорово, пиво пить ушел. Усек?

— Усек! — нахмурился Алексей. — А ты чего не пошел, не пьешь?

— Денег нет, — откровенно вздохнул детина. — А то дашь?

— Не дам! — резко оборвал Алексей и направился к себе на участок.

Настроение у него испортилось. «Просил на кино, а сам пропил», — думал он.

Но Валерка не стоял у пивного ларька. Он был на оперативке. Валерка пошел туда сам...

— Здравствуйте, Алексей Васильевич!

Перекладывая из ящика в ящик детали, Алексей считал их. Мельком глянул перед собой. Увидев улыбающегося Валерку, Алексей качнул головой.

— Меня к вам послали, — радостно сообщил Валерка. — Мастер сказал станок и работу показать.

Алексей, недовольно оглядев его с ног до головы, подвел к соседнему станку, настроил на какие-то деталюшки, крутанул два раза. Сказав: «Делай так!» — отошел.

Валерка медленно ковырялся, несколько раз у него ломались



резцы, но Алексей, увлекшись работой, совсем забыл о нем. Увидев вечером в раздевалке, небрежно спросил:

— Ну как отработалось?

Валерка посмотрел злыми глазами, заговорил обиженно, с дрожью в голосе:

— Я-то думал, ты человек, а ты... ты болтун, — казалось, еще чуть-чуть — и он заплачет.

— Ты что? — опешил Алексей.

— Что-что? — зачастил Валерка. — Вчера, как порядочный, говорил: «Я — твой учитель... работу любить надо...» Я, дурак, сегодня начальнику в ножки кланялся — просил к тебе перевести... Знал бы...

Валерка рванулся к выходу, Алексей, все вдруг поняв, схватил его за руку:

— Прости!..

С этого дня Валерка стал токарем.

Алексею не пришлось особенно возиться. Револьверщики те же токари, только профиль у́же. Увидев, что Валерка получил новую работу, разложил чертежи на тумбочке и задумался, Алексей останавливал свой станок, направлялся к нему.

— С чего начнешь? — спрашивал он.

— Сначала, наверно, эту сторону, потом это, это... — Валерка водил пальцем по чертежу, показывая размеры.

Иногда Алексей подсказывал:

— Здесь сперва проточи этот диаметр, — или что-нибудь в этом роде.

Настроившись и сделав первую деталь, Валерка подзывал Алексея. Алексей по стружке определял, правильно ли подобраны режимы, проверял размеры, хлопнув по плечу, благословлял:

— Молоток, Валерка, так и жми!

Но дружба между ними началась чуть позже. Алексей решил зайти к нему домой, познакомиться поближе. Решил неожиданно для себя. Шел домой, проходил мимо Валеркиной парадной, подумал — почему бы не зайти? И зашел.

Валерки дома не было, дверь Алексею открыла его мать.

— Здравствуйте! — удивилась она. — Вы с завода?.. Что-нибудь случилось?

— Да нет. Не случилось. Я наставник вашего сына, вот зашел познакомиться... Он дома?

Ситкина развела руками, лицо стало грустным.

— Проходите, я сейчас.

Алексей мялся в прихожей, не зная, проходить в комнату в

ботинках или разуться. Она громыхнула на кухне кастрюлей, сняла передник, вернулась:

— Ну что же вы? Проходите, проходите так: все равно скоро буду мыть полы.

В большой комнате скромно и чисто.

На круглом, застланном скатертью столе в большой бледно-синей вазе засушенные розы.

— Вы Алексей... Васильевич? — спросила Ситкина. — Валерик мне рассказывал про вас, что вы ему... как бы учитель по работе... Выпивать стал Валера, — сказала, помолчав. — Связался он тут с одним, освободился недавно... Да вы знаете его, Машков, а зовут то ли Сява, то ли Сявка. Высокий такой. Вот с ним...

— Так что, он и сейчас с Машковым?

— Наверно, где же еще! Была у него до этого девочка, дружили вроде, теперь к ней родители за версту не подпускают. Я уж и бить пробовала, да разве справишься? Раз стеганула, так он вырвал ремень и на мелкие кусочки нарезал. Ты, говорит, мать, не суйся в мои дела, а самого аж трясет всего... Чует мое сердце, не доведет его этот Сява до добра.

Этого от Валерки Алексей совсем не ожидал.

...Седьмой час вечера, а темень — как глухой ночью. Только у самой земли мглу рассеивает сиреневый свет фонарей да светится свежевыпавший снег.

Алексей остановил какого-то мальчишку:

— Знаешь Валерку? — Он кивнул на парадную, из которой только что вышел.

Мальчишка затоптался, подозрительно посмотрев на Алексея. Махнул в сторону нового, еще незаселенного дома:

— Они там в секу дуются...

Алексей легко, по-мальчишески побежал к стройке. На тротуаре чернели накатанные ледяные полосы. Он с разбегу вставал на эти полосы и, балансируя расставленными руками, легко катился.

По хорошо натоптанной тропке прошел к дому, начал осторожно подниматься по лестнице. Поднявшись на несколько маршей, услышал голоса. Они доносились откуда-то снизу.

— Ну и пошли вон, обормоты, — узнал Алексей бас Славки Машкова. — По пятаку на брата, а тоже садятся играть.

— На, выпей за успех предприятия! — продолжал Машков. — Значит, как договорились. Зайдешь в цех, возьмешь ящичек и мне через забор ра-аз, и готово! Если спросят, скажи — мастер велел, а какой, не знаю. Понял? В крайнем случае, если в охрану отведут, поплачь, покайся. Первый раз простят. Вон у

тебя учитель какой, герой труда, выручит. Объявят выговор по моральной линии и все! — вздохнул. — Это мне срок намотают как пить дать...

— Не-е по-ойду! — заикаясь, выкрикнул Валерка.

Звякнули стаканы.

— Э, мальчик! Как это не пойду? Пить на чужие — это, значит, можно, а оказать услугу человеку нельзя? Так! А у меня уже и покупатель есть, человек ждет, значит, я ведь обещал ему и от твоего имени... А он — не пойду!

Славка вдруг заорал:

— Я ведь в милицию не побегу... Я тебе, тварь, сейчас как дам кирпичом по башке... Пей!

Слышно было, как застучали о стекло зубы.

— То-то, — удовлетворенно буркнул Славка. — Пошли!

Алексей словно очнулся. Что задумал Машков? Он рванулся бегом по коридору. В темноте из-под ног вылетал битый кирпич, какой-то хлам. Этажом ниже в проеме окна появились два силуэта.

— Стой! — крикнул Алексей осипшим вдруг голосом.

— Кто там? — испуганно дернулся Славка.

По стене скользнул лучик фонарика; споткнувшись, остановился на Алексее.

— А... а, ты! — узнал его Машков. — В картишки пришел? Поздно уже, расходимся, завтра, завтра...

Увидев, что Алексей один, Славка расслабился, к нему вернулась прежняя уверенность.

Ощупывая ногами каждую ступеньку, Алексей спускался все ниже.

— Я тебе сейчас покажу, как сходишь разок и все... — начал он.

— Алек... — икнул Валерка, но Славка ударил его наотмашь по голове. Валерка упал, глухо завозился в темноте.

Алексей бросился на Славку сверху, но споткнулся. Выставив вперед руки, полетел ему под ноги. Хотел вскочить, но, размахнувшись, Славка пнул ногой в пах. От резкой боли перехватило дыхание, в глазах замельтешили белые искорки. Славка ударил еще раз, потом еще... Бил с оттяжкой, изо всей силы, при каждом ударе с шумом выдыхая воздух.

Поднявшись в темноте, Валерка бросился Славке на спину.

— Гаденыш! — рассвирепел Машков.

Но с двоими Славке не справиться.

— Болтнете кому — убью! — пригрозил он и, глухо топая, побежал вниз.

Алексей поднял скорчившегося Валерку. Держась руками за

живот, присел передохнуть на подоконник. Вышли на улицу. Осматривая испачканную одежду, Алексей покачал головой, пытался пошутить:

— Здорово он нас! А?

Валерка шмыгнул носом и промолчал.

Алексей похлопал ладонями по брюкам, по куртке, но грязь в рассеянном свете фонарей была видна плохо. Свернув на тропку, он оглянулся и позвал Валерку:

— Пошли в дружину, там почистимся...

Славку задержали, когда тот выбирался с завода.

Один за другим замолчали станки, погасли под потолком лампы. Цех погрузился в сумерки. Только в дальнем углу, около конторки мастеров, осталось гореть несколько светильников. Обед. Заспорили, застучали по столу костяшками домино «козлятники».

— Еремин! Подожди минутку!

Махнув над головой свернутыми в трубку газетами, к нему торопливо шагал Пахомов, парторг завода.

— Здравствуй! — Пахомов крепко пожал Алексею запястье, и некрасивое, широкое лицо его смягчила улыбка.

Они отошли в сторону; по проходу туда и обратно суматошно носились электрокары.

— Я вот о чем! — начал Пахомов. — Скоро на завод придут молодые ребята, выпускники училищ, им будет нужен наставник. Что, если тебе взяться за это?

Вопрос застал Алексея врасплох.

Про наставничество он часто читал, слышал по радио, но представлял весьма смутно, кто же такой наставник.

— Не знаю!.. — невразумительно промычал Алексей. — Да и справлюсь ли?..

Пахомов повел большой седеющей головой:

— Не торопись, подумай! Но дело, хочу сказать, очень нужное, — он посмотрел на часы и спросил: — Тебе в столовую? Пошли! Нам по пути.

Они вышли из цеха. Алексей знал, что Пахомов не может быстро ходить: с войны осталась памятка — обе ноги повреждены осколками гранаты.

— Ты знаешь, я в тебе уверен, ты справишься, — убеждал Алексея Пахомов. — Взять Ситкина. Уже хотели уволить парня, а ты из него человека сделал. Нет! Соглашайся, обязательно соглашайся. Я уверен: наставничество — твое призвание.

Прощаясь, Пахомов неожиданно задержал руку Алексея:

— Леша! Если, конечно, не тайна, почему ты не в партии?

Алексей улыбнулся:

— Наверное, потому, что считаю себя не вполне достойным, — ответил он, а сам подумал: «Как это — прийти и сказать: «Примите меня в партию!» Это все равно, что потребовать: «Хочу стать героем, дайте мне орден!»

Пахомов внимательно посмотрел на Алексея, и его глаза лукаво сощурились:

— Достоин ты или не достоин, это решать твоим товарищам. Я говорил с ними, о тебе на заводе хорошее мнение. Думаю, с рекомендациями затруднений не будет. Подумай! В общем, жду!

Когда Алексей вошел в столовую, Валерка уже разгружал подносы. Увидев Алексея, шутливо склонился:

— Маэстро, кушать подано!

Валерка откровенно восхищается Алексеем, его работой; копирует даже походку: при ходьбе перестал заворачивать носки внутрь.

Алексею неудобно, что Валерка накрывает на стол, еще подумают: заставляет мальчишку прислуживать. Пробурчал:

— Завтра моя очередь...

— Конечно, ваша, — легко согласился Валерка. — Только, чур, не опаздывать.

— Опоздать не опоздаю, — назидательно сказал Алексей, — но и раньше времени убегать в столовую, как некоторые, не собираюсь.

— Хм! Лучше на две минуты раньше убежать в столовую, чем уйти вовремя, но опоздать на полчаса, — съехидничал Валерка.

Алексей оглянулся. Действительно, и в кассу, и к раздаче вытянулся длинный хвост. Полчаса — это Валерка загнул, но минут десять на обед не хватит точно. Вот еще один вопрос, который обязательно надо решить на цехкоме.

Они обедали молча.

Валерка ест быстро. Откусывает большие куски хлеба, энергично жует, поминутно смотрит на часы; ложка мелькает в воздухе. Такое впечатление, что он или очень голодный, или куда-то торопится, того и гляди вскочит и побежит. Алексей, когда первый раз увидел, так и спросил.

— Не! — смутился Валерка. — Мне ребята рассказывали, что в армии едят по времени, а кто не укладывается, выходит из-за стола с пустым пузом.

— Тренируешься, значит? — посочувствовал Алексей.

— Тренируюсь! — вздохнул Валерка.

Алексею вспомнилось предложение Пахомова.

Если говорить откровенно, то не очень хочется связываться с пацанами: заботы, хлопоты! Валерка — одно дело, а группа — это уж слишком. Сам был молодым, знает, чем это пахнет: будут нормальные ребята, но будут и разгильдяи, хватишь тогда.

Как было с Валеркой? Смотрит — парень задумался, стоит, не работает, — сразу подходит к нему: «В чем дело?» Еще раз объяснит, резец переточит. Валерка потом останавливаться боялся, чтоб Алексея от работы не отрывать. В конце первого месяца Савин вызвал Алексея в контору, растерянно спросил:

— Что будем делать, Васильевич?

— А что случилось? — не понял Алексей.

— Как что? — Савин крутанулся на стуле. — Зарплаты у вас нет, процентов выполнения тоже...

— Ну и что? — Алексею смешно стало. — Ты за что больше переживаешь, мастер, за проценты или зарплату? Я же этот месяц по цеху не болтался, не пьянствовал?

— Нет! — согласился Савин.

— Ну вот и хорошо, — спокойно продолжал Алексей. — Значит, месяц я занимался делом, обучал человека работать. Так и напиши в сводке: задание не выполнил по такой-то причине.

— Но зарплаты все равно нет! — снова крутанулся Савин.

— А и бог с ней, — бросил Алексей. — Всех денег все равно не заработаешь, — повернулся и вышел...

«Надо соглашаться», — подумал Алексей. Но представить себя в роли учителя не мог. Стать наставником целой группы — необычно, да и, честно сказать, страшновато.

3

С обеда время потянулось дольше. Алексей то и дело смотрит на часы: стрелки медленно движутся по циферблату. Целый день обдирка — утомительно.

Алексей в очередной раз сделал шаг назад, положил обработанный вал, взял заготовку, по инерции взглянул в сторону Валерки и удивился... Окружив Ситкина полукольцом, собрался настоящий консилиум: Савин, Чернышов, Таня Томилина и начальник ОТК завода Кузнецов. Чернышов, распалясь, что-то кричит Валерке, машет одной рукой, другая спрятана за спину. Валерка тоже машет руками, но говорить ему не дают и он замолкает, зло косится по сторонам.

Увидев, что Алексей смотрит в их сторону, Савин махнул ему: подойди.

«Что у них там? — Алексей выключил станок. — Ох, Кузнецов! Вечно к чему-нибудь прицепится...»

Молча подойдя, Алексей взял первую попавшуюся гильзу и ахнул. Даже на глаз были видны острые, шершавые риски, оставленные резцом.

— Что же ты? — только и нашелся что сказать Алексей.

Валерка совсем растерялся, дернулся в сторону Боброва, но тот, презрительно фыркнув, отвернулся. Валерка беспомощно опустил руки.

— Сколько штук расточил? — сухо спросил Чернышов.

— Четыреста...

— И все такие?

Валерка промолчал.

— Вот! — Чернышов прикинул в уме: каждая гильза стоит около пяти рублей. — Две тысячи рублей коту под хвост, на свалку...

— Да хватит вам! — раздраженно бросил Алексей.

— Что хватит! Что хватит! — взорвался Чернышов. — Завтра начальник сборочного позвонит мне, а я пошлю его к тебе. И ты объясни ему, что у тебя был эксперимент с учеником, что он у тебя не получился. Ударнички!.. — махнул рукой и пошел прочь.

Остальные тоже отошли.

Алексей сунул палец в одну гильзу, во вторую... Бесполезно смотреть — все как одна! Как нехорошо получилось! Специально не подошел ни разу за смену, решил доверить, а Валерка отличился! Хотя бы первую посмотреть... Бобров, тот подошел... Бобров?.. А что он, собственно, здесь делал? Как-то раз он схватил гильзы, так же напахал, теперь его близко не подпускают... Так вот в чем дело!

Алексей вплотную подступил к Валерке, глухо спросил, кивнув на Боброва:

— Он насоветовал?

Валерка спрятал глаза, слабо кивнул: да!

В два прыжка Алексей оказался рядом с Бобровым, рванул его за отвороты куртки, сдерживаясь, чтобы не ударить.

— Эта шутка тебе дорого обойдется!..

Вмешался подошедший Внуков:

— В чем дело, Алексей?

— Да вот, насоветовал парню, как лучше гильзы запороть...

— Брось его! — Внуков положил руку на плечо Алексея. — Он алкаш и уже идиот. А идиоту объяснять — сам идиотом станешь. Гнать его давно пора! Пойдем покурим.

Алексей долго сидел в курилке, ни с кем не разговаривая. Расходились по домам ребята. Приступала к работе немногочисленная вторая смена.

— А ты что? — спрашивали его.

— Иду... — односложно отвечал Алексей.

Валерка сидел рядом. Сначала он сутулился, вздыхал, но его хватило ненадолго. Происшедшее уже не казалось таким страшным, как сначала: «Подумаешь, запорол! Мастер придумает что-нибудь, у него голова что надо!» Валерка начал откровенно зевать, застучал по скамейке гаечным ключом.

Постукивание наконец вывело Алексея из себя:

— А ты чего здесь торчишь?

— Так, — обиделся Валерка.

— Иди, без тебя разберусь, — погнал его Алексей.

Валерка, мрачный, встал, покорно пошел в раздевалку.

Подперев голову руками, Алексей остался сидеть один. Он хотел сосредоточиться, придумать что-нибудь, но не мог: мысли беспомощно разбегались и думалось о чем угодно, только не о работе.

Приоткрыв двери, на участок заглянул старик вахтер:

— Ты Еремин?

— Я...

— Иди, в проходную вызывают.

Алексея ждала жена. В ярко-красном плаще и газовой косынке, стянувшей светлые волосы, она была очень красивой. Волосы мягкими волнами спускались на плечи, оттеняли лицо.

— Что-нибудь случилось? — встревоженно спросил Алексей.

— Нет. Просто пришла встретить. Ты скоро?

Алексей покачал головой:

— Ой! Сегодня, наверно, до ночи. Долго.

Галина погрустнела.

— Ну вот, в кои веки собралась встретить, а он не может уйти вовремя.

— Сегодня действительно надо, — вздохнув, сказал Алексей.

Они стояли в дальнем конце проходной. Вахтерша закрыла окно своей конторки и равнодушно отвернулась. Галина облокотилась на перегородку, приблизилась к Алексею, зашептала, обдавая горячим дыханием щеку:

— Леша!.. У нас будет сын.

Алексей растерялся, схватил руку жены: на запястье остался жирный масленый отпечаток.

— Ну вот, понежничал... — сказал смущенно.

Галина вытащила платок, вытерла пятно с руки, улыбнулась:

— Пойду я, что-то голова кружится... У вас вечером столовая работает? Или принести поесть чего-нибудь?

— Буфет работает, — успокоил ее Алексей. — Ты иди, не волнуйся.

Возвращаясь, Алексей три лестничных марша проскочил бегом.

В ремонтном цехе Алексей нашел чугунную болванку. На чистом листе бумаги набросал эскиз притира и принялся за работу.

Будет, конечно, не совсем то, что надо, но пойдет. Валерка наделал в плюсе, как раз!

Смазав притир алмазной пастой, Алексей попробовал. Гребешки в несколько соток снимались легко и быстро, без каких-либо усилий. Значительно улучшилась чистота: матовая поверхность гильз блестела, ноготь скользил по металлу, как по стеклу, и больше не цеплялся за риски. Время побежало незаметно.

Алексей не чувствовал усталости. Отработать две смены, когда надо, нетрудно. В движениях появился тот нужный автоматизм, когда работаешь по инерции, не надо сосредоточиваться на каждом движении.

Ряды притертых гильз росли, и скоро обе кучи сровнялись. Половина сделана!..

Работалось все медленней. Гильзы почему-то стали выпадать из рук, наперекос зажимались в кулачках. Приходится ставить их заново.

Захотелось пить. Он подошел к фонтанчику, наклонился, сделал несколько мелких глотков, подставил разгоряченный лоб под холодную струю.

И вот — последняя гильза. Алексей расслабился и почувствовал, как устал. Мелко дрожали колени, мускулы рук налились болезненной тяжестью.

За окном наступила глубокая ночь. В цехе никого, он и не заметил, как все ушли. Посмотрел на часы: половина третьего. Домой не попасть.

Алексей зашел в конторку мастеров, уселся за стол, вытянул гудящие ноги. Ни о чем не думалось, тихонько шумело в ушах. Решил закурить, достал папироску, но спички остались на станке, вставать и идти за ними не хотелось. Голова невольно опустилась на руки. Не заметив как, Алексей уснул.

Ему показалось, что он только закрыл глаза... Кто-то тряхнул его за плечо. Растрепавшийся, раскрасневшийся от быстрого бега, еле переводя дыхание, перед ним стоял Валерка.

— Я свистел... свистел, — проговорил он задыхаясь. — А Галина кричит: «Нет его!» Я подумал, случилось что. Вот прибежал... Ух!

Валерка сел на стул напротив, виновато понурил голову. За окном вовсю качался день, солнце залило землю. Не выдержав, посмотрел Алексею в глаза, попросил:

— Прости, я свинья!

Алексей сощурил глаза, сладко, с хрустом потянулся, озорно подмигнул:

— Ничего, Валерка, сочтемся. У нас еще вся жизнь впереди!

Виктор Харченко

МАРИЕТТА

Звали ее Мариетта. Это была старая промысловая лайка. Масти серой, волчиной, но с белым воротником, будто кто-то горностаевую шкуру на шею повесил. Как раз в марте она и ощенилась. Вырыла в сугробе нору. И когда я утром заглянул туда, идя на смену, в ней пищало пять мокрых слепых комков. Все щенки были с белыми воротничками.

Чтобы щенки не замерзли, я решил подбросить сенца. Всего-то и было: клок от старого матраца. Но остановил меня наш дизелист Шаров, здоровенный и грубоватый парень, из чалдонов, года на три старше меня.

— Жалко ведь, — объяснил я, глядя в его красное, обожженное морозом лицо, — простудятся!

— Хочешь мне щенков спортить! — повторил он настырно.

— Они же мокрые!

— Не суйся! — сказал он. — А то сам будешь мокрым!

Бригада засмеялась. Никто не поддержал моих гуманистических порывов. Даже наш мастер Оливер Тимофеевич. Постояли, посмеялись, поглядели, как мы с Шаровым ходили друг против друга, словно два кочета, да и пошагали на буровую. А мороз давил. Градусов тридцать было, не меньше, хотя началась весна. Когда все ушли, я сунул клок в нору. Сука зарычала и едва не хватанула меня зубами, защищая свое мокрое добро. Обескураженный, я побежал догонять бригаду.

Собственно, я не числился ее членом. А был старшим коллектором иркутской геологической экспедиции от университета. Почему иркутской, никто не знал. Ведь мы работали на тюменском Севере. А было нас всего пятеро, разбросанных по буровым на



реке Покачуйке. Я и реку эту не видел, она была километрах в двадцати севернее. А работа наша заключалась в том, что мы собирали куски керна, такие каменные спилы, нумеровали и складывали в ящики. Ящики потом вертолетами отправляли в райцентр, оттуда — в Москву, в лабораторию. Почему я покинул свой родной филологический факультет и устроился в эту экспедицию? Ну, естественно, хотелось узнать жизнь, найти в ней смысл, что ли. Я и сам не знал зачем...

Однако разве это была жизнь? По всему тюменскому Северу, начиная от Уренгоя и кончая заполярным Шаимом, горели газовые факелы. А на Покачуйке нефтью даже и не пахло. А из всех

событий — сучка ощенилась. А люди? Люди были обычные. Но откуда в них такая суровость? Даже щенков не пожалели.

Когда я вернулся с работы, Шаров был уже дома. Он сидел верхом на сугробе и дразнил Мариетту.

— Возьми, возьми! — совал он ей под нос замасленную ветошь, которой протирал свой дизель. Сучка отворачивалась и тихонечко постанывала. Рядом лежал клок сена — выбросил все-таки!

— Ну, чем пахнет! — не отставал дразнильщик. И тогда сука завыла. Выла она жалобно и сиротливо, всем своим существом уходя в эту бесприютную ноту тоски. Слушать такое было тяжело. Шаров захохотал. Он этого и добивался.

— Знаешь, почему она так зевает? — спросил он весело, увидев меня. — Щенки у ней сгорели. И буровая тогда сгорела. Ох пожарчик был! Видел когда, как буровая горит?

— Не мучь, пожалуйста, собаку! — попросил я.

Он весь подобрался — видимо, готовился к этой просьбе. Не могла же наша утренняя ссора закончиться вничью. Сучка выла.

— Ух ты, чалдон бессердечный! — я вырвал тряпку из его рук и бросил в снег. Шаров вдруг обнял меня и стал давить. Я уже знал, что так местные парни дерутся меж собой. Причем драться могли и без злобы. Где-нибудь в клубе на танцах обхватятся и пыхтят. Кто кого. Но Шаров давил со злостью. Я понял, до чего же это был сильный парень. К тому же он был на голову выше меня и тяжелее. Мы были в разных весовых категориях. Я подсел под него и, хотя давно не тренировался, довольно удачно бросил. Он ткнулся головой в сугроб, рядом с норой, откуда пищали новорожденные щенки. Его правая кисть оказалась в моих руках. Я вывернул ее, не давая Шарову подняться. Дракой это нельзя было назвать. Ведь мы не нанесли ни одного удара. Но нас растащили. Долго волновались и ругались, в душе радуясь, что хотя бы это рассеяло однообразие жизни. Нас даже расселили в разные балки, вероятно думая, что мы и по ночам намерены выяснять отношения.

Место Шарова занял наш мастер Оливер Тимофеевич. Попив чайку, он принялся поучать меня:

— Понимаешь, какое дело, Шаров прав. Я имею в виду что? Мариетту дразнил — это я не одобряю. А вот со щенками — прав. Вот ты бросил им сена. Какой гуманист! Миссионер собачий! А здесь все суки так щенятся, и ни один щенок не помер. Но помрут, если сена к каждому прикладывать. У нас был один командированный. Тот щенка за пазухой грел и с собой спать ложил. А уехал, пропала собака. Хороший кобель, Тишкой звали. И глухаря брал, и лося. А утром после Октябрьских встали, а он

камнем у порога. Даже не догадался в снег зарыться. Мариетта — та зарывается в мороз! — Тут мастер помолчал, давая мне понять, насколько все серьезно. — А не балуй он его, до сих пор бы глухарей гонял. Вот тебе и сено. Самый здоровый закон жизни — естественный отбор. Так и Дарвин учил.

— Но ведь дразнил!

— Не по злобе! — объяснил мастер. — Он за этих щенков в огонь было полез. Сам свидетель. Было это на речке Белой. Горели мы тогда здорово. Сучка вечером ощенилась, а ночью и полыхнуло. Самовозгорание газа, слыхал? Здесь такое бывает!

— Что же, он тешит себя воспоминаниями под собачий вой?

— Чужая душа потемки, — объяснил мастер, поглаживая лысую голову. — Есть у него такое. Дразнит, а сам смеется. А чего радоваться? Может, что спасся тогда? Да нет, вроде тогда никто не сгорел, щенки одни...

Я слышал голос Шарова из соседнего балка. Он жаловался на меня, а его успокаивали, объясняли, почему я полез с этим сеном. А ведь до сегодняшнего вечера он спал рядом со мной. И перед сном любил побренчать на гитаре:

Итак, пишу вам снова из Тюмени я.
Дела идут. Все боле менее.
Все боле менее. Но есть такое мнение,
Что мене более у нас, чем боле менее.

С надрывом пел. Но мне нравилось.

Собственно, я о нем ничего не знал. Даже о щенках, погибших при пожаре. Неужели он хотел их спасти?

Я люблю смотреть, как работает бригада. Вот щелкнет элеватор, свеча приподнимется на лебедке. Головка с резьбой станет над ротором, откуда в глубину уходит уже свинченная часть колонны. Третья, четвертая, пятая... Здесь главное — ритм. Благодаря ему буровики понимают друг друга без слов. Еще одна форма человеческого взаимопонимания, основанная на труде.

Шаров работал на лебедке. Утром у них что-то не заладилось. Выражали разные мнения. А он и говорит: «Четвертая шарожка заклинила. Я же чувствую, ребята!» А как он мог чувствовать, если это ни одним инструментом не определишь? Есть люди, читают с завязанными глазами или ощупью определяют



цвета. Но ведь шарожка, это такое режущее колесико, от тебя на целый километр. Как ее ощупаешь? Вот такой у нас ясновидящий Шаров. Вынули колонну — и правда четвертая! Даже мастер удивился.

А вот и Мариетта пришла к буровой. Понюхала обсадные трубы и побежала кормить своих снежных щенков. Вот жизнь собачья — так не любить запах нефти и жить на буровой. И всех радостей, что косточки достанутся, когда Шаров добудет лесного бородатого петуха в бригадные щи. Но у нее хорошая родословная. Щенков просят по рации другие бригады. Вот, скажут, от той Мариетты, у которой щенки сгорели. Так что Мариетта — собака легендарная. Впрочем, все, что связано с нефтью на тюменском Севере, станет, наверное, легендой.

А с Шаровым я помирился. Он оказался незлопамятным.

— Здоров же ты драться! — сказал он. — Научи!

Я показал ему то, что мы делали в институтском спортзале. Он долго расспрашивал о студенческой жизни. Я видел, что он завидует. Ему тоже хотелось бы учиться в институте, а по вечерам заниматься самбо. Сила в нем была, как у лося. Может быть, это был несостоявшийся чемпион Олимпийских игр?

Сука выла опять. Шаров сидел на ящике, в котором лежали мои образцы, и, держа Мариетту за холку, поглаживал ее, успокаивал.

— Гляди! — сказал он. — Не дразню, не балуюсь! А к ящику подойдет — зевает!

Сука выла во всю глотку. Что за капризы?

— А сюда сяду, гляди? — сказал он. — Замолчит!

Он пересел на другой ящик, держа суку за шею. Она смолкла.

Здесь была какая-то тайна. Оливер Тимофеевич даже свой лысый затылок почесал.

— Это последние? — спросил он и зачем-то осмотрел ящик. И за уголки потрогал железные, будто в них и была отгадка собачьего поведения.

— Последние, Тимофеевич!

— Распаковывай! — вдруг приказал мастер.

Ну и дела! Он же видел, с каким терпением я укладывал каждый камешек. А теперь потроши весь ящик?

Я попытался отстоять свой труд. Но ведь на буровой я не хозяин. Пришлось отковыривать доску.

— Завтра мы тебе каждый твой камешек в ватку обернем, — сказал мастер. — И новый ящик сколотим.

Вынув из ящика кусок керна, он зачем-то поднес его к носу Мариетты. Та бешено закрутилась в руках Шарова и, вырвавшись, понеслась в тайгу.

— Так и знал, — сказал мастер многозначительно, но никому не стал объяснять своего странного эксперимента.

Сука выла не к добру. На следующий день попали в зыбун, сыпучий песок, и работа встала. Здесь такое бывает. Сыпучие горизонты засосали не одну сотню километров буровых труб. Мерзлый песок оттаивал от раствора и забивал скважину. А работа буровиков превращалась в сплошные спуско-подъемные операции, без продвижения в глубину, своего рода сизифов труд. Помочь я ничем не мог. Керн тоже брать было нельзя. И мой начальник вызвал меня в райцентр, чтобы перевести на другую буровую.

... В тот день мы получили почту и встретили Шарова.

— Вот, матери перевод отправил! — сказал он со смущенной улыбкой, радуясь нечаянной встрече.

Мой начальник, углубившийся в письмо с указаниями, сказал вдруг:

— Сообщают, что на той буровой, где ты раньше работал, хорошие показания на нефть!

— Ну! — удивился я.

— Опоздали с новостями! — хмыкнул Шаров. — Нашли нефть на Покачуйке. Вчера ночью как даст! Думали, буровую своротит! Хорошо еще, что сучка загодя выла. Так мы подготовились!

Я позавидовал, что меня не было с ними.

Юрий Шестаков

* * *

Виктору Кингисеппу

Нам говорили, что бессмертна слава,
что был в борьбе своей он духом крепок,
что был казнен в лесу, а мне казалось —
на площади казнили Кингисеппа...
В толпе притихшей звуки остывали
и плача, и злорадства, и молений...
Не потому ль, что жить им оставалось
в его сознанье несколько мгновений?
В сухих глазах нет страха — созерцанье...
И мысли не о славе на века —
о том, что до него той тучке дальней
теперь уж не доплыть наверняка,
о том, что для него не будет ночи
и что сейчас глядящая пугливо
та женщина в узорчатом платочке
печальна и некстати так красива...

* * *

Знойный сумрак в дебрях сада...
У колодца — пир пчелиный:
веселятся с гулом чинным,
пьют медовую прохладу —
за удачную работу,
за любимые цветы,
чтоб зимою были соты
солнцем сладким налиты!

Александр Петров

* * *

А топать нам вот так еще до черта...
Сто кубометров пыли замесить.
Есть тяжесть ног и тяжесть пулемета,
и тяжесть солнца над тобой висит.
Земля в угаре!
Зноем стиснут воздух,
ушли вперед машины и дожди.
Но мы — пехота!
Рано или поздно,
а до привала надо нам дойти.
Обманет слух, что скоро будет речка,
и говорят, что к вечеру — отбой.
Идем...
Рукой достать —
                    поверить: вечер...
В зубах зажав усталость, пыль и боль.
Все это предусмотрено уставом.
Свой тянешь — на выносливость — билет.
Поэтому команда:
«Вспышка... справа!» —
звучит как разрешение прилечь.
И ротный, засекая по последним
наш норматив,
усталость нам простит
и на какой-то миг подъем замедлит,
на самый
на «чуть-чуть»,
чтоб дух перевести.

И КОГДА...

Деревья
ветви
разминали сонно,
Илья-пророк
закладывал коней.
А снег,
последний снег,
смеялся
солнцу,
еще не веря
в собственный конец.

ТАКОЕ...

И было холодно...
Он бился,
трепетал.
Он так хотел
порвать все это разом,
как будто понял,
что она — не та,
как будто вдруг обрел желанный разум.
Он ей шептал,
прижавшись:
— Отпусти... —
Он, задыхаясь,
клял свое бессилье.
Сказать легко,
да как ему уйти?
Чтоб — навсегда,
чтоб без надежд «красивых».
С земли тянуло горькое дымье
(там осень листопадами горела).
Он трепетал.
Он рвался от нее.
Последний желтый лист
во всей аллее.

Владимир Гуд

ЦВЕТЫ РОССИИ

До воды опускаются кисточки ив.
На привале, в июньский полуденный зной,
Окунусь с головой, обо всем позабыв,
В незабудковый плес, в васильковый прибой.
Запыленная каска утонет в цветах,
Надо мною сомкнется течение трав...
Позабуду на миг о делах, о словах...
И за это меня не осудит устав.
Это море цветов никогда не понять
До конца, и в зеленой его глубине,
Не считая минут, я усну, чтобы встать,
И усталость, и беды оставив на дне.
И тогда я не дрогну в атаке любой...
В самой дальней дали нам слышны, нам видны
Незабудковый плес, васильковый прибой,
Океаны цветов необъятной страны...

Михаил Городинский

ГОРОДСКАЯ ПОВЕСТЬ

1

На углу Греческого проспекта и улицы Некрасова Димка увидел дядьку. Странно было, что он не заметил его раньше, когда подходил к рынку, и потом, когда шел по улице мимо галантереи и молочного. На рынок Димка ходил смотреть на грузин. Они стояли за горками груш, винограда, гранат, усатые и гордые, касаясь друг друга кепками. На них было интересно смотреть, не то что на обычных наших, продававших семечки, или, например, веники, или пемзу. Грузины торговали красиво. Димка долго смотрел, как один из них продавал груши. Его звали Гоги. Димка слышал, как сосед позвал: «Гоги!» — а потом сказал на грузинском языке что-то смешное, потому что Гоги в ответ улыбнулся и щелкнул ногтем по козырьку своей кепки, и та съехала на затылок, открыв блестящий лоб, вернее не лоб, а то место, где уже могли расти волосы, но у него там ничего не было. Потом сосед снова громко крикнул: «Гоги!» — и сказал то же самое, что и в первый раз, но Гоги засмеялся и, не поворачивая головы, ответил ему. Он ответил и щелкнул ногтем по козырьку кепки, которая сползла к тому времени на прежнее место, потому что лоб у Гоги был скользкий. Гоги было жарко, но он не снимал пиджака. Он был шикарно одет: под пиджаком у него был яркий зеленый свитер с красными полосами, а под ним розовая рубашка с пуговичками на воротничке, такая же, как у Вовки.

Когда подходил покупатель, Гоги молча отрезал от груши продолговатый ломтик и на ноже протягивал пробовать. Димка знал, что груши очень вкусные, он глотал слюну, чувствуя во рту их вкус. Ему никогда не приходило в голову купить себе на рынке груш. Мороженое или томатный сок в гастрономе приходило, даже очень часто, а вот грушу на рынке — нет. Димка не думал

об этом, он смотрел, как покупатели пробовали груши с длинного ножа. Покупатели ели этот ломтик долго, откусывали от него по маленькому кусочку, и с каждым кусочком все яснее становилось, что груши покупать они не собираются. Иногда ребята из старших классов бегают на большой перемене на рынок «пробовать» семечки. Они возвращаются с полными карманами и в уборной раздают по горстке семечек, которые они пробовали. Но то семечки по пятнадцать копеек, а тут груши по четыре рубля.

У Димки внутри закипало. Он уже готов был подбежать к тому месту, где за длинным прилавком за горкой груш стоял Гоги и вытирал о пиджак лезвие с золотистыми кусочками мякоти, а покупатель, равнодушно морщась, уже нацеливался на что-нибудь другое, такое же красивое и вкусное. В Димкиной голове скакали справедливые слова, которые необходимо сейчас же сказать: «Неужели вы не видите, что они хотят только поесть ваших груш!», и покупателю: «Ну как вам не стыдно пробовать груши, если вы не собираетесь их покупать!» Но тут Димка замечал чудное спокойствие Гоги. Он ничего не кричал покупателю вслед, он даже не смотрел ему вслед и не поворачивал своей полной красивой шеи. И закипевшее у Димки внутри остывало. Гоги смотрел поверх самой высокой груши из своей горки, поверх самой высокой помидорины из горки на прилавке напротив. Он смотрел вдаль. Товар теперь словно лежал у его ног. Димка вспомнил слова Мичурина о том, что мы, мол, не можем ждать милостей от природы и взять их у нее наша задача. Так вот, Гоги уже справился с этой задачей, про которую недавно рассказывал Димке Осел. Причем Гоги не делал из этого никакого события, как, например, Вовка, когда с третьего раза сдавал экзамен или зачет. Вовка приходил из института, ложился на диван в трусах и врубал магнитофон. Почему-то он всегда слушает магнитофон в трусах. Из магнитофона выло до позднего вечера, а Вовка отрешенно глядел в потолок, и все, обалдев, метались по комнате, но ему ничего не говорили, потому что всем своим видом и короткими ленивыми ответами на вопросы родителей он делал из своей тройки событие.

Гоги только щелкал по козырьку своей кепки и, не поворачивая головы, говорил что-то соседу. Собственно, и нельзя было определить, кому он говорил, потому что смотрел он при этом вдаль, туда, где за горками помидоров маячили туши в мясном отделе, или еще дальше. Но после его слов сосед слева начинал улыбаться, и становилось понятно, что он говорил именно ему, а не соседу справа или через одного.

Они торговали красиво. Димке нравилось смотреть, но самому торговать на рынке не хотелось.

2

Димка сразу почувствовал неладное, когда папа сказал маме, что сведет его к «своему». Когда его водят к кому-нибудь «своему», всегда кончается тем, что потом стыдно смотреть людям в глаза. Ни один чужой не сшил бы Димке такой костюм, как «свой», к которому его возили четыре месяца через весь город с тремя пересадками. Это было год назад. Там, в примерочной ателье, он почти не смотрел на себя в зеркало. Он не любит смотреться в зеркало: перед зеркалом даже самый умный человек становится дурак дураком, потому что старается отыскать в себе то, чего вовсе нет. Димка и тогда смотрел не в зеркало, а на закройщика, который стоял на коленях и держал во рту иголки. Интересно было, проглотит он хотя бы одну или нет. Но закройщик не глотал, а умудрялся еще разговаривать с мамой, которой костюм очень нравился, а потом, так и не вынув изо рта иголок, стал благодарить, когда мама дала ему пять рублей за работу. Обратно Димка ехал с тремя пересадками и никак не мог отделаться от ощущения, что его поместили в систему новеньких серых колючих труб. Но все это было бы ничего. Подъезжая к дому, он почти забыл про костюм и про трубы. И вот тут он встретил Осла. Почему-то в такие моменты всегда попадается на пути именно Осел. Позавчера, когда он шел с папой из парикмахерской, первым их тоже встретил Осел. Осел очень вежливо поздоровался с Димкиной мамой, которая несла в пакете старые вельветку и брюки, мельком взглянул на Димку и спокойно пошел дальше. Димка знает и высоко ценит критический ум Осла, но тут ему показалось, что пронесло. Вообще он еще не научился понимать, что у Осла на уме. Через десять минут он спустился во двор в новом костюме и сразу увидел Осла, тот читал газету «Вечерний Ленинград» и не выказывал какого-либо отношения к Димкиному наряду. Димка знал, что в такие ответственные моменты лучше всего молчать и не будоражить критический ум, но тут (в который уже раз!) его сладко лизнула змейка тщеславия, и он спросил: «Ну как?» — и еще повернулся боком, демонстрируя клапан кармана пиджака. «Как мешок с говном», — ответил Осел, переворачивая газетный лист.

Хуже всего то, что Димка никогда не обижается на Осла; на кого угодно другого — пожалуйста, а на Осла нет. Иногда хочется, очень даже, но ничего не получается. Осел говорит с одинаковым лицом, и только черные глаза его бывают разные и светятся по-разному. У Осла очень красивые глаза, они как будто живут обособленной жизнью, о которой даже сам Осел не подозревает. Димка верит всему, что Осел говорит, и надолго все

запоминает, а говорит Осел очень образно. Вот и тогда Димка стоял рядом с Ослом и смотрел, как тот читает «Вечерний Ленинград». Ему не было обидно, он просто представил себя в том состоянии, которое определил для него Осел, и это было противно, гораздо хуже, чем в трубах. Потом всякий раз, когда его вели в гости и он надевал свой новый костюм, ему становилось противно.

3

Димка перешел улицу Некрасова, и сразу за ним, растянув на трамвайных путях свою гармошку, проехал к остановке двадцать второй автобус. Он ехал оттуда, где Смольный и Охтинский мост. Димке никогда не удавалось представить город целиком. По отдельности он хорошо помнит ЦПКиО и стадион Кирова, Неву, Смольный, Таврический, Суворовский и Невский, а все вместе представить очень трудно. Да и невозможно, наверное, представить себе это вместе, потому что Ленинград громадный.

Однажды Осел рассказывал о проблемах больших городов. Осел говорил, что это сейчас одна из основных проблем нашей цивилизации (он, когда видит, что его слушают, всегда начинает выступать от имени человечества, или цивилизации, или солнечной системы).

«Современные города-гиганты задыхаются от смога, отходов производства и нечистот, а перенаселение городов вызывает массовые нервные заболевания и стрессы. Задача цивилизации заключается в том...» — говорил Осел, а Димка был уже далеко. Он смотрел, как Осел по колено в мусоре идет по улице между небоскребов и решает проблему больших городов. Осел шел в противогазе, а за спиной его уже не было небоскребов: там стояли ровненькие пятиэтажные дома, как в Купчине, где у Димки живет тетя. Димка вернулся, когда Осел говорил про количество заболеваний астмой среди населения. Димка прослушал и поэтому не знал, относится астма все еще к проблеме больших городов или к чему-нибудь другому. Он решил задать нейтральный вопрос, вроде бы не относящийся ни к городам, ни к астме, но который в то же время мог иметь отношение к тому и другому. Тщательно подбирая слова, Димка спросил: «А как расценивать в этой связи трамвайный шум?» — «Как шум трамвая», — тут же плюнул в ответ Осел. Тогда он больше не сказал Димке ни слова и домой ушел не попрощавшись.

У Греческого проспекта, на котором живет Димка, наверное, тоже есть свои проблемы. Но он решает их как-то спокойно. И концертный зал «Октябрьский» появился на Греческом спокойно. Димка не помнит Греческой церкви, не помнит, как ее



сносили, хотя мама часто рассказывает, что возила его туда в колясочке гулять и церковь уже обносили забором. Потом церковь взорвали. Димкина память начинается позже, не с церкви, а с концертного зала и площади перед ним, с трепещущей нарядной толпы, наполняющей ее перед началом концертов или спектаклей. Часов в шесть на площади еще пусто, и у стеклянной витрины концертного зала пусто, и люстры в вестибюле горят вполнакала. Иногда по нему проходят гардеробщики, или билетеры, или девушки в синих костюмах, похожие на стюардесс. Высокие девушки катят перед собой столики с коктейлями и соломинками, и у Димки возникает такое же ощущение, как в момент ожидания гостей, когда папа достает из-за буфета доски и они с Вовкой раздвигают стол и вставляют туда одну или две доски, это зависит от того, сколько ожидается гостей. Потом на столе появляется ломкая скатерть, и вместе со столом как будто раздвигается их комната и в ней становится светлее. Времени почему-то всегда остается в обрез, хотя о том, что придут гости, родители говорили давно. Мама мечется между комнатой и кухней и приговаривает, что «вот сейчас уже кто-нибудь придет, а у нас еще конь не валялся», а папа успокаивает, что как раз наоборот, «такой беспорядок, словно не один конь тут валялся, а целый табун». Димка чувствует, что у них хорошее настроение, и его охватывает непонятная радость, и он тоже начинает гоняться из комнаты в кухню и обратно и таскает на стол всякую вкуснятину, которую приготовила мама и теперь раскладывает по салатницам и селедочницам. Пообедать в такие дни почему-то не удается, и к вечеру у Димки разгорается волчий аппетит, наивысшей точки он достигает примерно за час до прихода гостей. Тогда мама дает ему пробовать всего на кухне, и потом, когда вместе с гостями Димка садится за стол, есть уже не хочется, и кто-нибудь из гостей всегда говорит маме: «Ваш ребенок что-то плохо ест».

Высокие девушки останавливаются со своими столиками у колонн или в середине вестибюля, а пожилые билетерши занимают места на контроле, где уже ждет первый зритель. Первый зритель входит в вестибюль и некоторое время стоит и смотрит по сторонам, а потом идет вглубь, туда, где раздевалка. У него огромный выбор: он может повесить пальто на любой из четырех тысяч номерков, поэтому он не торопится. Если бы был один свободный номерок, он бы не раздумывая разделся, но тут он начинает прикидывать, у какого гардеробщика лучше повесить пальто — в углу раздевалки или, может быть, в середине. Он уже собирается отдать свое пальто тому, который в углу, и гардеробщик поднимается со своего стула, но тут первый зритель

меняет решение и идет к среднему. В раздевалке появляется первое пальто. А в это время к концертному залу уже тянутся люди, больше всего идут по Лиговке от Невского, но некоторые идут по Лиговке от Некрасова и по улице Жуковского. Меньше людей идет по Греческому, но зато там ходят самые интересные люди: музыканты, артисты и работники «Октябрьского», потому что с Греческого служебный вход. Но смотреть там неинтересно. Музыканты и артисты заходят внутрь и тут же исчезают, а с парадного входа видно все: как заполняется постепенно гардероб и как зрители покупают коктейли и пьют их, потягивая через хоботки соломинок, а потом поднимаются по лестнице на второй этаж, где вход в зрительный зал, и прогуливаются кругами. Люстры уже горят вовсю, и зимой вокруг «Октябрьского» сильно светится снег.

Если пойти по улице Жуковского к Литейному, то «Октябрьский» будет постепенно уменьшаться, но, чтобы увидеть, как он уменьшается, надо идти задом и улицу Восстания тоже переходить задом, и только тогда, около улицы Маяковского, можно заметить, что концертный зал похож на камин, то горящий ярко, то едва тлеющий. Ночью «камин», наверное, гаснет, но утверждать этого нельзя. Ночью Димка «Октябрьского» не видел.

Если слово «Греческий» повторять несколько раз, то, услышишь, как тихо шелестят листья. Это, конечно, совпадение, но он и на самом деле очень тихий проспект, хотя и находится в центре города. Трудно сказать, почему он такой тихий: потому что тут ходит только один трамвай? Или один трамвай ходит из-за того, что Греческий такой тихий? И этот единственный трамвай бывает здесь редко, он чем-то похож на участкового милиционера или просто на сознательного гражданина, который время от времени заглядывает на Греческий и проверяет, все ли здесь в порядке.

Вот такой примерно Греческий проспект. И неправильно думать, что здесь живут греки или по нему можно проехать в Грецию. По нему можно проехать к Московскому вокзалу, да и то в конце надо свернуть на Лиговку. А с Московского много куда можно уехать, и некоторые Димкины знакомые ездили оттуда в Москву и другие города, но вот в Грецию Димка не слыхал, чтобы ездили. Вообще, он не чувствует обаяния дальних стран, таких как Греция. Во всех книжках его сверстники и те, кто помладше, обязательно мечтают о дальних странах и готовятся бежать в эти страны, или в Африку, или на необитаемые острова. А вот его почему-то не тянет, и из его класса никого не тянет, и со двора. Никого из его знакомых туда не тянет. Потом когда-нибудь, может, и потянет, а сейчас нет, и думать об этом некогда.

4

Но сегодня Димку не тянуло и домой. Поэтому после школы он пошел на рынок, а после рынка разглядывал дядьку, который был, наверное, не ниже Жармухамедова из ЦСКА, и тщательно измерял его, для чего мысленно становился себе на голову и накладывал эту пирамиду на дядьку. Возможно, он придумал бы еще какой-нибудь способ измерения, но... Но он уже перешел улицу Некрасова и стоял теперь на Греческом напротив своего дома и старался как-нибудь отдалить время, когда придется идти домой. А домой идти надо обязательно, потому что ключ только у Вовки, а у Димки ключа нет. Бывало, конечно, и раньше, что ему не хотелось идти домой, у всех такое бывает, но раньше Димка всегда понимал, почему ему не хочется идти домой. Когда тебе поставили пару или влепили замечание — вполне понятно, а сегодня у него не было ясности по этому вопросу. Целый день Димку одолевало предчувствие, даже на физкультуре, когда он делал стойку на голове, его одолевало предчувствие. Еще он понимал, что ничего не может поделать, что все произойдет без него и он не в силах помешать, потому что не знает, чему он должен помешать. Вот это было хуже всего. И теперь Димкино предчувствие усилилось настолько, что он стоял напротив своего дома и ждал кого-нибудь из знакомых, чтобы оттянуть возвращение из школы еще минут на пятнадцать, хотя он и так задерживался почти на два часа, и было уже, наверное, часа четыре. Впервые предчувствие шевельнулось в Димке вчера, в пятницу, после того, как за родителями захлопнулась дверь квартиры.

Захлопнулась дверь квартиры, и родители поехали в Белоостров на дачу к дяде Косте. У дяди Кости в Белоострове только времянка, и Димка слышал, как папа говорил, что он будет спать в мешке, потому что в даче дяди Кости помещается всего одна кровать, на которой будет спать мама. Димка тогда представил, как папа лежит в мешке и, по привычке, перед сном читает книгу. Но они поехали в Белоостров, конечно, не для того, чтобы папе поспать в мешке, а причиной всему опять был Вовка. В последнее время Димка часто подумывал о том, что у папы с мамой была бы очень даже приличная семья, если бы не он и не его брат Вовка.

Родители уехали в Белоостров, чтобы Вовка мог спокойно заниматься оба выходных дня, потому что во вторник ему сдавать экзамен, вернее пересдавать экзамен по математике за второй

курс. В июле Вовка улетел на юг отдыхать. Димка узнал об этом в пионерлагере от мамы, которая приехала его навестить и рассказала, что их Вовка улетел в Гагры. «Куда-куда?» — переспросил Димка, а мама ответила, что Гагры — это на Кавказе. Димка и так знал, что это на Кавказе. У них дома есть пластинка про Гагры, где хрипловатым голосом поется «ах, море в Гаграх, ах, пальмы в Гаграх» и все такое прочее. Еще у Осла есть марка: пальма на берегу моря, далеко на горизонте пароход и написано: «Гагры». И где-то около этой пальмы, оказывается, отдыхал их Вовка, который так устал за год, что поехал на целый месяц в Гагры. Диме иногда становилось неудобно за своих родителей, и тогда, в пионерлагере тоже стало неудобно, и он даже по сторонам посмотрел: нет ли кого из пионеров рядом и не слышал ли кто-нибудь, что его брат Вовка поехал «отдыхать» в Гагры? Если бы Вовка поехал в Лисий Нос, Димке бы не было так неудобно, но он поехал именно в Гагры, куда один только билет стоит рублей тридцать пять, а тридцать пять рублей — это стипендия, которую всем нормальным студентам платят в Вовкином институте. Вовке ее дали только в самом начале первого курса, тогда ее всем дали. Не дали тем, кто не поступил. Вообще, когда дело касается Вовки, Димка замечает в себе сильное скупердяйство и всякие цифры очень хорошо запоминает, они как-то сами запоминаются, а затем вдруг появляются в голове, как тогда, в пионерлагере. Об этом он рассказал Ослу, а тот предположил, что скупердяйство с годами начнет перерастать в скаредность и к старости должно превратиться в золотую лихорадку.

В июле Вовка улетел на юг отдыхать, а в августе стал готовиться к экзамену. Он готовился так: вставал часов в десять, а до этого час лежал на диване в трусах и слушал магнитофон. Потом он натягивал вельветовые штаны и надевал рубашку с пуговичками на воротничке, такую же, как у Гоги. Штаны у Вовки поносного цвета, это заметил папа, когда в первый раз увидел Вовку в вельветовых штанах. По утрам Вовка ничего не ел, он вообще мало ест, оттого он такой длинный и худой. Прежде чем одеться, Вовка стоял перед большим зеркалом и трусы зачем-то спускал очень низко. Иногда он спрашивал у Димки, похож ли он на Алена Делона. Димка не хотел с утра портить себе настроение и отвечал, что да, похож, а Вовка его как будто не слышал и продолжал разглядывать себя в зеркале, напрягал мускулы и чуть-чуть морщил лоб. В этот момент он, наверное, разговаривал с собой, стоящим в зеркале: Вовка спрашивал, а тот, в зеркале, отвечал, и разговор был для Вовки очень приятный, потому что он начинал улыбаться и радоваться. Потом он брал портфель и уезжал в Солнечное на пляж заниматься. Весь

август было тепло, он ездил в Солнечное весь август, и позавчера вечером первый раз сел заниматься дома, и Димка, конечно, заметил, что за лето Вовка проработал страниц десять из тетради номер один, которую он возил в Солнечное вместе с тетрадью номер два. (На обложках тетрадей было написано: «Галя Иванова».) Ясно, что теперь ему надо заниматься, потому что до экзамена осталось пять дней.

И вот тогда родители после работы поехали в Белоостров, где папе предстояло спать в мешке, чтобы не мешать Вовке заниматься. Димка сразу вспомнил и Гагры, и Солнечное, но какие-то необъяснимые родственные чувства все-таки перевесили остальное, и Димке тоже захотелось, чтобы Вовка сдал во вторник экзамен. И когда за родителями захлопнулась дверь квартиры, ему еще хотелось, чтобы Вовка сдал этот экзамен.

5

Родители только что уехали. Они не спустились еще с лестницы или, может быть, спустились и пошли к трамвайной остановке, откуда ехать на Финляндский, а Вовка уже врубил магнитофон и стоял у телефона, набирая мизинцем номер. Вовка звонил Пете. Петя очень похож на Вовку — такой же длинный и с такой же прической, как у Вовки. Он тоже иногда приходит в вельветовых брюках, только они поприличнее, чем Вовкины, но чаще Петя бывает в синем пиджаке с пуговицами с орлами и в нормальных брюках, в рубашке с широким галстуком в цветах. Когда Петя приходит к ним, он очень вежливо здоровается с мамой, и с папой, и с Димкой, а потом мама всегда говорит, что вот какой симпатичный мальчик этот Петя, хотя и заросший, и учится, наверное, прилично, не то что наш обормот. Может быть, когда их Вовка уходит от Пети, то Петина мама тоже говорит, что вот какой симпатичный мальчик этот Вова, не то что наш, и называет Петю как-нибудь по-своему. Вовка зовет Петю Питом, а Петя Вовку просто и строго: Владимир. Так и говорит: «Владимира к телефону позовите, пожалуйста». В первый раз Димка даже не понял, какого это Владимира, — оказалось, их Вовку.

Так вот, Владимир разговаривал с Питом. Это был очень интересный разговор, и его Димка запомнил:

— Пит? Это я. Ага, во вторник. Не начинал. В Гагре? Занимался, только чуть-чуть не тем. Потом тоже тусовка. У тебя в колледже все окей? Кого, Леночку? Я пробовал, но там глухо, как в танке. Она закомплексована. Раскомплексовал? У себя?

Нормальная феня! Слушай, Пит, у меня предки свалили. Ага, на оба дня. Не можешь? Ладно, Пит. Слушай, а у тебя кто-нибудь есть? Ну так, экспрессо, чего-нибудь новенького хочется. Свои? Я отзвонил утром, и четыре прокола. Все кадры едут за грибами. Что? Ха-ха. Не шути так, Пит... Подкинь телефончик. Ага, записываю: НИНА. Нормальный гёл? Подписывается, конечно, сразу? Ну, окей, постараюсь, Пит. Я тебе отзвоню опосля.

Димка из их разговора ничего не понял, кроме того, что какие-то кадры едут за грибами. А Вовка тут же стал набирать другой номер — тот, что сказал ему Петя, но сначала было занято, и Вовка подождал немного и в это время подмигнул Димке, что было и не очень-то приятно: Вовка мигает как-то странно, смотрит на тебя, а мигает как будто самому себе, внутрь куда-то мигает. И никак от его мигания — ни тепло ни холодно.

Вовка набрал номер, долго никто не подходил. Димка слышал громкие протяжные гудки, и ему захотелось, чтобы так никто и не подошел. Он загадал: если он про себя успеет досчитать до десяти, то никто не подойдет. Но тут на той стороне сняли трубку; Вовка тоже не думал, что кто-нибудь подойдет, и молчал, пока в трубке второй раз не сказали: «Я вас слушаю». Тогда Вовка опомнился и хриплым незнакомым голосом попросил: «Нину, будьте добры». И он стал разговаривать с Ниной, и Димка этот разговор тоже запомнил:

— Ах, это вы, Нина. Добрый вечер. Это Володя говорит. Какой? Вы меня, наверное, не помните, Нина. Это было довольно давно, в позапрошлом году. Мы были в одной компании. Нет, Нина, вы были, к сожалению, не со мной. С кем? Кажется, с высоким шатеном, но я его не запомнил, а вас помню очень хорошо. Какая вы? Ну... у вас, Нина, красивые волосы, и они очень вкусно пахнут, Нина, ваши волосы, это я запомнил. Вы, Нина, хорошо танцуете, у вас длинные ресницы и очень красивые глаза. Вот, Нина. Какой я? Ну какой я? Самый, в общем-то, обыкновенный. Что? Ну конечно, Нина, высокий. Да, худенький. Вспомнили, Нина? Так как, Ниночка, может быть, мы встретимся сегодня? Тогда завтра. Где-нибудь в центре. Ты знаешь что, Нинок, чудесно было бы, если бы ты зашла за мной и там мы бы что-нибудь придумали, а то у меня сейчас очень много работы. Да? Ну и прекрасно! Записывай, заинька. Греческий проспект. Знаешь дом напротив садика? Вот, второй этаж налево. Значит, я жду в районе четырех-пяти. Тогда до свиданья, Нинуля, до завтра.

—

Димка разговор слушал, сидя на диване. В том месте, когда Вовка сказал: «Какой я?», Димке очень хотелось подсказать: как Ален Делон. Он едва удержался. Димка поставил себя на место Нины, которой звонил Вовка, хотя это было непросто сделать, потому что, во-первых, это женщина, а во-вторых, он не знал, где она, сидит или стоит, или, может быть, разговаривает по телефону лежа, как иногда делал Вовка. Он поставил себя на место этой Нины, и Вовка теперь говорил ему, Димке, что у него длинные волосы и они очень вкусно пахнут. Димка стал принюхиваться к своему полубоксу, но ничего такого вкусного не почувствовал, потому что «Шипр», которым его подушили позавчера в парикмахерской, выдохся и теперь ничем не пахло. «Вы хорошо танцуете» Димка пропустил мимо ушей, даже подумать об этом не успел, потому что Вовка стал говорить про длинные ресницы и красивые глаза. Это Димке очень понравилось, и он потрогал свои ресницы. Потом Вовка заговорил о себе, и Димка увидел высокого худенького мальчика с белыми кудрями и в гольфах. Мальчик сидел за роялем и играл без нот, красиво откидывая назад голову, а он, Димка, стоял рядом и собирался петь.

Он пришел в себя, когда услышал свой адрес и что Вовка будет ждать в районе четырех-пяти. «Тогда до свидания, Нинуля, до завтра», — сказал Вовка, и тут пиявочка предчувствия впервые шевельнулась у него внутри.

Потом Вовка ушел, а Димка стал читать Тома Сойера и читал весь вечер, а когда дошел до того места, где Том остается с Бекки в подземелье, опять вспомнил Вовкины разговоры, а потом вспомнил про его экзамен, и все это носилось в Димкиной голове до тех пор, пока он не уснул. А когда утром, завтракая перед школой, он посмотрел на Вовку, просторно спавшего на животе, он снова вспомнил: «До свидания, Нинуля, до завтра» — и подумал, что сегодня и есть то самое завтра, о котором говорил Вовка. И вот тогда вечерняя пиявочка принялась сосать Димку, и чем меньше времени оставалось до четырех-пяти часов, тем впивалась она в него все сильнее.

6

Димка стоял напротив своего дома и ждал. Но как назло знакомых не было, у парадного на скамейке сидела только бабка с третьего этажа с ребеночком. Ребеночек все время убегал, а бабка догоняла его и тихо ругалась, хотя сама была виновата в том, что он убегал. Бабка догоняла его, ставила около себя, и

ребеночек копошился у ее ноги. Потом мимо них кто-нибудь проходил, и бабка начинала того разглядывать. Сначала она разглядывала прохожего спереди, когда прохожий равнялся с ней, она разглядывала его бок, а потом долго смотрела прохожему в спину. Ребеночек успевал за это время уйти метров на десять, и тогда бабка догоняла его, ругалась и ставила у ноги, но тут появлялся следующий прохожий и все повторялось, только ребеночек убегал в другую сторону. Вот бабка и маячила около парадного.

Осел наверняка эту бабку знает, он всех жильцов знает, и он стал бы сейчас с бабкой о чем-нибудь беседовать, о каких-нибудь травках или мышах. Осел со всеми находит тему для разговора. Осла дворники знают, и точильщики ножей, и стекольщики. Раньше у них во дворе была водопроводная мастерская. В ней работал дядя Максим, который ходил в сапогах, галифе и в большом картузе с широкой красной полосой. Он был маленького роста, двигался по двору медленно и медленно курил «козью ножку». Перед тем как закурить, дядя Максим слегка приседал, шарил в глубоком кармане брюк, отыскивая тугой мешочек с махоркой. Потом он доставал из кармана гимнастерки ровный листок газеты. Он долго разминал газету пальцами, морщинистыми и желтоватыми, складывал ее вдвое и насыпал в ложбинку махорки из мешочка, а если высыпалось больше, чем положено, отсыпал излишек в мешочек. Дядя Максим подносил газету с табаком ко рту и обстоятельно водил ею по усам, как будто играл на губной гармошке. Газета с табаком целиком исчезала у дяди Максима в усах, седых, а внизу желтоватых, таких же, как пальцы. Вообще, дядя Максим был похож на боцмана или шкипера, наверное из-за усов и картуза, и ребята со двора высказывали предположение, что он потому и работает сейчас водопроводчиком, все-таки ближе к воде. Мастерская дяди Максима находилась в углу двора, в подвале. Окошки мастерской были завалены дровами, и поэтому дядя Максим, когда работал, открывал дверь, и все, кто гулял во дворе, собирались там и смотрели, как он раздувал паяльную лампу или прилаживал в тисках трубу. В мастерской было полно всяких труб, и досок, и инструментов, а над верстаком на стене висел портрет какой-то женщины в черном в позолоченной раме. С этим портретом, наверное, была связана тайна, и Осел предполагал, что это портрет первой любви дяди Максима, а ребята утверждали, что это портрет дворничихи Евдокии Ивановны. Скорее всего, прав был Осел, потому что только он имел доступ в мастерскую дяди Максима, а остальным лишь иногда удавалось попасть внутрь, в основном когда дядя Максим куда-нибудь уходил и оставлял

дверь открытой, — со двора портрет был виден плохо. Димка сильно завидовал Ослу, да и остальные ребята завидовали Ослу и с ревнивым трепетом смотрели, как вдруг из подворотни появлялась ржавая труба со свисающими нитями пакли на конце, потом степенно шел Осел, а уже за ним в нескольких шагах шел дядя Максим. Процессия пересекала двор, направляясь к мастерской. У входа в подвал Осел пропускал дядю Максима вперед и, пока тот отпирал замок, постукивал ботинком по стенам мастерской и по ступенькам, и Димке больше всего хотелось так же, как Осел, нести дяде Максиму трубу и так же по-хозяйски постучать по кирпичам подвала, проверяя, все ли у них там с дядей Максимом в порядке, а потом спуститься в темный, пахнущий сыростью и железом подвал. Тогда Димка надеялся, что вот он дорастет до Осла и тоже станет ходить в мастерскую, но Димка уже перерос того Осла, а у него не было знакомых стекольщиков и точильщиков, и в мастерскую дяди Максима он не успел попасть, потому что три года назад дядя Максим умер. Про мастерскую никто не вспоминал, и Димка не знал, стоит ли там все так же верстак и висит ли над ним портрет женщины в черном в позолоченной раме или их куда-нибудь унесли. Правда, на дверях мастерской, как раньше, висел замок, но там теперь никто не работал. Когда умер дядя Максим, Димке казалось, что Осел придет работать в мастерскую водопроводчиком, но Осел об этом ничего не говорил, и Димка его не спрашивал — он понимал: сначала надо кончить школу, а потом уже идти работать водопроводчиком.

Однажды Димка пошел выносить мусор. Он долго колотил ведром о край бачка, чтобы вытряхнуть остатки, колотил и смотрел по сторонам и вдруг увидел, что на двери мастерской что-то написано. Димка еще поколотил и пошел в угол двора посмотреть. «Здесь работал дядя Максим — наш Кола Брюньон», — написано было совсем недавно, желтая краска не подсохла еще, и теперь от мастерской пахло сыростью, железом и этой краской. Тут как раз подошла дворничиха Евдокия Ивановна, чей портрет, может быть, все-таки висел в мастерской, и спросила, не видел ли Димка, кто это напоганил.

— На том свете и то человеку покоя не дадут, — сказала Евдокия Ивановна и потрогала желтые буквы. — И краской-то такой осрамили, что не сведешь.

Она попробовала ногтем содрать краску, но не сдиралось. Тогда она оставила метлу и пошла за ножом. Димка не знал, кто это Кола Брюньон, и на всякий случай побежал с ведром к Ослу. Тот спокойно выслушал, сказал, что про надпись знает, но все-таки надел пальто, и они пошли во двор. Дворничиха

Евдокия Ивановна уже скоблила и начала почему-то с тире. Осел поздоровался и потрогал тире пальцем, а потом сказал Евдокии Ивановне, что скоблить не надо.

— Так ведь на том свете и то человеку покоя не дадут! — сказала она, но нож убрала.

— Эта надпись мемориальная, — объяснил Осел, — дяде Максиму память.

— Так что же, скоблить не надо? — спросила Евдокия Ивановна.

— Скоблить не надо, — еще раз сказал Осел. Он снова потрогал надпись, как-то по-хозяйски потрогал, как раньше, когда они подходили с дядей Максимом к мастерской и он стучал ботинком по кирпичам подвала, и пошел к подворотне.

— На твою ответственность оставлю! — крикнула вдогонку Евдокия Ивановна, а Осел не обернулся даже: ясно, что на его ответственность, на чью же еще.

Неизвестно, сколько бы Димка простоял на Греческом напротив своего дома, если бы на него не стала смотреть та бабка с третьего этажа, которая гуляла с ребеночком. Прохожих что-то долго не было, и бабка принялась разглядывать Димку. Ей это было очень удобно, потому что Димка стоял как раз напротив через улицу. Один раз между ним и бабкой проехал трамвай, но бабка его как будто не заметила и продолжала в упор смотреть на Димку, и он уже не мог думать ни про дядю Максима, ни про дворничиху Евдокию Ивановну. К тому же бабкин ребеночек потихоньку убегал в сторону Невского проспекта, и Димка понял, что ему надо куда-то уйти, а то ребеночек потеряется. И вот тогда он пошел домой. Он решил идти прямо через улицу, ни на сантиметр не сворачивая назло бабке, пусть в следующий раз не глазеет. Димка ступил на мостовую, и тут бабка побежала за ребеночком и на ходу стала креститься, а ребеночек припустил по панели в сторону Невского, но его поймал прохожий. Что было дальше, Димка не видел. Он вошел в парадное и стал подниматься по ступенькам. Он подумал, что хорошо бы зайти к Ослу, который живет на третьем этаже, но это было уже просто так, потому что Димка прекрасно знал, что Осла дома нет. Осел пошел в филателистический магазин «Глобус» менять дубликаты, он каждую субботу ходит в этот магазин на Невский, и Димка иногда тоже ходит с ним. Но сегодня Осел пошел один, а Димка поднимался вот сейчас по лестнице, одолеваемый предчувствием, и никак не мог вспомнить, когда ему последний раз так противно было идти домой.

7

Прежде чем позвонить, Димка прислушался: что у них в квартире делается? За дверью было тихо, Димка позвонил портфелем и услышал в квартире движение, а потом шарканье Вовкиных вельветок по полу. Вовка открыл ему дверь, а сам тут же ушел в комнату; Димка стал снимать куртку и увидел белый плащ на их вешалке рядом с маминым новым пальто. По сравнению с пальто плащ был очень узенький. Он висел на том крючке, на который Димка вешает свою куртку, и поэтому первым делом Димка снял этот плащ и перевесил на соседний крючок под Вовкину кожаную кепочку. После этого настроение у него улучшилось, он решил и дальше действовать в таком же духе и пошел в комнату.

В комнате горел торшер. Вовка сидел на валике дивана, а на диване с ногами сидела девочка и стряхивала пепел с сигареты в пепельницу, стоявшую на валике перед Вовкой. На полу валялись мамины домашние туфли без задников.

Димка увидел, как Она сидит с ногами на диване, и застыл на пороге, а Она шевельнулась и поджала ноги в капроне, как бы показывая, что слезать с дивана не собирается. Димка смотрел на мамины домашние туфли без задников. Она курила и смотрела на Димку, Вовка смотрел на нее.

— Это Димка, — сказал Вовка вдоль стены и дотронулся пальцами до ее волос.

— А меня зовут Нина, — сказала девочка.

«Нина-Ниночка-Нинуля-Нинок», — мелькнуло у Димки в голове. Вовка снова дотронулся пальцами до ее волос.

Димка направился в тот угол комнаты, где стояли его кровать и письменный стол. Ему показалось, что шел он это расстояние от двери до письменного стола очень-очень долго. Он поставил портфель на пол, не оборачиваясь сел к столу и стал читать Вовкин конспект. Конспект почему-то лежал вверх ногами, но Димка его не перевернул: он не мог шевельнуться и сидел поэтому очень ровно, уткнувшись глазами в одну здоровенную букву, напоминавшую по форме мамину домашнюю туфлю без задника.

Никто не знает, сколько бы он так ровно просидел, если бы вдруг над самым ухом не услыхал Вовкин голос. Вовка шепотом просил, чтобы он, Димка, вышел через пару минут на кухню. Димка сразу стал считать до ста двадцати, а когда досчитал, выждал для верности еще немного и потом пошел от стола к двери, не поворачивая головы и прищурив глаза так, чтобы видеть только дверь, в которую надо выйти. На кухне он сел на табуретку и стал ждать.

Димка ждал и соображал, зачем это Вовке потребовалось, чтобы он вышел из комнаты. Он решил, что выходить не надо было, еще не хватало, чтобы он сидел тут на кухне, а в комнате на диване сидела с ногами какая-то Нина. Еще он решил, что побудет здесь немного, а потом пойдет в комнату наводить порядок и для начала уберет мамины домашние туфли на место. Димка соображал таким образом и одновременно разглядывал кухню с точки зрения ночевки. Это было интересно — разглядывать кухню с точки зрения ночевки, и, конечно, лучшим местом был подоконник. Только надо убрать баночки с луковицами, и можно спокойно спать на животе или спине. Еще можно лечь между окон, но тогда пришлось бы спать все время на одном боку, потому что там уже не повернуться. Это отпадало, хотя между окнами вообще-то хорошо спать: прохладно, не испортишься. Потом Димка прилег на плиту и на кухонный столик и не заметил, как в кухню вбежал Вовка. Лицо у него было красное до шеи, а шея была совсем белая, если не считать двух круглых пятен сбоку, около воротничка рубашки. Димка сам, когда волновался, краснел точно так же с пятнами на шее, и мама когда волновалась, у нее тоже выступали на шее пятна.

— Я учусь в Театральном, — быстро сказал Вовка и принялся пить воду, зажав губами кран.

— Тебя из своего уже выгнали? — Димка испугался и встал с табуретки.

Но Вовка продолжал пить воду, вода громко булькала, протекая по его длинному горлу. Наконец он напился.

— Для нее я учусь в Театральном. Понял? — сказал Вовка мокрым голосом и вытер рукавом рот.

— На каком отделении? — спросил Димка.

Вовка такого вопроса явно не ждал и не думал об отделении. Он внимательно на Димку посмотрел и сказал:

— На актерском. — Он очень красиво это произнес и потряс головой, как бы откидывая со лба волосы, очень натурально потряс, и Димка вспомнил актера Юрского.

— Хвосты у тебя в Театральном тоже есть?

— Это значения не имеет, — ответил Вовка и пошел в прихожую, красиво так пошел, как по сцене. Он надел кепочку, вернулся в кухню и сказал, что сходит в магазин.

— Ты иди туда к ней. Только ахинею не неси.

Он ушел, а у Димки застряло в ушах: «Ты иди туда к ней», — как будто он не мог пойти в комнату и без этого разрешения. Теперь Димке стало ясно, что в комнату он вообще сегодня не зайдет, принципиально, даже если его будут упрашивать, а пока посидит здесь на кухне и спать ляжет на подоконнике — это все-

таки лучше, чем на столике или между окон. Димка сел на табуретку и стал придумывать, что бы ему подложить на ночь под голову. Лучше всего было бы подложить портфель, но портфель остался в комнате, а в кухне ничего подходящего не было, висели разные кастрюли и дуршлаги.

Он стал прислушиваться к звукам, которые обычно залетали в кухню со двора, он любил представлять по звуку, что там делается, — может быть, выколачивают ковер или Евдокия Ивановна подметает двор метлой. Но во дворе было тихо, и он представил, сколько звуков сейчас в комнате: и трамвай, и автобус, и цоканье мяча на площадке в садике, и шаги прохожих. Димка остро почувствовал преимущества комнаты перед кухней и понял, почему люди живут в комнате, а не на кухне и спят на кровати, а не на подоконнике. Он попытался слушать звуки со стороны улицы, но они все оставались в комнате и до кухни ничего не доходило. В комнате тоже было тихо, и Димка предположил, что, может быть, Она ушла, хотя, если бы Она ушла вообще или выходила в уборную, он бы обязательно услышал. Тогда скорее всего, что она спит, потому что если Она не ушла, то в комнате так тихо быть не может — каждый человек или ходит, или шевелится, или кашляет, а некоторые разговаривают сами с собой. Димке очень захотелось посмотреть, что Она там делает, и он решил тихонько посмотреть в щель, а в комнату не входить, потому что в комнату он сегодня не должен входить и, может быть, вообще больше не будет жить в комнате, а поселится на кухне или у кого-нибудь из знакомых, вернее всего у Осла.

Димка тихо подошел к двери и приоткрыл ее без скрипа, очень осторожно приоткрыл, и заглянул внутрь. Она точно так же, как раньше, сидела на диване и смотрела в щель, которую Димка бесшумно сделал в дверях. Причем Она смотрела в щель в то же самое место, куда смотрел Димка, только Она смотрела из комнаты, а Димка из прихожей.

8

Она смотрела на Димку из комнаты красивыми глазами с длинными ресницами, и глаза у нее были спокойные и чуть-чуть улыбались: «Вот, я вас долго ждала здесь у себя, на диване, и хорошо, что вы наконец пришли. Заходите, не стесняйтесь». Димке, конечно, стоило бы сразу уйти назад, на кухню, раз он увидел, что Она никуда не ушла, но он почему-то стоял у двери, правда в комнату не входил, даже на порог ногой не наступал.

— Как вас зовут? — почти не пошевелив губами, спросила Она.

Димка подумал, что неужели у него такое трудное имя, что с одного раза не запомнить.

— Дмитрий, — ответил он и удивился, как это у него так здорово получилось. Он повторил: «Дмитрий», чтобы она запомнила наверняка и больше не спрашивала, и второй раз его имя прозвучало так же хорошо и задумчиво. Димке приятно стало оттого, что у него такое имя.

— Что же вы не заходите? — сказала Она.

Бывшая учительница музыки Галина Генриховна тоже называла Димку на «вы». Он сравнил эту Нину и Галину Генриховну и для сравнения представил, как Галина Генриховна забирается со своими ногами на диван, а Вовка трогает ее волосы, закрученные барашком. Конечно лучше, что на диване сидит эта Нина, а не Галина Генриховна. Димке больше нравятся красивые женщины, а особенно красивые женщины в кино. Последний раз ему Людмила Чурсина понравилась, и до этого тоже многие нравились, и среди них были зарубежные. Когда Димке сильно нравилась зарубежная женщина, ему становилось очень грустно, иногда даже плакать хотелось прямо в кино из-за того, что она никогда в жизни не узнает, что нравится такому человеку Димке, даже если он ради нее пойдет на все. Если наша нравилась, то тут было не все потеряно, но так уж получалось, что после кино Димка видел нашу женщину по телевизору, и вот тогда чувство проходило, потому что по телевизору еще ни одна женщина Димке по-настоящему не понравилась.

Поэтому было, конечно, хорошо, что на диване сидит не Галина Генриховна. Во-первых, эта Нина во много раз красивее Галины Генриховны, а во-вторых, если бы Галина Генриховна сидела на диване, то пришла бы она, чтобы уговаривать Димку продолжать заниматься музыкой.

Нина сидела и смотрела на Димку, и он почувствовал, что не хочет идти обратно на кухню, и тут Она спросила, почему он не заходит в комнату, а стоит в дверях. Димка не ответил и прошел в комнату, и так это вышло, как будто он в дверях и не стоял, а прямо шел из кухни и вопрос ни при чем.

— Наш Вовка учится в Театральном, — сказал Димка, и внутри у него приятно защекотало. Он подошел к письменному столу, где лежал вверх ногами конспект Гали Ивановой. Но сидеть ему не хотелось, и он стал прохаживаться по комнате, как будто учил наизусть стихотворение. Он ждал, что Нина спросит, на каком Вовка учится отделении или что-нибудь еще в этом роде, и подготавливал ответ: он бы сказал, что Вовка у себя в Театральном самый круглый отличник и получает повышенную стипендию и поэтому летом ездил отдыхать в Гагры. Но Нина ни

о чем таком не спрашивала, будто ей все равно, на каком их Вовка отделении и учится ли он в Театральном или в Автобусно-троллейбусном.

Вообще эта Нина была странная, и сидела странно, не двигаясь, и смотрела не мигая. И Димка не знал, злиться ему на нее или не злиться, хотя злиться было за что, например за мамины домашние туфли, которые она надела. Но злиться Димке почему-то не хотелось. Ему хотелось, чтобы Нина что-нибудь спросила, а он ответил бы. Спрашивать Она должна про Вовку, потому что пришла к нему и он трогал ее волосы, но Димке хотелось, чтобы она спросила не про Вовку, а про него. И тогда она спросила, нравится ли Димке учиться в школе. Так спрашивали мамины знакомые, когда встречали где-нибудь Димку, и ему всегда противно становилось от такого вопроса — ведь если и не нравится, то в школе все равно надо учиться, и всем это ясно, так зачем спрашивать. Но тут он обрадовался, когда услышал вопрос, и сказал, что очень нравится, и особенно в те дни, когда контрольная или диктовка, потому что он очень любит писать контрольные и диктовки. Еще он сказал, что две его тетрадки отправлены на выставку в Москву и будут там демонстрироваться как образцовые. (Димка подумал, что если их Вовка учится в Театральном без хвостов, то и его две тетрадки могут спокойно демонстрироваться на выставке в Москве.)

Димка когда врал что-нибудь наподобие тетрадок, то очень быстро привыкал к своему вранью и сам себя начинал за образцовые тетрадки уважать. Вот и теперь он расхаживал по комнате и нес ахинею, о которой предупреждал Вовка, уходя в магазин, и с каждым шагом Димка взлетал все выше и парил уже где-то под потолком, и оттуда, сверху, поглядывал на свои образцовые тетрадки, выставленные в отдельном зале. По залу ходили экскурсии, и около его тетрадей становились в кружок, и экскурсовод долго рассказывал и тыкал указкой. В следующем зале демонстрировалась Димкина коллекция насекомых, и вся стена была облеплена мухами, стрекозами и бабочками. У гербария толпились старички, по всей вероятности академики, и делали пометки в блокнотах, глядя на мух, которых Димка собрал, наколол и засушил. А подальше уже он сам стоял на руках на брусьях, и экскурсовод объяснял и дотрагивался указкой до его мышц, а среди экскурсантов была преподавательница физкультуры Анна Альбертовна. В углу этого зала на диване сидела Нина и не выражала сомнений по поводу того, что это именно он, Димка, собрал коллекции, и он делает стойку на брусьях. Тогда Димка залетел еще повыше и сказал, что ему предлагали в этом году путевку в Артек, но он не поехал, а путевку отдал од-

ному мальчику, который часто болеет ангиной, чтобы тот поехал в Артек погреть ноги. После этого Димка еще сильнее себя зауважал, потому что в случае с путевкой он поступил очень благородно. Скоро он понял, что больше ничего соврать не сможет: придумать что-нибудь после Артека и мальчика с ангиной было уже трудно, к тому же ему быстро надоедало врать, становилось скучно. Тем более когда человек, которому говоришь, не проявляет ни восторга, ни недоверия, сидит просто с ногами на диване, как эта Нина.

— Нравится ли вам какая-нибудь девочка? — спросила Нина и красиво закурила сигарету: постукала фильтром по коробочке — Димка никогда не видал, чтобы так стукали, так стукает тот, кто курит папиросы, — потом долго махала в воздухе потухшей спичкой. Папа никогда так красиво не курил, и у них с Ослом, когда курили смесь, никогда так красиво не получалось. Димке самому захотелось курить, но смесь хранится у Осла, а обычных сигарет или папирос Димка не курит, потому что боится рака легких.

9

Так вот, она красиво курила и ждала, что Димка ответит, а ответить на этот вопрос быстро он не мог. Ему нравилась не какая-то одна девочка, а несколько девочек и еще несколько взрослых женщин. Ему постоянно нравились несколько девочек из своего класса, несколько из параллельных и две-три женщины, как правило из кино. Одно время он записывал тех, кто ему нравится, для чего завел блокнотик, на котором было написано: «сделан из отходов». Димка не понимал, зачем это писать на блокноте, что сделан из отходов, если он вполне чистый, а от этих отходов становится не по себе. Первым делом в том блокнотике Димка зачеркнул «из отходов» и разлиновал первый листок очень аккуратно на пять столбцов: номер по порядку, фамилия, имя, отчество и примечания. На переменках он ходил по школе и спрашивал у девочек, которые ему нравились, как их зовут и какая у них фамилия и какое отчество. Для чего ему это надо, он, конечно, не говорил, и девочкам очень нравилось записываться, — они, наверное, думали, что их записывают для какого-нибудь мероприятия, и диктовали свои данные обстоятельно, и еще спрашивали, не нужен ли год рождения и домашний адрес. Димка отвечал, что «нет, не нужно», и аккуратно записывал все в соответствующие графы. Девочки, которые ему нравились, никогда на переменках по одиночке не ходили, и их подружки тоже хотели

записаться в блокнотик и начинали диктовать свои имена и фамилии. Димка огорчать не хотел, он говорил: «Вас буду записывать в следующий раз» — и показывал, сколько еще страниц в его блокнотике. Девочек из своего класса он переписал на всякий случай всех по порядку из классного журнала, который на переменках оставался лежать на столе.

С остальными женщинами было посложнее, например с Инной Чуриковой. Он как раз смотрел кинофильм «Начало», и она ему очень понравилась. На следующий день он все киоски обошел до самого Литейного и спрашивал фотографию Инны Чуриковой, но ее нигде не было, и ему предлагали артистов Вицина и Смоктуновского или незнакомых женщин, тоже, в общем-то, красивых, но с фотографий Димка женщин не воспринимал и искал Инну Чурикову, чтобы на обратной стороне посмотреть отчество. Он у мамы и папы спрашивал, но они не знали, они из кино мало кого знают. Еще Димке необходимо было узнать, какое отчество у итальянской артистки Стефании Сандрелли, и он тоже справлялся в «Союзпечати», но такую никто не знал.

Про Стефанию Сандрелли Димка спрашивал у Осла. Осел очень много знает, но про такую никогда не слыхал и сказал, что это, по всей вероятности, одна из звезд неореализма, а он неореализма не любит. Вообще женщин для Осла не существует, единственная женщина, которую он признает, — Клеопатра. Димка уверен, что Осел никогда не женится. На Клеопатре бы, может, и женился, а на ком-нибудь другом — нет. Что писать в графу «примечания», он тоже не знал, хотя она ему сначала очень нравилась. Так что к записи девочек и женщин в блокнотик Димка через неделю охладел, но ему все равно постоянно кто-то нравился, и, когда Нина спросила его об этом, он прикинул, сколько ему на данный момент нравится, и еще подумал, можно ли включить в это число Нину, которая была красивая и, кажется, тоже Димке нравилась.

Димка прикинул и сказал:

— Восемь или девять.

Восьмой была Людмила Чурсина, а девятой Нина, сидевшая перед ним на диване. Но она, конечно, об этом не знала и продолжала смотреть на Димку, и рукой разгоняла дым, чтобы лучше было смотреть. Когда Димка сказал «восемь или девять», она ничуть не удивилась, а Димке неожиданно захотелось, чтобы она в этот момент удивилась и даже огорчилась.

— А вы им всем тоже нравитесь? — спросила Нина.

Димка никогда не задумывался, нравится он им или нет. Ну, предположим, кому-нибудь из девочек в классе он нравился, даже наверняка кому-нибудь нравился — девочкам всегда кто-нибудь

нравится, иначе они бы столько не шептались. Из параллельных классов он тоже мог кому-нибудь нравиться, хотя там и своих мальчишек хватает. Но вот относительно женщины, с которой он вчера ехал в трамвае — она была седьмой, — и Людмилы Чурсиной он ничего определенного предположить не мог, потому что женщина в трамвае только один раз на него посмотрела, когда он опустил ее три копейки в кассу, а Людмила Чурсина его вообще никогда не видела. Так что в женщинах с седьмой по девятую у него уверенности не было. Поэтому Димка ответил:

— Не всем.

Он ясно представил себе, как они, восемь женщин, стоят по росту, а девятая, Нина, сидит на диване, а он стоит перед ними в своем сером костюме и, как на физкультуре, отдает команду: «С первой по шестую — шаг вперед!»

И девочки из его класса и из параллельных делают шаг вперед, а остальные остаются на местах, и ему хочется, чтобы Нина с дивана тоже сделала шаг вперед.

— Я нравлюсь шести-семи, — сказал Димка. Седьмой была Нина.

Димка с удовольствием еще поговорил бы на эту тему, но Нина ничего не спрашивала, и тогда он вспомнил, что голодный. У него часто так бывает: сначала он вспоминает, что ничего не ел, например, с третьей перемены, и его мозг быстренько анализирует, что он тогда съел и сколько времени прошло, а потом уже мозг выдает информацию: пора Димке есть или еще можно потерпеть, и в зависимости от этого у него внутри начинает сильно бурлить и сосать или ничего внутри не происходит.

Так вот, внутри у Димки засосало очень сильно, и он пошел к холодильнику, где был обед, который приготовила мама им с Вовкой. Он открыл холодильник и сперва поглядел, что там мама сделала, хотя это никакого значения не имело, потому что мама готовит очень вкусно, а потом достал из буфета две ложки, две вилки, две тарелки, соль и поставил это на стол, стоявший посередине комнаты, недалеко от дивана. Теперь надо было идти на кухню мыть руки, и Димка всегда перед едой тщательно мыл руки, но сейчас ему не хотелось идти. Если бы вода была здесь, в комнате, он обязательно руки вымыл бы, но для этого надо было идти на кухню. Ему казалось, что стоит хоть на минуту выйти, как все кончится: Нина уйдет или начнет собираться и уже не будет вот так сидеть с ногами на диване. Димке сейчас больше всего хотелось, чтобы она осталась и никуда не торопилась. Поэтому он достал кастрюльку с супом и латку с ежиками и картошкой и, пока нес их к столу, смотрел на Нину: нет ли каких-нибудь признаков, что она собралась уходить? Он

обрадовался, когда ничего такого не заметил. Еще Димке попались на глаза мамины туфли без задников, и только теперь он догадался, что туфли оставила мама и они лежат здесь со вчерашнего дня. Ему стало очень хорошо, и он пригласил Нину есть.

— Мама готовит очень вкусно, — сказал Димка и открыл кастрюлю, — вот тут мясной суп с рисом.

Он понюхал суп, и у него приятно закружилась голова. Он поднес кастрюлю с супом к дивану, чтобы Нина посмотрела. Димка стоял с супом очень близко от нее и чувствовал запах духов. У мамы есть разные духи, но таких он еще никогда не нюхал.

— Спасибо, я есть не хочу, — сказала Нина.

В кастрюлю она не заглянула. Тогда Димка отнес кастрюлю на стол, налил себе в тарелку и принялся есть. От ложки вкусно пахло мясным супом и рисом и духами, которыми душилась Нина.

Димка ел суп. Делал он это тихо, почти беззвучно, хотя был голодный. Обычно в таких случаях он громко чавкает и прихлебывает и мама говорит, что ему только со свиньями есть, такой он невоспитанный, а папа поправляет, что это не невоспитанность, а «элементарное неуважение к себе и окружающим, ведь может же он красиво есть в гостях». Папа совершенно прав. В гостях или когда к ним приходят гости, Димка ест очень красиво и бесшумно, и это получается само собой, автоматически. Как будто глушитель какой-то включается.

— Вы всегда едите холодный суп? — вдруг спросила Нина.

— Всегда, — ответил Димка и уже потом сообразил, что съел ледяной суп и сейчас ел ледяные ежики. Хлеб был горячий по сравнению с ежиками.

— Я всегда так ем, — объявил Димка, — а мороженое разогреваю в кастрюльке.

— Вы простудитесь, — сказала Нина.

Что-то Димка не слышал, чтобы от супа и от ежиков простужались, но он глотнул для проверки — не першит ли у него в горле и на всякий случай есть стал медленнее.

Нина достала сигаретку из пачки, лежавшей на валике вместе с пепельницей, и снова стала стукать сигаретой по пачке, и Димка заметил, что теперь она стукала не фильтром, а табаком. Она постукивала табаком по пачке очень сосредоточенно и также чиркала спичкой, и выпустила дым в сторону стола, за которым Димка ел.

— Это вы играете на рояле? — спросила Нина.

У Димки ежик застрял на полпути к желудку от упоминания инструмента, хотя рядом с диваном стоял не рояль, а пианино,

она просто спутала. Димка посмотрел на их пианино с потемневшими подсвечниками, рогами торчащими в разные стороны, и, как ни не хотелось ему вспоминать историю с Галиной Генриховной, он все-таки ее вспомнил, причем с самого начала. С того мгновения, как мама однажды сказала, что пора бы начать его, Димку, учить играть на пианино.

Димка доел компот и спросил, любит ли Нина полонез Огинского.

— Да, он мне нравится, — сказала Нина и спросила, умеет ли Димка играть что-нибудь танцевальное.

Димка соображал, можно ли танцевать под «Аллегретто» Гумеля, когда увидел через приоткрытую дверь, в которую он недавно смотрел на Нину, Вовку. Вовка стоял в прихожей и держал в каждой руке по бутылке вина. Димка забыл про «Аллегретто» и некоторое время тупо смотрел на Вовку: тот кивал ему и делал глазами какие-то знаки. Нина Вовку не видела, она курила и смотрела на Димку.

— Я бездарь, — неожиданно громко сказал Димка, — у нас в семье только Вовка одаренный. Он на всех инструментах играет, вплоть до арфы. Он у себя в Театральном считается самым одаренным.

Димка стал убирать кастрюлю с супом и латку в холодильник. Вовка теперь стоял у самой двери и грозил Димке бутылкой.

— Мой брат Вовка играет на пианино с двух лет. На него из соседних домов приходили смотреть, потому что он еще ходить не умел, а уже играл. У него специальный стульчик был с горшком, чтобы он мог играть.

Димке не хотелось выходить из комнаты. Не потому, что это его комната, а потому, что здесь сидела Нина и смотрела на него и разговаривала с ним. Димка забыл про Вовку, пока тот ходил в магазин, и забыл, что Нина пришла к Вовке и все это время ждала Вовку, и Вовка тоже наверняка думал о ней и потому, как тигр по клетке, метался сейчас по прихожей и, проходя мимо открытой двери, показывал Димке кулак. Димка решил, что ни за что не выйдет из комнаты, в конце концов у него тоже есть тут дела.

Димка принялся собирать крошки со стола — он не смахивал их со скатерти ладонью, а аккуратно складывал в кулак и поглядывал то на Нину, то на Вовку, шевелившего губами. Димка молча собирал со стола крошки и старался не думать, что будет потом. Он даже запел какую-то мелодию, и вот тогда Вовка не выдержал и вошел в комнату.

— Вова, это ты? — спросил Димка в два приема, потому что после «Вовы» у него перехватило дыхание.

— Да, Дима, это я, — сказал Вовка сквозь зубы и попытался улыбнуться, но улыбка у него получилась зверская. У Димки от этой улыбки спина похолодела.

— Ну, как вы здесь? .. — Вовка подошел к Нине и, как раньше, потрогал ее волосы. — Мой брат тебя не утомил?

Нина не ответила, она смотрела на Вовку. Димка заметил, как она на него смотрела. Это был конец. Ему вдруг стало неуютно и душно в своей комнате, противно стало, еще хуже, чем когда он шел домой из школы.

Вовка медленно подошел к нему и взял за руку повыше локтя.

— Я сейчас, — сказал Вовка Нине, и его рука повела Димку по комнате к двери. Димка никогда не думал, что Вовка такой здоровый и что пальцы у него как клещи. Он упирался, но Вовка тащил его за собой, словно перышко. Около двери Димка под Вовкину руку посмотрел на Нину — он ждал, что Нина закричит или попросит Вовку отпустить его, но она сидела неподвижно и невидяще смотрела перед собой.

За дверью Вовка Димку не отпустил, а поволок дальше, на кухню. Там он, не разжимая клещей, прихлопнул коленкой дверь. Димка впился зубами в его руку, и тогда Вовка другой рукой ударил его по шее пониже затылка. От неожиданности Димка разжал зубы. Его еще никто никогда не бил. Димка смотрел на брата, не понимая, что же произошло, и трогал рукой затылок, то место, куда ударили. А Вовка стоял неуклюже, опустив длинные руки, и глубоко дышал, словно потратил на удар много сил и теперь никак не мог отдышаться.

— Уйди куда-нибудь, — сказал Вовка.

Странное дело, но Димке почему-то жаль было не себя, а Вовку, как будто только что он дал Вовке по шее. Он не понимал, о чем Вовка просит, куда еще уйти — ведь он и так выволок его на кухню.

— Иди погуляй, — сказал Вовка. Он сунул руку в карман, вытащил мятую бумажку.

— А Нина останется здесь? — спросил Димка, глядя на рубль.

— Никогда не думал, что ты такой дурак! Какое тебе дело до этой Нины! — закричал Вовка и снова пнул коленкой дверь. — Кто она тебе, эта Нина? Она мне никто! В гости зашла. Ко мне в гости!

— Что вы будете делать?

Вовка сжал пальцы в кулак, как будто готовился к новому удару, но Димка не шевельнулся.

— Мы будем делать все, что захотим! Все, что я захочу! Когда-нибудь я тебе это объясню!

Димка сел на табуретку.

— Рубля мне мало, — сказал он, — давай еще.

— Зачем тебе деньги? — спросил Вовка.

— Это мое дело. Рубля мало.

— Сколько надо?

Димка не знал, сколько надо. Он думал про Нину, которая сидела в комнате и ждала Вовку. Она ни о чем не догадывалась, а Димка теперь был уверен, что Вовка будет ее бить.

— Три рубля.

Вовка выругался, пошел в прихожую и быстро вернулся.

— Бери, только не будь идиотом. Ты куда пойдешь? — спросил Вовка, в его голосе уже не было твердости.

Димка засунул деньги в карман форменной тужурки и быстро пошел из кухни через прихожую к входной двери. Вовка дернулся за ним, но Димка успел толкнуть дверь, и она шумно хлопнула, видимо, перед самым Вовкиным носом.

10

Все случилось так быстро, что Димка не успел сообразить, что же все-таки случилось.

В двери напротив зашевелился ключ, потом дверь открылась и вышел сосед по площадке, Юра, со своей женой. Они недавно поженились и каждый вечер ходят гулять, Димка их встречал на Греческом и на улице Некрасова. Они просто ходят и гуляют и тихо разговаривают. Юрина жена ждет ребенка и, наверное, поэтому всегда долго смотрит на Димку, привыкает. Они с Димкой поздоровались, и Юрина жена внимательно посмотрела на него, а Юра, закрыв дверь, спросил, не нужно ли Димке позвонить. На самом деле могло показаться, что ему никак не позвонить, потому что он беспомощно стоял у своей двери, хотя давно доставал до звонка. Юра об этом не подумал: у него жена ждала ребенка, и понятно, что ему было не до Димкиного звонка. Юра поправил жене шарфик, она застегнула ему пуговицу, и они неторопливо пошли по лестнице вниз, туда, откуда тянуло холодом и сыростью, потому что приближался вечер. На площадке уже горела лампочка с пятнышками штукатурки. Лампочку эту вкручивал Димкин папа, а пятна остались после ремонта, который делали в их доме весной. Это было очень хорошее время, когда в их доме делали ремонт. Девушки, маляры и штукатуры, стояли на высоченных козлах и белили и штукатурили на лестнице потолки и стены, а потом катали по стенам валики с краской. Они все

время пели, их песни с утра до вечера летали по лестнице и были слышны в квартирах. Когда они перешли на другую лестницу, вдруг стало тихо и скучно. Целую неделю на Греческом под Димкиным окном висела люлька. В половине восьмого утра люлька поднималась к их окну и девушка начинала красить из люльки стену дома. Девушка улыбалась, здоровалась через стекло, и Димкины мама с папой тоже ей улыбались и здоровались. Потом они уходили на работу, а Димка оставался один и все время, которое было до школы, смотрел, как девушка в комбинезоне и платочке работала за окном. Самое интересное, что люлька была не видна и девушка как будто на ходулях ходила или по воздуху. В комнату она не заглядывала, даже когда красила очень близко от окна, и Димка, перед тем как уйти, постукивал по стеклу и говорил «до свидания». Девушка беззвучно отвечала ему. Выйдя из парадного, Димка смотрел на нее снизу, но это было уже не так интересно: просто маляр красил из люльки дом.

Хорошее было время, только осталось оно где-то далеко, за дверью, где сейчас были Вовка и Нина.

Димка разжал кулак, и на каменный пол лестницы бесшумно посыпались крошки, которые он собрал со стола. Димка знал, что домой не вернется и сейчас в последний раз стоит у своей двери. «Вот ведь как бывает... За несколько минут жизнь круто меняется», — подумал Димка. Где-то он уже слышал такую формулировку. Наверное, что-нибудь в этом роде говорил Осел. Димка вспомнил про Осла, и это было вполне естественно, потому что в жизни, которая вдруг наступила, у него оставался только Осел. Димка стал думать про Осла, и от этих мыслей уже не так сильно ныло в затылке. Димка еще немного постоял у двери, словно прощаясь, и пошел наверх, плотно, до жжения в ладони обхватив деревянные перила лестницы. Он поднимался очень медленно и думал про Осла, который наверняка уже вернулся из филателистического магазина «Глобус». Так не могло быть, чтобы Осла сейчас не было дома.

11

Димкина мама часто спрашивает: «Почему вы называете его Ослом? Разве можно мальчика называть Ослом?» А как еще называть? Ося — значит, Осел. Чего непонятного...

Осел живет на третьем этаже в очень большой квартире, кроме них там еще пятеро жильцов. Раньше Димке казалось, что у Осла в квартире есть подземный ход. Он мог быть в одной из кладовок, или между дверей на черную лестницу, или в конце

длинного темного коридора. По этому коридору можно спокойно кататься на велосипеде, такой он длинный, только надо смотреть, чтобы в самом начале не налететь на сундук, стоящий у входной двери. По поводу этого сундука в квартиру Осла регулярно ходят комиссии и каждый раз решают, что сундук необходимо убрать, так как он недопустим в противопожарном отношении, а сосед Осла, Иван Николаевич, каждый раз говорит, что это «никак невозможно», и приносит сантиметр. Комиссия вместе с Иваном Николаевичем, которому принадлежит сундук, измеряет сантиметром его длину, ширину и высоту, а потом измеряет ширину двери, и получается, что это действительно невозможно убрать сундук, потому что он и в высоту и в ширину больше двери. Тогда все начинают спрашивать, как же сундук попал в квартиру, если он в дверь не пролезает. Ответить на это никто не может, даже Иван Николаевич, которому сундук достался в наследство и с того времени, как Иван Николаевич себя помнит, всегда стоял в коридоре у входной двери. К тому же сундук этот кованый и его не разломать, чтобы вытащить по частям. Надо автогеном резать. Это Осел однажды предложил автогеном резать, но никто никогда не слышал, чтобы сундуки резали автогеном, и его предложение отклонили. Каждый раз комиссия ставит Ивану Николаевичу условие, чтобы сундука к следующей проверке не было, потому что в случае пожара он будет мешать и все в квартире сгорит. Кроме сундука, так как он железный. Осел одно время разрабатывал проект удаления сундука и хотел отнести его комиссии, но потом передумал, потому что по его проекту надо было разбирать в квартире потолок и снимать крышу и вытаскивать сундук через чердак подъемным краном. Комиссия вряд ли на это согласилась бы.

А пока в сундуке лежит протез Ивана Николаевича. Осел пару раз видел, как Иван Николаевич доставал из сундука руку-протез с ремнями и застежками, но он ее никогда не надевает, а ходит так, заправив пустой рукав в карман пиджака. Иван Николаевич потерял руку на войне. Он всегда носит на пиджаке орден Отечественной войны первой степени, такой же есть у отца Осла, но он его не носит, а хранит в коробочке вместе с другими орденами и медалями и иногда дает Ослу и Димке посмотреть. Их у него восемь штук, орденов и медалей. Отец Осла работает на заводе токарем. Он еще до войны работал на этом заводе. Скоро ему на пенсию, но он не собирается уходить с завода, наверное ждет, когда Осел придет работать на его завод, и вот тогда, может быть, уйдет. Отец у Осла — рабочий класс. Димке рабочий класс представлялся таким, каким он нарисован на огромном плакате, который на Седьмое ноября и на

Первое мая вывешивают на Суворовском. Огромные широкоплечие люди в комбинезонах с румяными щеками и сильными большими руками. А вот отец Осла совсем не похож на них, он небольшого роста и щуплый, и мышцы из-под рубашки не выпирают. К тому же он носит очки. На плакате ни одного человека в очках не было. Отец у Осла изобретатель. Осел показывал Димке его авторские свидетельства на разные изобретения. Сам отец Осла их никогда не показывает, вообще он редко говорит, даже с Ослом, или мамой Осла, или сестрой Леной, и только когда приходит инженер Ряженцев с его завода и они начинают обсуждать свои дела, отец Осла делается разговорчивым и даже кричит. С инженером Ряженцевым они вместе изобретают, и у Осла в доме часто можно услышать эту фамилию. Причем все говорят не «Ряженцев», а именно «инженер Ряженцев», с уважением говорят, как будто инженер — это граф какой-нибудь. Осел тоже часто говорит про инженера Ряженцева, и Димка всегда представляет «инженера Вовку», своего брата, как тот после института приходит на завод, врубает магнитофон, и, подрагивая от музыки, начинает изобретать.

12

Димке открыл Иван Николаевич, тот самый, чей сундук стоит в коридоре.

— Здорово, милейший, — поприветствовал Иван Николаевич. Он всегда называет Димку «милейший» и Осла называет «милейший», только еще прибавляет имя.

— А Ося дома? — сразу спросил Димка и заглянул под культю Ивана Николаевича внутрь квартиры: нет ли там Осла. Но Осла не было, по коридору кто-то шел, Димка не разобрал кто.

— Не знаю, милейший, не ведаю, — ответил Иван Николаевич и пропустил Димку в квартиру.

Димка прошел мимо сундука, мимо висевших на стене счетчиков и платежных книжек. Обычно ему открывал Осел или они приходили вместе и у Осла был ключ, но сегодня открыл Иван Николаевич, хотя Димка позвонил правильно, три раза. Значит, Осла нет дома.

Димка все-таки стукнул в дверь тоже три раза, и услышал голос Осла, который спрашивал: «Кто?» Вопрос шел откуда-то сверху, как будто Осел говорил «кто?», сидя на люстре.

— Свои, — радостно ответил Димка.

— Войдите. Дверь открыта, — медленно и так же сверху сказал Осел.

Димка вошел и почувствовал знакомый запах, от которого

очень приятно защекотало в носу, а потом увидел Осла: он стоял на подоконнике, засунув в форточку голову и правую руку. Осел курил смесь, причем очень сильной концентрации: наверное замесил на килограмм основы всего щепотку сухой малины. Осел курит такую сильную концентрацию, когда бывает расстроен или взволнован. Вообще, дома он курит очень редко, потому что всегда может кто-нибудь прийти, сейчас тоже могли прийти, но Осел почему-то курил. Он вынул голову из форточки, но правую руку с папиросой оставил за окном.

— Будешь? — спросил Осел.

— Буду, — сказал Димка.

— Только учти, сегодня очень крепко. У меня внутри как наждаком водит.

Он кивнул на свои сандалии, стоявшие под окном: в одном была коробочка со смесью, в другом листки газеты.

Димка стал высыпать из коробочки на листок темную, очень мелкого помола смесь, а Осел исчез в форточке. Появился он, когда Димка уже слюнявил шовчик папиросы.

— Забирайся на подоконник, — сказал Осел. — Выдыхать будем по очереди. Пока я выдыхаю, ты держи, а потом я буду держать, а то двум головам не поместиться — форточка маленькая.

Димка забрался на подоконник, Осел достал спички и зажег конец Димкиной папиросы, который вспыхнул, как факел, и горел очень ярко, пока огонь не добрался до смеси. Димка затянулся и сразу зашелся кашлем, хотя раньше при курении не кашлял. Осел действительно очень крепко замесил, и к тому же горелой газетой сильно воняло, и во рту у Димки стало так, будто он съел кусок этой горелой газеты. Димке не верилось, что это их смесь, та самая прекрасная целебная смесь, которую открыли они с Ослом и вот уже два года заготавливали с осени.

13

Димка затянулся и стал кашлять, потому что Осел очень крепко замесил, к тому же Димка не курил давно, месяца два, с тех пор, как уехал в пионерлагерь. В пионерлагере ребята из старших отрядов курили и ему предлагали, но Димка отказывался, потому что ничего кроме смеси курить не мог, он уверен, что всю жизнь курить будет только смесь, заготавливая ее с Ослом осенью на целый год.

Димка еще раз затянулся, только не так глубоко, и теперь все было нормально. Он зажал нос пальцем и держал дым, ожидая,

когда Осел освободит форточку. Ему дышать пора было, а Осел не вылезал, и Димка стал краснеть и топтаться по подоконнику. Казалось, он вот-вот нос разожмет и выпустит дым в комнату. Но Осел все-таки вылез, Димка быстро высунул голову в освободившуюся форточку и со свистом выдохнул. Осел не собирался выдыхать, хотя теперь была его очередь, он стоял в носках на подоконнике рядом с Димкой, и глаза у него были очень грустные и влажные. Димке показалось, что Осел плачет или плакал, но лицо у него было сухое, и если он плакал, то слез не было. Димка никогда раньше не видел, чтобы Осел плакал, но и глаз таких странных никогда у Осла не было. У Димки заныло внизу затылка, то место, куда ударил Вовка, и боль эта еще усилилась, когда Осел повернулся к нему лицом.

— Я ушел из дома, — сказал Димка.

Осел воспринял новость спокойно, как будто всегда был уверен, что Димка уйдет из дому и этого можно было ждать в любую минуту.

— Буду комнату снимать.

Димка сказал об этом неубедительно как-то, сам потому что не верил, что будет комнату снимать. Кто это ему комнату сдаст. . .

— У меня будешь жить, пока не помиришься, — спокойно сказал Осел, — спать со мной будешь, только не храпи, я не люблю.

Димка посмотрел на кресло-кровать, в котором спит Осел. Широкое кресло, они спокойно поместятся. Он представил, как они с Ослом говорят всем «доброй ночи» и ложатся в кресло-кровать. «Доброй ночи» они говорили почему-то хором и в кресло-кровать ложились синхронно, как фигуристы, и потом синхронно лежали на спине, до подбородков накрытые одеялом, и смотрели в потолок. Потом подходила мама и поправляла одеяло и подтыкала под ноги — так, как Димка любил. Но одеяло поправляла не мама Осла, а Димкина мама, и она же потом гасила в комнате свет. Димка вспомнил маму, которая была далеко, в Белоострове, и слова Осла насчет примирения. Он ведь не ссорился с родителями, и они нисколько не виноваты, что Вовка выгнал его из дому. Если бы они не уехали, такого бы наверняка не случилось. Уж если надо было бы выгнать кого-нибудь из дому, то выгнали бы Вовку, потому что у Вовки в институте хвосты, а не у него.

— Тебя когда-нибудь били? — спросил Димка.

Осел посмотрел на Димкину шею, как будто знал, что его недавно ударили именно по шее.

— Бить сейчас считается непедагогично, родителей за это осуждают, — сказал Осел.

— Меня избил Вовка.

Димка сказал «избил», и ему себя стало очень жалко.

— За дело? — Осел внимательно посмотрел на Димку. — Если за дело бьют, тогда, по-моему, это педагогично.

— Не знаю за что. За то, что я разговаривал с Ниной.

Осел не знал Нины. Он не знал, что было вчера вечером, и про Димкино предчувствие он не знал, и, конечно, не знал, кто такая Нина и почему Димка с ней разговаривал.

Они стояли на подоконнике, но больше не курили; Димка рассказывал Ослу все с самого начала, с того, как родители решили уехать к дяде Косте в Белоостров, Осел слушал. Когда Димка вспомнил разговоры Вовки с Петей и с Ниной, Осел сказал, что это у Вовки «зов плоти». Димка не знал, что такое «зов плоти», и некоторое время молчал, соображая. Осел часто говорит такие слова, которых Димка еще не знает, и они застревают в памяти и потом неожиданно всплывают, и тогда он долго раздумывает над ними и мучается. Осел же говорит такие слова с легкостью, и про «зов плоти» тоже сказал небрежно, как бы между прочим, будто речь шла о футболе или какой-то марке. О том, что Нина молчала, когда Вовка выволакивал его из комнаты, Димка не сказал. Чем ближе он подходил в своем рассказе к удару по шее, тем сильнее волновался, потому что он подумал, что в то время, как они с Ослом стоят на подоконнике, этажом ниже, в его квартире, происходит что-то страшное и совершает это его брат Вовка. Димка кончил рассказывать и ожидающе смотрел на Осла.

— Эта Нина, наверное, падшая женщина, — сказал наконец Осел. — Ты в ней ничего такого не заметил?

— Нет, нет. . . Нина красивая. . .

Димка непонятным чутьем уловил смысл слова, которое только что сказал Осел. Он был уверен, что к Нине оно не относится.

— Опиши ее, — попросил Осел, закуривая. Он затянулся и полез в форточку выдыхать, но его уши остались в комнате, и Димка стал описывать Нину. Получалось с трудом, хотя Димка совсем недавно видел Нину очень близко. Ему никак не удавалось вспомнить лицо, все остальное было на месте, а вот лицо словно застелило дымом, который она красиво выпускала. Не было лица, и Димка смог вспомнить только Нинины ресницы и запах ее духов.

— У нее красивые волосы, и они очень вкусно пахнут, — описывал Димка, не сводя глаз с Осла, застрявшего в форточке. Ему очень хотелось, чтобы Нина Ослу понравилась. — Она танцует хорошо, у нее длинные ресницы и очень красивые глаза. . .

Димка чуть не сказал и следующую фразу из разговора Вов-

ки с Ниной: «Какой я? Ну, в общем-то, самый обыкновенный» — едва удержался.

— По-моему, он ее будет бить, — сказал Димка, когда Осел наконец появился в комнате. — Он как зверь сегодня. А то зачем ему было меня выгонять?

— Они водки не пили? — спросил Осел.

— Вовка принес две бутылки вина. Но Нина сразу отказалась, — соврал Димка. — Вовка один пьет.

Теперь Димка ждал, что скажет обо всем этом Осел. Он думал, что Осел сейчас начнет одеваться, потом они пойдут к Ивану Николаевичу и попросят двустволку и все вместе с Иваном Николаевичем и с двустволкой пойдут к ним в квартиру спасать Нину. Когда Осел принимает какие-то важные решения, он молчит или начинает что-нибудь делать, например одеваться, и одевается он неторопливо, обстоятельно, а мозг Осла в это время лихорадочно работает, обдумывает и взвешивает; глаза Осла загораются таинственным заговорщицким блеском, от которого Димкино сердце сжимается тревожно и радостно. Димке никогда не удается угадать, что же придумал Осел.

Но Осел неподвижно стоял на подоконнике и не собирался переодевать тренировочные штаны, чтобы идти за ружьем, и в глазах его не было ничего таинственного, смотрели они все так же грустно, и у Димки снова заболел затылок. Димка собирался спросить у Осла, что же им все-таки делать, но тут хлопнула входная дверь и кто-то пошел по коридору. Димка не придал этому большого значения, но Осел быстро выкинул папиросу в форточку, и Димка выкинул в форточку свой давно потухший, затвердевший на конце окурок.

— Лена, — сказал Осел, — спрыгивай.

Димка спрыгнул на пол, и в этот момент в комнату вошла сестра Осла Лена.

14

Сестра Осла Лена, когда вошла в комнату, первым делом поморщилась и зашмыгала носом.

— На кухне ничего не горит? — спросила Лена и посмотрела сперва на Осла, стоявшего на подоконнике, а потом на Димку, который как раз задвигал ногой под стол сандалии Осла с газетой и смесью.

Лена очень похожа на Осла, если бы Осел родился девочкой, он обязательно был бы Леной. Может быть, с годами сходство уменьшится, но сейчас они очень похожи, хотя Лене уже двадцать четыре года. Она закончила техникум и работает в про-

ектном институте. Лена очень часто ходит в театры со своей подругой Галей, которая вместе с ней работает. Осел рассказывал Димке, что их мама сильно переживает, когда Лена уходит в театр с Галей. Мама, конечно, довольна, что Лена ходит в театры, и Галя ей нравится; но маме хочется, чтобы Лена ходила в театры не только с Галей, но еще с каким-нибудь молодым человеком.

Димка отвел глаза, когда Лена посмотрела на него.

Лена посмотрела на Димку и на Осла, причем на Осла она смотрела дольше, видимо потому, что тот стоял на подоконнике. И это вызывало подозрение. Но она все-таки пошла на кухню узнать, не горит ли там что-нибудь.

Тогда Осел соскочил на пол, быстро, без суеты достал сандалии, которые Димка успел загнать под тумбу письменного стола заподлицо, вынул коробочку со смесью и убрал ее в портфель.

— Не пронюхает? — спросил Димка.

— Не должна, у нее хронический насморк, — сказал Осел, надевая сандалии, — а если и пронюхает, то ничего страшного. Это курение лечебное, индейцы Центральной Америки тоже курением лечились.

— Надо что-то делать, — вспомнив про Вовку и Нину, сказал Димка. — Дверь, наверное, взламывать придется, так он не откроет.

Осел собирался ответить, но с кухни вернулась Лена с веником и стала подметать в комнате пол. При ней говорить о том, как взломать дверь в Димкиной квартире, конечно, нельзя было. Димка думал, что Лена подметет только там, где стояла обувь, и снова пойдет на кухню относить веник. Но Лена стала подметать по всей комнате, причем подметала она очень медленно, обхаживая каждый квадратик паркета, совсем не так, как Димка подметал, когда мама просит его прибрать в комнате. Так только женщины подметают. Вот из-за этого Димка молчал, и Осел молчал, тихо шуршал Ленин веник, и вдруг стало слышно, как часы тикают. Димка часто замечал: когда что-нибудь делаешь или разговариваешь, то, как часы тикают, не слышишь. А иногда — это бывает, когда в комнате тихо и о чем-нибудь думаешь, — начинаешь слышать, как идут часы, будто раньше их в комнате не было или они стояли, а вот теперь их завели. Димка слышал, как тикают большие часы, висящие над креслом-кроватью Осла, и смотрел на маятник — тот как зверек метался по деревянному ящику. И у Димки внутри тоже что-то заметалось, словно подталкиваемое маятником, и он в первый раз ощутил, как с тиканьем часов уходит время, и от этого нового ощущения

становилось все тревожнее, потому что время уходило, а он ничего не делал, чтобы помешать Вовке. А Лена, как нарочно, подметала пол очень медленно. Димка вспомнил, что рассказывал своей маме, какая она аккуратная, теперь его злить начинала эта аккуратность.

— Надо подумать, — тихо, чтоб только Димка мог слышать, сказал Осел.

Он сел к письменному столу и, обхватив голову руками, стал думать. Димка сел рядом и тоже попытался думать, но сосредоточиться никак не мог: то ли присутствие Лены мешало ему думать, то ли тиканье часов, сделавшееся очень громким. Димка хотя и сидел рядом с Ослом и так же, как Осел, обхватил голову руками, но не думал. Он смотрел перед собой на стопочки тетрадей, лежавшие на письменном столе под табличками, прикрепленными к стене. На табличках коряво (Осел когда старался написать покрасивее, то писал печатными буквами, и получалось еще хуже, чем обычно, когда он не старался) было написано: «мои» и «мамины». Под табличкой «мои» лежали тетрадки Осла, а рядом под табличкой «мамины» две стопки тетрадей маминых учеников.

15

Осел сидел за столом и думал. Он только однажды отвлекся, когда Лена спросила, где папа. Осел ответил, что папа пошел к инженеру Ряженцеву. Потом Лена попросила их поднять ноги — ей надо было вымести из-под стола, и Осел продолжал думать с поднятыми ногами. Димка был уверен, что Осел обязательно что-нибудь придумает. Он немного успокоился и вспомнил, что Осел ходил сегодня в магазин «Глобус» менять дубликаты.

Димка только начинал коллекционировать марки. У него пока штук двести было, не больше. А у Осла, наверное, больше тысячи марок.

16

— Это все очень сложно, — сказал неожиданно Осел. — Все, что относится к проблеме добра и зла, очень сложно.

— То, что Вовка мне по шее дал, тоже к этой проблеме относится? — спросил Димка.

Осел отпустил свою голову и повернулся к Димке. И снова лицо Осла будто втянулось в глаза, никогда таких странных глаз у него не было. В них появилось что-то новое и непонятное, рань-



ше Димка такого не замечал. Только у некоторых взрослых, Димка помнил, такие странные глаза были.

— К этой проблеме все, по-моему, относится, — нерешительно сказал Осел. Он сам не был уверен.

И то спокойствие, которое пришло к Димке, когда Осел думал, мгновенно исчезло.

— Ося, давай еще немного подумаем, — стараясь не смотреть в глаза Осла, попросил Димка. — Ведь Вовка Нину убьет. Он меня чуть не убил, хотя я ему близкий родственник.

Осел отвернулся и, кажется, снова стал думать. Но спокойствие к Димке не возвращалось, и, посидев немного, он стал ходить по комнате, которую только что кончила подметать Лена. Лена теперь сидела на диване с ногами, так же как Нина, только Лена не курила, а читала книгу «Консуэло». Димка попытался представить, сидит ли все еще Нина на их диване. Димка ходил по комнате, и все скакало у него перед глазами: Нина и Вовка, и Лена, и Осел, и он сам, шагающий по комнате.

— Что хорошего в «Глобусе», ты ходил сегодня? — спросила Лена у Осла, не переставая читать.

Димке тоже хотелось посмотреть, что выменял Осел сегодня в «Глобусе», хотя момент и не очень-то подходящий был. Осел Лене не ответил, а она второй раз не спросила и продолжала читать. Тогда Димка снова сел к письменному столу рядом с Ослом и тихо, чтобы не сбить Осла с мысли, попросил дать посмотреть кляссер.

— Кляссера уже нет, — сразу, как только Димка спросил, ответил Осел. Он ответил так быстро, как будто очень долго ждал такого вопроса и все это время думал именно о нем. Из трех слов, сказанных Ослом, сильнее всего подействовало «уже». Сперва «уже» куда-то пролетело далеко в Димкином мозгу, но потом стало медленно возвращаться, обрастая по пути непонятными и ужасными вопросами, и один из них, самый короткий, сорвался с губ:

— Как УЖЕ?

— Его отняли, — сказал Осел странным шепотом. Если бы он кричал во весь голос, так на Димку не подействовало бы, как этот шепот. Хорошо, что Лена не слышала, она читала книгу.

Димка почувствовал во рту вкус горелой газеты, в которую они набивали смесь, и как будто слишком глубоко затянулся смесью очень высокой концентрации. У него зажало внутри.

— За что? — спросил Димка. Он себя не слышал, потому что в голове сильно стучало и отдавало в уши.

Осел не ответил «за что», нельзя было на этот вопрос ответить. И теперь страннее всего было молчание Осла, потому что

только Осел мог облегчить Димкины мучения. Димке нужна была хотя бы капелька надежды на то, что марки Осла еще можно вернуть. Осел мог сказать, что кто-то пошутил или, например, подошли дружинники и взяли кляссер. Иногда так бывало: дружинники, когда видели, что марки продают и покупают не в магазине, подходили и делали замечание, а некоторых взрослых уводили в штаб дружины на Литейном. Однажды у одного мальчика из Димкиной школы дружинники отобрали марки и сказали, что отдадут, когда придет кто-нибудь из родителей. Еще Димка слышал, что иногда марки отнимают. Подходит здоровый дядька или двое здоровых и некоторое время стоят и смотрят, как мальчики меняются, как будто тоже хотят меняться, а потом забирают марки и убегают. Забирают, конечно, когда хорошие марки. Димка был уверен, что раз отнимают — то за дело, например за спекуляцию. И Осел тоже говорил, что у тех, кто продает марки не по номиналу, их надо конфисковать. Осел предполагал, что те, кто вот так отнимает марки, отдают их потом в магазин.

Осел только менял дубликаты, а покупал марки в магазине или в клубе, и поэтому у него НЕ МОГЛИ конфисковать. Димка ждал каких-нибудь подробностей, самой малости насчет того, что кляссер не совсем пропал. Но никаких подробностей Осел не рассказывал, и Димка вспомнил странные его глаза и самого Осла, курившего в комнате на подоконнике смесь необычайно сильной концентрации.

Димке было стыдно перед Ослом, так стыдно, как будто он был причастен к грабежу и тоже отнимал у Осла марки. Хуже всего было то, что Осел молчал. Вообще он всегда переживает внутри, так мужчины и должны переживать, и Осел наверняка не думал сейчас о том, как нелегко Димке оттого, что он переживал внутри. Раньше, если у Осла какое-нибудь горе случалось, он Димке не рассказывал, или рассказывал потом, когда горе уже было пережито. Так было, например, когда он решил задачку в тетради Плуга и его на собрание вызывали. А тут Димка видел тихое страдание Осла и сам страдал, но все равно Ослу было намного тяжелее, потому что страдание и сострадание — вещи разные. Димка это чувствовал. Он уже страдал сегодня, когда Вовка выгнал его из дому. Но сейчас боль была сильнее, и это очень трудно объяснить, тем более что тогда, на кухне, Вовка ударил Димку, а сейчас никто его не бил и даже не волок за шиворот.

Может быть, Осел ничего не рассказывал потому, что не хотел, чтобы услышала Лена. Он наверняка не хотел, чтобы Лена или родители узнали про кляссер.

Димка тронул Осла за плечо и кивнул на дверь, и Осел послушно встал, и они пошли в коридор.

— Мы в уборную, — уже в дверях сказал Осел.

Лена ответила:

— Ага, — и добавила: — Только не очень долго, — машинально добавила, так как продолжала читать книгу «Консуэло» и подумала, что они идут гулять на улицу.

17

В коридоре Димке сразу полегче стало. Из комнаты Ивана Николаевича слышен был телевизор. Димка узнал «Кабачок «13 стульев». Пан Вотруба разговаривал с пани Моникой. Димкина мама любит эту передачу, а папа говорит, что «шутки плоские, а женщины приятные». Вовка как-то сказал, что лучше уж так, чем наоборот, а папа раскричался и назвал Вовку пошляком.

Осел зажег свет и пошел к сундуку.

— Кто отнял? — спросил Димка, пристраиваясь на сундуке рядом с Ослом.

Димка осторожно спросил, он не хотел бередить душу Осла всякими вопросами, но и молчать было невыносимо. Но неожиданно Осел охотно ответил, как будто сильно изголодался по разговору. Внутри ведь тоже очень трудно переживать.

— Дядька один. Мы в парадную пошли меняться, и дядька этот пошел, он сказал, что его спецгашение интересует, а у мальчика, с которым я хотел меняться, как раз спецгашение было. Мы хотели в дальнюю парадную идти на Литейный, а дядька предложил в кожно-венерическую пойти.

— В кожно-венерическую нельзя было идти, там народ все время по лестнице ходит, — сказал Димка.

— Дядька сказал, что бояться нечего, мы быстренько.

— Дядька солидный?

— Вообще-то солидный. Такой, как Вовка, может помладше немного.

— Давай дальше, — нетерпеливо попросил Димка, и Осел стал рассказывать дальше.

— Поднялись мы в кожно-венерическую на третий этаж, там уже больные не ходят, там только жильцы. Сначала мальчик стал спецгашение показывать. У него всего один блок был, дядька быстро посмотрел и меня попросил показать кляссер. Я раскрыл кляссер и дядьке показал. Я тогда заметил, что у дядьки ни кляссера, ни альбома не было. Он сначала из моих рук смотрел,

а потом себе попросил, чтобы лучше видеть, а мальчик почему-то ушел.

— Как ушел? — Димка удивился.

— Я не знаю... Как только дядька взял себе кляссер, мальчик побежал по лестнице вниз.

Осел замолчал, потому что из комнаты вышел Иван Николаевич с чайником, и, пока не закрылась дверь, было очень хорошо слышно, как пан Спортсмен рассказывал какую-то смешную историю.

— Толкуйте, толкуйте, — сказал Иван Николаевич, увидев Осла и Димку на сундуке.

— Я дядьку спросил: а что у вас есть на обмен? — сказал Осел, когда Иван Николаевич пошел по коридору. — Но дядька ничего не ответил, он спортивную серию Монако как раз смотрел. Потом он кляссер засунул в карман пиджака, сказал: «Продавать марки нельзя» — и пошел вниз.

— Ты побежал за ним?

— Дядька медленно по лестнице спускался, не убегал. Я поэтому не сообразил ничего и пошел за ним. Он ведь, если подумал, что я продаю, должен был марки в магазин отдать. Но он в «Глобус» не пошел, я его на Невском сразу потерял из виду.

Осел замолчал. Теперь он так смотрел на Димку, как будто ждал от него какого-то очень важного решения, а не просто сочувствия. Так всегда Димка смотрел на Осла, когда тот думал, и сегодня так же смотрел, когда рассказывал про Вовку и Нину.

Он вдруг увидел в глазах Осла то, чего давно и трепетно ждал: Осел верил, что Димка может ему помочь.

18

— Какой дядька из себя? — спросил Димка решительно.

— Обычный самый дядька. В плаще, в брюках. На плаще пуговички...

— ...На брюках ширинка, — подхватил Димка. — Неужели ничего отличительного нет?

Осел отколупывал от сундука ржавую полоску железа.

— У него фурункул, — вдруг сказал он.

— На каком месте?

Димка обрадовался, что у дядьки фурункул оказался.

— На шее. У него на шее крестик из лейкопластыря и под ним бугорок.

— Больше ничего такого нет, нарывов, например?

— Нет, в остальном дядька здоровый. Только вот фурункул на шее, у меня такой вскочил однажды.

Осел еще что-то говорил про дядькины ботинки, они, кажется, в глине были вымазаны, но Димка запомнил только фурункул. Остального он не слышал, потому что в это время в Димкиной голове складывался план спасения кляссера. Впервые за этот вечер Димка почувствовал ясность мысли, и из-за этой ясности он уже не мог больше сидеть на сундуке Ивана Николаевича.

— Я приду через полчаса. Только ты никуда не уходи, — сказал Димка.

— Ага, — встрепенулся Осел, и в этом его «ага» надежда была.

19

В то время как Осел описывал дядькины признаки, Димка вспомнил про Вовку. Сегодня он уже не раз его вспоминал, но тут он подумал о Вовке совсем по-другому. Димка подумал о Вовке, как о родном старшем брате, высоком и сильном (Димка вспомнил, как Вовка его руку сжал, когда из комнаты волок). По Димкиному плану в отыскании марок Осла Вовка должен был сыграть главную роль. И хотя между ними недавно произошел конфликт, Димка не сомневался, что в таком важном деле Вовка поможет. Есть в жизни моменты, когда родственные чувства перевешивают все остальное. Ведь он сам тоже еще вчера хотел, чтобы Вовка сдал во вторник экзамен. И даже удар по шее и Нину Димка, наверное, смог бы Вовке сейчас простить...

Выйдя из квартиры Осла, Димка побежал по лестнице вниз. Он остановился у своей двери и, не раздумывая, позвонил. Должны были зашаркать по полу Вовкины вельветки, но Димка мог этого и не услышать — он громко дышал, потому что бежал по лестнице через две ступеньки. Тогда, чуть погодя, должна была открыться дверь или Вовка должен был спросить «кто?». Димка дал Вовке еще некоторое время, например для того, чтобы выйти из уборной и прийти к двери, но Вовка не открывал. Димка позвонил еще раз, подержал кнопку пальцем, чтобы подольше звенело, и снова слушал.

— Тебе позвонить? — спросил кто-то сзади.

Димка обернулся и увидел Юру. Юрина жена была еще на нижней ступеньке — она очень медленно поднимается и на каждой ступеньке отдыхает. Они возвращались с прогулки, от Юры несло холодом. Юра, наверное, подумал, что Димка все еще стоит у своей двери и никак не может позвонить.

— Вы Вову не видели? — спросил Димка, а Юра ответил, что нет, не видели, и Юрина жена снизу тоже сказала, что они гуляли около дома, но Вова не входил и не выходил.

Димка опять стал слушать дверь, но слышно было плохо, потому что Юрина жена стала подниматься по лестнице. Наконец она поднялась и Юра закрыл дверь, но в Димкиной квартире по-прежнему было очень тихо. Тогда Димка длинно-длинно позвонил и в придачу принялся стучать по своей двери кулаком, он чувствовал, как дверь сотрясалась от его ударов и дребезжала, на кашель было похоже. В один момент Димке показалось, что кто-то ходит в прихожей, и он, приложив губы к дырке замочной скважины, сказал туда:

— Вов, открой, пожалуйста, очень надо.

Димка еще верил в свой план и в то, что Вовка все поймет. Надо было только, чтобы он открыл дверь. Димка не понимал, почему Вовка ему не открывает.

Он спустился по лестнице вниз и вышел на Греческий. Воздух был такой же, каким пахло от Юры: тягучий, холодный. Ярко светилась витрина гастронома на углу Греческого и улицы Некрасова, вторым по яркости был фонарь у трамвайной остановки, и оттого в садике за ним было почти темно и деревья казались густыми, хотя листья с них уже вовсю опадали. Сухой асфальт под фонарем был с фиолетовым отливом.

Димка перешел Греческий и остановился напротив своего дома, на том самом месте, где ждал кого-нибудь из знакомых, когда возвращался сегодня из школы. Димка смотрел на свет в своих окнах: непривычный был свет, он занимал только краешек одного окна, а остаток и второе окно были черными. Обычно в комнате горела люстра и окна ярко светились, или горела настольная лампа и по стеклам разливался ровный зеленый свет, а такого, как сейчас, Димка в своих окнах раньше не видал. Он не сразу сообразил, что в их комнате горит ночник над кроватью, где спят мама и папа. Надежда, что вернулись родители, вспыхнула в Димкиной голове только на секунду. Если бы дома были родители, они бы ему сразу открыли. Дома был Вовка, и горел ночник.

Димка вспомнил про Осла, который ждал наверху в своей квартире. Димка рассчитывал вернуться к Ослу с Вовкой, на том и строился его план: он приходит к Ослу с Вовкой и они втроем едут в «Глобус» искать того дядьку с фурункулом на шее. Но этот план невозможно было осуществить, потому что Вовка не открыл дверь. В том, что Нины уже нет у них дома, Димка был уверен, непохоже, чтобы Вовка бил Нину при свете ночника. Вообще, все, что касалось Нины, неожиданно отступило, потускнело, словно случилось очень давно и теперь едва мерещилось в спокойном, медленном свете горящего за окном ночника; Димкины мысли были посвящены Ослу.

Что делать дальше, он не знал. Каких-нибудь двадцать минут назад Димке ясно было, что надо делать, но Вовка все перевернул. И теперь Димка, как ни старался, ничего придумать не мог. Наверное, надо было бы все очень спокойно обдумать и проанализировать, так, как всегда поступает в таких случаях Осел, тогда Димка хотя бы точно знал, чего ему ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО БЕСПОЛЕЗНО, но Димка еще не научился так анализировать, потому что был на два с половиной года моложе Осла. К тому же мысли его путались, и только одна, самая простая, о том, что НАДО ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ПОМОЧЬ ОСЛУ, крепко торчала в голове, как заноза.

20

В «Глобус» ехать на двадцать восьмом трамвае. Можно на пятерке или на двенадцатом, но они до Невского не доходят, а с Литейного сворачивают к цирку, там еще две остановки пешком идти. Поэтому Димка ждал двадцать восьмого.

Пятерки, как назло, шли одна за другой, и двенадцатые, а двадцать восьмого не было. Так всегда случается. Когда очень нужен какой-нибудь трамвай, то остальные идут один за другим, а нужного нет. Если бы Димка ждал пятерку, то наверняка одни двадцать восьмые бы шли. На первой пятерке, которая подошла, когда Димка встал на остановке у галантерейного, он бы давно уже до Литейного доехал и давно бы дошел до «Глобуса» пешком или где-то был на подходе, но он ждал двадцать восьмого.

Димка трамвай определял по фонарям.

Димка был в рубашке, надетой под форменную тужурку. Его куртка осталась дома и висела сейчас рядом с Вовкиной кожаной кепочкой. Ему было не так холодно, чтобы его трясло или лицо синело, но мужчина, стоявший рядом, посмотрел на него и торопливо, словно испугавшись тотчас замерзнуть, подтянул шарф, и переливчатый колышек галстука и кадык скрылись под ним. По сравнению с этим мужчиной и с другими мужчинами, которые сидели или стояли рядом с сидящими женщинами, Димка был очень маленький, и в стекле над кассой, где он хорошо себя видел, он тоже был маленький.

Невский Димка увидел два раза, пока ехал на двадцать восьмом в «Глобус». Сначала Невский мелькнул, когда трамвай пересекал улицу Восстания, тускло довольно мелькнул, только если знаешь, где кончается улица Восстания, можно было понять, что это Невский; второй раз кусочек Невского, равный ширине Литейного, показался, когда трамвай сворачивал на Литейный, тогда Невский уже сверкнул, но тоже очень коротко, потому что

двадцать восьмой поехал по Литейному и окно над кассой, в которое глядел Димка, выходило на Литейный. А кусок Невского приближался и разгорался ярче и ярче и был теперь виден в главном стекле трамвая — стекле кабины, где сидел вагоновожатый. Димка протиснулся вперед. Он довольно легко протиснулся, потому что серединка трамвая была пустая, как будто та обычная «серединка», которую всегда в транспорте просят продвинуться, не только продвинулась, но вовсе из трамвая вышла, дав возможность Димке пройти так легко, что «болоньи» пассажиров почти не шуршали от прикосновений его форменной тужурки. Так вот, Димка пробрался к кабине и через переднее стекло трамвая смотрел на приближающийся Невский. Вагоновожатая Димку не трогала, вообще вагоновожатые к мальчикам такого возраста хорошо относятся, не гонят с прохода и не ругают, если случайно в кабину залезешь, поэтому Димка на немного, на полголовы примерно, влез в кабину и смотрел на кусочек Невского, вечернего субботнего Невского, к которому нес его трамвай.

21

Теперь Димка опять очень хорошо знал, что ему надо делать. Во всяком случае по тому, как он переходил наискосок Литейный, даже не оглянувшись на свой трамвай, так могло показаться. И в том не было ничего странного, у каждого так бывает, а если человек всегда, в любую минуту знает, что ему делать, то у него что-то ненормально и для остальных людей он даже опасен. И потому не было ничего удивительного в том, что Димка быстро пошел по Невскому, по самому краешку у домов, где посвободнее и можно было побыстрее дойти до «Глобуса». По пути он заглянул в окно гастронома и близко увидел людей, стоявших в кассу и в винный отдел, а потом уже в следующем окне — тех, кто стоял в бакалею, но человека с фурункулом в гастрономе не было. Это Димка сообразил, когда гастроном остался позади, как будто кто-то ему напомнил, что этот человек мог быть и в гастрономе, но напомнил не очень настойчиво, потому что надо было идти сначала в «Глобус». Димка шел по самому краешку Невского против течения, он старался не смотреть вправо, и оттого все, что ехало и шло по Невскому, перемешалось, превратилось в ровный густой поток, и Димке удавалось не замечать в этом потоке отдельных людей, он ощущал лишь движение, которое составляло узкую щелку пространства у домов, там, где он шел. Ему нужно было не замечать отдельных людей, — стоило только начать вглядываться в лицо, он бы обязательно подумал об их множестве и о том, что человека с фурункулом

найти невозможно. Хотя бы потому, что Димка мог увидеть лишь одну сторону шеи у тех, кто шел мимо него по той же стороне Невского. Тогда он бы вспомнил об идущих по противоположной стороне Невского и о тех, кто шел по Невскому в районе Казанского собора, Гостиного, или о тех, кто уже свернул с Невского на другие улицы или ехал по Невскому в автобусах и троллейбусах. Наконец, он мог подумать и о том, сколько людей не собираются идти сегодня на Невский, сидят дома и смотрят по телевизору «Кабачок «13 стульев», как Иван Николаевич, и так далее. Хорошо, что Димке удалось дойти до «Глобуса», не подумав об этом.

«Глобус» собирались закрывать. Дверь еще не закрыли, что было важнее всего, но уборщица в галошах уже раскидывала по полу опилки. Она ходила с совком, таким, какие бывают у дворников, брала из него горсть опилок и рассыпала по полу, словно по полю ходила и сеяла. Уборщица сеяла по «Глобусу» опилки, а продавщицы проверяли чеки, снимая их с иголок.

22

В магазине был всего один покупатель. Он разглядывал блоки. Дальняя дверь в углу была открыта, и виднелись картонные коробки в маленьком коридоре. Коридор упирался в другую дверь, за которой, по всей вероятности, тоже были коробки с марками. Где-то среди этих коробок, возможно, лежал кляссер Осла, который отобрал у него дядька с фурункулом. Димка еще верил или опять верил, как когда Осел только заикнулся про кляссер, что дядька вернул марки в магазин, хотя Осел совершенно ясно сказал, что дядька в магазин не пошел; к тому же если верить, что дядька отнес марки в магазин, то тогда надо поверить и в то, что дядька отнял марки за дело — значит, Осел продавал марки. Тут получалось противоречие, потому что Осел марки продавать не мог, Димка это знал наверняка, значит, и вернуть марки в магазин дядька не мог. Но Димка, увидев коробки с марками, сразу представил, что где-то среди них лежит на стуле кляссер Осла с серией Монако и с другими прекрасными марками, и, подходя к отделу, где продавали марки, он все поглядывал в ту дверь в углу магазина, где были коробки.

Димка не знал, как лучше обратиться к продавщице, которая проверяла чеки на маленьких счетах, на каких считают в школе. Прибавляя на счетах, она сама тоже считала и шевелила губами, неслышно повторяя цифры, боясь сбиться, и поэтому Димка дождался, пока она записала цифры на бумажке и губы ее остановились.

— Извините, вам кляссер с марками сегодня не отдавали? — спросил Димка.

— Нет, — сказала продавщица и на него не посмотрела или, может быть, посмотрела, но это нельзя считать взглядом, когда человек шевелит губами, складывая всякие цифры и думает только о том, чтобы не сбиться.

Она снова принялась считать и проверять чеки, и Димка стал ждать новой передышки: он хотел спросить еще раз, может быть кляссер отдавали не ей, а кому-нибудь другому. Димка ждал, пока продавщица проверит партию чеков, и подумал про Осла, который, наверное, сидел на сундуке и ждал его и прислушивался к лестничным шумам или стоял на площадке и глядел в узкий проем лестницы, куда Димке часто хотелось плюнуть. Может быть, Осел спустился и тоже звонил в Димкину квартиру, разыскивая его: Осел ведь не знал, что Димка поехал в «Глобус», а те полчаса, которые он должен был ждать, уже прошли. Димка пытался представить Осла мечущимся по квартире или по лестнице или по Греческому, но женщина стала записывать на бумажку цифры, и он, боясь упустить момент, снова спросил, не отдавал ли кто-нибудь в магазин синий кляссер с марками.

— Нет, — как и в первый раз, ответила продавщица, а мужчина, который разглядывал блоки, посмотрел на Димку.

Кляссера в магазине не было. Все теперь упиралось в дядьку с фурункулом.

Мужчина, разглядывавший блоки, подошел к Димке. Он спросил, о каком кляссере идет речь. Первым делом Димка посмотрел на шею мужчины, а потом сказал, что у его друга отняли здесь марки. Лицо мужчины как-то сжалось, будто Димка не сказал про марки, а ущипнул его.

— Есть сволочи, — прошипел мужчина, — очень жалко, но сволочи есть.

Димка ждал еще чего-нибудь кроме сволочей, может быть какого-нибудь совета, и поэтому поглядывал мужчине в глаза, цеплялся за них, как вцепился бы руками за его плащ. Мужчина пошел к выходу, подрагивая при каждом шаге и приговаривая что-то насчет сволочей, что есть, мол, сволочи. Он констатировал факт, но этот факт ничуть Димку не успокоил и богатырской силы не придал, а наоборот, ему сделалось зябко, хотя в магазине было тепло и кошку, сидевшую на батарее, обволакивал сон, она отбивалась, кошкины ресницы то медленно поднимались вверх, открывая глаза, неожиданно бодрые и энергичные, то плавно скользили вниз. Кошка, поборов все-таки сон, соскочила прямо к двери и пошла на Невский, важно, привычно, не опуская хвост на опилки, мягко так пошла по ступенькам.

Димка открыл кошке дверь, а та, приняв это как само собой разумеющееся, как нормальное к себе отношение, вышла на Невский, и Димка ее больше не видел. Он стоял один за дверью закрывающегося магазина «Глобус», и поток людей плыл перед ним, только теперь не было такого сильного ощущения движения, потому что Димка смотрел на прохожих. Он как будто стоял на демонстрации на трибуне и люди колоннами шли мимо него и замедляли перед ним шаг. В другое время такое количество разных людей обрадовало бы Димку, можно было бы спокойно разглядывать прохожих и автобусы, подходившие к остановкам, провожать автобусы и троллейбусы до Аничкова моста, а потом следить за движущейся рекламой. В другое время, даже просто так стоя на Невском, можно было бы придумать тысячу всяких интересных дел, но сейчас Димка, словно забыв об этом, смотрел на идущих мимо людей, которые ничего не знали ни про Осла, ни про редчайшую серию Монако. Люди шли и шли, и Невский казался бескрайним, опоясывающим всю Землю проспектом.

Димка прошел в парадную кожно-венерического диспансера, она рядом с «Глобусом», поэтому туда часто ходят меняться. И Осел сегодня ходил в эту парадную. Там было сыро и полно окурков. Димка медленно поднимался по ступенькам, так же точно поднимался сегодня днем по этим ступенькам Осел с мальчиком и дядькой. Димка хотя и был на месте происшествия, но почему-то, как все случилось, представить не мог, — ему лезла в голову драка. Вот на этой лестнице Осел дрался, а потом дядька убежал. Получалось так, что дядька непременно должен был убежать, а не спокойно уйти, как рассказывал Осел. Димка прошел мимо входа в диспансер и стал подниматься вверх. Никаких следов не было; на площадку второго этажа, где обычно менялись, Димка не пошел, потому что там сейчас целовались. Он повернул назад.

В дверях стоял милиционер.

Димка не слышал, как милиционер вошел, и сердце у него от неожиданности противно шевельнулось. Милиционер в упор смотрел на Димку, а Димка шел ему навстречу, он старался поровнее идти и поувереннее, но чем больше старался, тем хуже получалось. Димка шел, как нарушитель порядка, которого застали на месте преступления и велели для проверки на виду у всех пройти от стола до двери. Пройти в дверь было невозможно, потому что всю ее занимал милиционер. Димке казалось, что сейчас его куда-нибудь поволокут или свяжут и поведут под кон-

воем, потому что милиционер был очень большой и его громадная рука лежала на кобуре. Арестовывать Димку вообще-то не за что, но милиционер так плотно стоял в дверях парадной, что запросто можно было почувствовать себя нарушителем какого-нибудь закона, например какого-нибудь закона о поведении в парадной. Так вот, Димка стоял совсем рядом с милиционером и, готовый к чему угодно, подумал, что надо как-то сообщить обо всем домой, чтобы там не волновались, но мамы и папы нет, они в Белоострове и вернутся только завтра вечером. Возможно, перед Димкой промелькнула бы прожитая жизнь или хотя бы какие-то лучшие из нее фрагменты, какой-нибудь луг с высокой, в росе, травой и небо над ним, кусок голубого бездонного живого неба, единственность которого ощущаешь только в подобных случаях, но жизнь не успела вспомниться, потому что милиционер сделал четкий шаг в сторону, освободив Димке дорогу. Можно было идти вперед. Димка, оказывается, был свободен. Неожиданное, хорошее было чувство — иди себе на все четыре стороны, вернее на три: назад идти было нельзя — там целовались. Но Димка почему-то стоял на месте рядом с милиционером, как будто молчаливого разрешения ему было мало.

Димка чувствовал силу человека, стоящего рядом с ним. Большую, настоящую силу, которой так нехватало ему в этот вечер.

— Там никто на лестнице не выпивает? — спросил милиционер.

— Нет, там целуются, — сразу ответил Димка.

— Ну и хорошо, — сказал милиционер с облегчением и снял руку с кобуры. Он очень странно сказал слово «хорошо», его «хорошо» как будто не имело никаких других букв, кроме «о», звучало одно густое тягучее «о». Димка никогда не слышал, чтобы так интересно говорили.

— Закаляешься? — спросил милиционер.

— Ага.

— По этой лестнице проживаешь?

— Я живу на Греческом проспекте, — ответил Димка. Ему почему-то очень приятно было отвечать, он даже сам стал немного растягивать гласные буквы.

— На Греческом?

— Я тут по делу.

Димка уже знал, что все расскажет милиционеру, но он не торопился, привыкая к этому неожиданно появившемуся человеку. Димке вдруг стало очень спокойно.

24

У милиционера были самые нормальные пшеничные усы, а кожа на лице была нежно-розовой, такой она бывает, когда поспишь днем и потом выходишь на улицу. Возможно, что милиционер только заступил в дежурство, а перед этим поспал. Глаз его Димка не видел: они были очень высоко. Если бы ему удалось заглянуть все-таки в глаза, высоко подпрыгнуть, например, или милиционер бы вдруг присел, то они тоже наверняка Димке понравились, потому что были голубоватые с темными зрачками, словно аккуратно закапанными в глаза, и казались бесконечными. В такие глаза очень приятно смотреть, они затягивают в себя. Жаль, что Димка их не видел; впрочем, он и так чувствовал к милиционеру большую симпатию, и ему в голову не приходило, что милиционер может вдруг уйти — постоять еще немного с ним рядом, спросить, например, как Димку зовут, а потом откозырять и, поправив фуражечку, пойти на Невский по своим делам. Но милиционер не уходил. Он глядел на движущийся Невский, и в его взгляде не было ничего особенно профессионального, не то чтобы он следил за Невским, стараясь обнаружить среди прохожих нарушителей порядка, или ждал, что вот сейчас кто-нибудь совершит незаконный поступок, за который следует штрафовать или вести в отделение. Он смотрел на Невский скорее взглядом отбившегося от толпы прохожего, который чувствует себя не очень-то уютно на сверкающем и крутящемся во все стороны проспекте. Может быть, милиционер никуда не уходил еще и потому, что чувствовал к Димке то же самое или нечто похожее на то, что чувствовал Димка к нему, стоя между лестницей, где у Осла отняли марки, и улицей, проплывавшей перед ним.

25

— Ты по какому делу здесь? — спросил милиционер.

— Мне нужно разыскать одного человека, — тихо сказал Димка. Он не хотел, чтобы их слышали.

— Он здесь живет?

— Нет. Вся трудность в том, что, где он живет, неизвестно. Димка сказал «трудность», но, по правде говоря, особой трудности он уже не ощущал, во всяком случае трудность уже была не такой, как полчаса или даже пятнадцать минут назад.

— Он твой приятель? — спросил милиционер.

— Нет, он наш враг.

Димке неожиданно попало в голову это слово, оно очень вовремя подвернулось, потому что мужчина с фурункулом был

именно их с Ослом враг. И вполне понятно, что милиционер даже не улыбнулся.

— Он наш с Ослом враг, — определенно повторил Димка. — Осел — это мой друг. Все произошло на этой лестнице, потому я здесь и стоял.

Теперь надо было все по порядку рассказать милиционеру, но Димке показалось, что тут, в парадной, место не подходящее для серьезного разговора. Он вспомнил, как такие вещи делаются в кино: обязательно должен быть кабинет и пожилой следователь должен сидеть за большим столом, а человек, которого следователь вызвал или который сам пришел, должен сидеть напротив в кресле и следователь должен предлагать ему закурить из портсигара. На лестнице и на самом деле было неуютно, к тому же в любую минуту сюда могли зайти с Невского или спуститься сверху жильцы. Поэтому Димка предложил милиционеру пройти в отделение. Милиционер удивился, потому что обычно он предлагает пройти в отделение, а не гражданин, и, внимательно посмотрев на Димку, официально ответил: «Пройдемте».

Они пошли по Невскому в сторону Литейного. Так получилось, что из-за множества людей то Димка оказывался впереди, то милиционер, и трудно было понять, кто кого ведет в отделение. Когда Димка шел впереди, он почти через каждый шаг оглядывался, а если впереди был милиционер, то он все посматривал назад: не потерялся ли Димка, и многие прохожие останавливались и глядели на них, и во взглядах смешивались сочувствие и осуждение. «Такой маленький, а попал в милицию. Вот молодежь!» — наверное, думали одни, а у других сердце сжималось: «Разве можно ребенка-то в милицию? Что делается...» Но Димка взглядов как бы не замечал. На углу Невского и Литейного они дождались красного светофора и Невский переходили рядом. У самого тротуара, когда троллейбусы уже поехали в их сторону, милиционер слегка подтолкнул Димку, так его папа иногда подталкивал, если они переходили с ним какую-нибудь улицу.

В милиции Димка еще никогда не был. И Осел в милиции не был, это Димка знал точно. Однако он с удовольствием шел в отделение, словно бывал там не раз. У него не было и капельки страха, наоборот, он чувствовал, что с той самой минуты, когда милиционер, стоявший в дверях парадной, сделал четкий шаг в сторону, начало делаться то самое дело, ради которого он приехал на Невский. Димка представил, как остриженный наголо дядька с фурункулом сидит на суде за загородкой, где всегда сидят на судах обвиняемые, а Осел держит с трибуны обвинительную речь; во главе судейского стола сидит главный судья в мантии и в колпаке и постукивает карандашом по гра-

фину, когда зал особо сильно шумит, требуя наказать дядьку с фурункулом со всей строгостью. Раскрытый кляссер Осла лежал на зеленом сукне перед судьями, и боковой судья доставал из него пинцетом марки и показывал публике, а когда очередь дошла до спортивной серии Монако, зал решительно заскандировал свое возмущение, как стадион, просящий «шайбу-шайбу». Осел опять взял слово и просил смягчить приговор и вместо тюрьмы присудить дядьке с фурункулом исправительные работы по месту жительства. И Димка был согласен с Ослом, потому что кляссер ведь нашелся, а у дядьки, как выяснилось, дети.

— Ты почему без пальто? — спросил милиционер уже на Литейном.

— Пальто дома, а у меня нет ключа.

Димка вспомнил Вовку и Нину. Он подумал о том, стоит ли рассказывать в отделении про свое предчувствие и про Вовку. Если с кляссером все должно было уладиться (Димка уже не сомневался, что дядьку с фурункулом они найдут), то в отношении Вовки и Нины сейчас была полная неясность — все спутал свет ночника в их окне, спокойный тусклый свет, с которым нормальные люди читают перед сном книги.

У подворотни, над которой горела яркая надпись «милиция», милиционер снова придержал Димку за локоть, потому что со двора выезжали машины с мигающими, похожими на резко разжимающийся кулак фиолетовыми фонарями на крышах. Когда машины проехали, они пошли во двор. По дороге милиционер, с которым шел Димка, отдал честь милиционеру, шедшему им навстречу.

Димка решил рассказывать с самого начала, с того, как Осел собирал марки. Но сперва необходимо было объяснить лейтенанту, кто такой Осел. Димка так и сделал. Он сказал, что это его друг, он живет с ним по одной лестнице. Лейтенант слушал молча и, узнав, кто такой Осел, не выразил радости, даже не кивнул, а когда Димка стал рассказывать про поездки Осла в филателистический клуб, сказал:

— Не надо только с Апулея начинать, докладывайте суть вопроса.

Но суть как раз в том и заключалась, что у его друга отняли марки несправедливо. Без этого нельзя было по-настоящему и понять случившееся, и Димка рассказал еще про кляссер, который подарил Ослу на день рождения инженер Ряженцев. Потом Димка перешел к тому, что лейтенант, по всей вероятности, считал сутью. Он в точности пересказал все, что говорил ему Осел,

только когда речь пошла о парадной, куда они пошли меняться, Димка заверил лейтенанта: Осел всегда марки менял, а покупал только в магазине или в клубе. Особое внимание Димка уделил мужчине, отнявшему марки, и фурункулу на его шее — это была главная деталь, за которую должна была ухватиться милиция.

Димка уже обо всем рассказал и ждал теперь, что скажет лейтенант, но тот спокойно попросил докладывать дальше. Димка подумал: может быть, доложить о том, что он был в магазине и спрашивал про марки Осла у продавщицы? — но он раздумывал, наверное, слишком долго, потому что лейтенант обратился к милиционеру Белякову.

— Рядовой Беляков, ты знаешь, сколько в Ленинграде народу живет?

— Примерно знаю, товарищ лейтенант, — не очень уверенно ответил милиционер Беляков.

— Правильно, — сказал лейтенант, — а знаешь, Беляков, сколько людей фурункулезом страдает?

— Да нет, не знаю.

— Правильно, — согласился лейтенант. — Так вот, Беляков, сколько, ты думаешь, потребуется личного состава, чтобы отыскать в Ленинграде человека с фурункулом?

— Много, товарищ лейтенант.

— Теперь, Беляков, предположим, начали мы розыск. Понятно, что начали с поликлиник.

Лейтенант рассуждал правильно, начинать нужно было именно с поликлиник, причем лучше всего с кожного диспансера, что рядом с «Глобусом».

— Предположим, Беляков, проверили мы всех, кто на лечении состоит, — продолжал лейтенант.

— Мужчин, — подсказал милиционер Беляков.

— Правильно. А как быть с теми, кто дома сам мазью лечится?

Беляков не знал, как быть с теми, кто не ходит в поликлинику, и Димка тоже не знал. Они ждали, что скажет лейтенант дальше.

— В чем сейчас люди ходят? — спросил лейтенант Димку.

— В пальто, — сказал Димка.

— Правильно, в плащах и шарфах, и кашне, и шея у всех закрыта. Но предположим, нам как-то удалось найти человека, отнявшего у Козла марки.

— У Осла, — поправил Димка.

— Правильно, у Осла. Допустим, мы его как-то нашли, мобилизовав все свои силы. Опознали. Задержали его, например, на улице, и что мы ему должны сказать, Беляков?

— «Пройдемте», — неуверенно сказал Беляков.

— А он говорит: «В чем дело?» Объясняем. А он говорит: «Впервые слышу». А мы что говорим?

— «Не врите!» — почти крикнул Димка, потому что совершенно ясно было, что дядька, которого наконец поймали, врет.

— Правильно. А он говорит: «Вы за свои действия ответите» — и уходит.

— Надо его остановить! — Димка даже со стула вскочил. — Пусть марки отдаст!

— У нас нет ни свидетелей, ни прямых улик, — очень спокойно и серьезно сказал лейтенант, — пока мы будем разбираться, твой Осел сумеет собрать больше марок, чем у него отняли. — Эх, Беляков, Беляков... Когда умнеть-то будем?..

Лейтенант поправил галстук.

Все, что он говорил насчет свидетелей и улик, было совершенной правдой. Димка хотя и вспомнил, что кроме Осла и дядьки на лестнице был еще мальчик, и Димка подумал, что лейтенант сразу же спросит у милиционера Белякова: «Беляков, вы знаете, сколько в Ленинграде мальчиков?» Поэтому Димка про мальчика не сказал.

Лейтенанту снова позвонили по телефону. Речь, видимо, шла об угоне автомобиля — лейтенант спросил номер, цвет и марку.

— Инвалидную коляску с улицы Рубинштейна угнали, — объяснил он милиционеру Белякову и Димке, — номер известен, цвет зеленый, на правой дверце вмятина. Найдем, — определенно сказал лейтенант.

Димка никогда не думал, что с уликами все обстоит так сложно.

26

Лейтенант больше ничего не говорил. Телефон звенел почти беспрерывно, и лейтенант часто заглядывал в книгу.

Димка посмотрел на милиционера Белякова, но тот как будто отвел глаза. Он встал и спросил у лейтенанта, могут ли они быть свободны. Лейтенант, не прерывая письма, коротко кивнул, так кивнул, как будто это было давно решенное дело и они напрасно здесь сидели. Лейтенант наверняка про все уже забыл, потому что ему позвонили по крайней мере десять раз, значит десять раз на его участках что-то случилось. К тому же заходил дружинник и сказал, что сейчас приведут какого-то субъекта, разбившего витрину.

Но милиционер Беляков направился не к выходу, а в соседнюю комнату и показал Димке, чтобы он следовал за ним.

Вторая комната отделения была больше первой, и накурено в ней было слабее.

Беляков зажег свет. Когда в комнату осторожно зашел Димка, он прикрыл за ним дверь. Здесь, видимо, у милиционеров был красный уголок или комната отдыха, потому что в углу стоял телевизор на ножках, а на длинном столе была доска с шашками, причем съеденных было мало: наверное, милиционеры только начали играть, как их куда-то вызвали.

Беляков сел к столу и закурил. Димка не думал. что он курит: ни в парадной, ни в комнате лейтенанта милиционер не курил.

— Садись, — сказал Беляков Димке, и Димка сел напротив.

Беляков курил большими затяжками — сигарета «Солнце» убывала очень быстро, — а пепел стряхивал в кулек. Он снял фуражку и аккуратно положил ее на стол. У милиционера Белякова были белые кудри, росли они густо и кончались высоко на лбу у красного шовчика от фуражки.

— Видишь, какое дело...

— Вижу, — сказал Димка.

— Твой друг почему сам-то не приехал? — спросил Беляков.

— У него ведь такое потрясение, — объяснил Димка. Он вспомнил Осла, ему захотелось прибежать сейчас к нему, или нет, спокойно позвонить три раза в дверь и очень спокойно сказать Ослу, что все в порядке, что кляссер его будет найден. Димка не представлял, как он скажет Ослу другое.

— Лейтенант Серегин правильно говорил, — стряхнув в кулек очередную порцию пепла, сказал Беляков, — в таком городе разыщешь разве...

— Надо разыскать, — уверенно сказал Димка.

Милиционер Беляков докурил сигарету почти до основания, встал, высыпал пепел из кулька в корзину, — аккуратно высыпал, для чего низко присел, — и пошел к шкафу, стоявшему в углу комнаты у двери. Шкаф был полированный и по виду вполне домашний: в нем и на самом деле висело полотенце, два плаща и еще какая-то одежда, внизу лежал портфель, который Беляков взял. Димка внимательно следил за действиями милиционера, как будто почувствовал, что сейчас-то вот и произойдет самое главное. В какой-то момент Димка даже подумал, что Беляков достанет из шкафа или из портфеля кляссер Осла.

Беляков расстегнул портфель и выложил на стол толстую тетрадь, очень похожую на тетрадь Гали Ивановой, что лежала сегодня вверх ногами на письменном столе. Вверху на переплете большими буквами было написано «English».

— Английский изучаю, — несмело сказал милиционер, — трудновато с произношением. У меня с вологодским акцентом получается, — улыбнулся Беляков и слегка покраснел, — собираюсь в Ленинградский университет поступать.

С благоговейной осторожностью произнес он слова «Ленинградский университет». Вовка, например, даже «институт» никогда не говорит, он говорит «колледж».

Беляков пролистал несколько страниц, они были густо исписаны русскими и английскими словами. Потом он тетрадь перевернул и открыл первый лист. Там было что-то наподобие календаря: слева написаны дни недели, справа — то, что надо в эти дни сделать. Вроде расписания уроков, которое висело у Димки на стене.

— В эту неделю я в утро дежурю, а вечером на подготовительные курсы иду. Дежурство у меня на другом участке будет, в районе станции метро «Владимирская».

Он медленно спускался пальцем по дням недели и дошел наконец до четверга.

— Выходной у меня в четверг. Значит, в четверг мы сможем начать.

Милиционер Беляков, к сожалению, не видел Димкиных глаз, сказав насчет четверга. Он принялся заполнять графу в своем расписании. И совсем неважно, что Беляков не сказал, с чего начать, зато он сказал «мы», «мы начать».

— У вас уроки в школе когда кончаются? — спросил Беляков.

— Мы можем пораньше уйти, — сразу сказал Димка. Конечно, для такого дела он и Осел могли отпроситься с последнего урока или даже с двух уроков.

— В двенадцать часов можете быть у «Глобуса»?

— Сможем. Мне тоже кажется, что дядьку надо в «Глобусе» искать, он туда обязательно еще придет.

— Попробуем, — сказал Беляков. Он убрал тетрадку в портфель и надел фуражку. — Мне нужно на участок идти.

Они пошли к двери, у порога Беляков остановился.

— Слушай, а почему его зовут Осел?

— Осел — это прозвище, — объяснил Димка, — а вообще его имя Ося.

— Ну, а он не обижается разве?

— Нет, он не обижается. Осел очень умный. Вы сами увидите в четверг.

27

До остановки трамвая Беляков и Димка дошли быстро — Беляков торопился на участок, а Димка старался от него не отставать. На два беляковских шага он успевал сделать примерно шесть своих и, подходя к остановке, здорово запыхался, но вида не подавал. Он пытался восстановить нормальный ритм дыхания и набирал потому побольше воздуху и выдыхал долго и постепенно.

У кафетерия «Москва» они остановились. Беляков спустился на проезжую часть Владимирского и посмотрел, нет ли трамвая.

— Мне на двадцать восьмой, я сам доеду.

Димка понимал, что Белякову давно пора быть на участке.

— Ну давай, — согласился Беляков и протянул Димке руку. — Значит, в четверг в двенадцать часов.

— Может быть, мы и пораньше придем, — сказал Димка.

Пожимая Белякову руку, он успел поглядеть по сторонам: ему очень хотелось, чтобы люди их видели, видели, что они прощаются за руку и у них есть дело, известное только двоим — ему, Димке, и высокому красивому милиционеру, который собирается поступить в Ленинградский университет. Димка смотрел на уходившего Белякова, на его длинную спину и кобуру на шинели у талии. Он сильно гордился своей дружбой с этим человеком.

Беляков свернул на Невский, а Димка стал смотреть, нет ли двадцать восьмого. Надо было побыстрее ехать домой — там ведь ждал Осел. Но трамвая пока не было. Димка пытался представить, как он скажет обо всем Ослу. Он пытался представить все по порядку, с того момента, когда Осел откроет дверь квартиры, или даже раньше — со звонка в дверь. Димка хотел представить это потихонечку, очень-очень медленно, но все осложнялось тем, что, как только он давал первый звонок, выскакивал Осел, причем он даже не шел по коридору и дверь не отпирал, а вываливался со звонком откуда-то из стены. Димке не удавалось последовательно представить те превращения, которые должны были случиться с Ослом, получалась ерунда: Димка еще ничего не говорил, а Осел уже плясал и ходил на руках и пел: «Эх, мамочка! Эх, мамочка!» Это было тем более непонятно, потому что Димка никогда подобных проявлений радости у Осла не видел. Но все равно на душе у Димки было очень хорошо. И потому Литейный и близкий Невский так сильно изменились в лучшую сторону с тех пор, как Димка первым из пассажиров вышел из переполненного двадцать восьмого и направился к

«Глобусу». За два часа Литейному и Невскому удалось обрести свою красоту и неповторимость и словно вдохнуть это в людей, окружавших теперь Димку. Ему, конечно, хотелось поскорее увидеть Осла, необходимо было увидеть, потому что Осел ждал и страдал, но странно — он теперь не мог торопиться. С того мгновения, когда милиционер Беляков сказал «мы начать», само течение времени доставляло Димке большое удовольствие. Димка, конечно, ждал белый и красный фонари двадцать восьмого, но не с таким томительным нетерпением, как на остановке на улице Некрасова.

В кинотеатре «Титан» кончился сеанс, и на Владимирский выходили зрители. Многие улыбались и все еще смеялись, но другие — их тоже немало было — как будто вытирали глаза, и в толпе белели платки. Остальная часть зрителей выходила без всяких внешних признаков впечатления, можно было подумать, что они в кино не попали, а простояли два часа у кассы, ожидая брони, а теперь вот пошли домой. Наверное, они сильно переживали внутри. Так что понять, какого характера фильм идет в кинотеатре «Титан», было нельзя, можно было только догадываться, и, подумав, Димка решил, что все-таки там идет что-то грустное, просто у многих не было с собой платков. Димке самому такая гипотеза понравилась, и он улыбнулся.

Все зрители вышли, и дверь изнутри закрыли.

Димка снова стал высматривать свой трамвай. И вот на Владимирский выползли красный с белым фонари двадцать восьмого, поехали навстречу Димке, и он напрягся, будто готовился к гигантскому прыжку или к другому действию, потому что во что бы то ни стало надо было садиться на этот двадцать восьмой, который приближался к остановке очень быстро и раскачивался на путях.

— Мой трамвай, — не слыша своего голоса, сказал Димка.

Трамвай повернул на улицу Некрасова — это был уже Димкин район, его улица, в конце она упиралась в его Греческий. Димка возвращался к себе с таким чувством, словно отсутствовал несколько лет: всякая мелочь вроде мокрого пятна на асфальте под пивным ларьком или распаренные лица женщин, выходивших из бани, могли доставить ему сейчас радость. В окне парикмахерской какому-то дядьке брили голову, и она сверкала и лоснилась, словно смазанная подсолнечным маслом, и дядька радовался, а гардеробщик в ужасе застыл в дверях, свободная пожилая парикмахерша, поджав машинкой подбородок, смотрела на дядькину лысину одновременно мечтательно и устало. Увидев

парикмахерскую, Димка вспомнил милиционера Белякова, который сейчас обходил свой участок на Невском. Потом появился лейтенант из отделения — он разговаривал по телефону и с тревогой поглядывал на потолок; появился и исчез старый коллекционер, который продал Ослу спортивную серию Монако и в придачу подарил две марки государства Лихтенштейн. Прошелся Пит в синем пиджаке с пуговицами с орлами. Перед Димкой появлялись люди из сегодня и те, кого он видел раньше или никогда не видел, но слышал о них, например от Осла, и эти люди существовали, и их Димка знал, так же как знал Гоги, торговавшего на Некрасовском рынке грушами и гранатами. Перед Гоги была бабка с ребеночком с третьего этажа, водопроводчик дядя Максим, умерший три года назад, дядя Костя с папиной работы, инженер Ряженцев... И еще много людей. Но интересно было не количество их и не очередность Димкиных воспоминаний, в конце концов человек почти постоянно кого-то вспоминает и его, в свою очередь, тоже кто-то вспоминает. Димка почувствовал неожиданную связь между всеми людьми, жившими в его памяти. Они как будто были связаны с ним, Димкой, невидимыми, но несомненно существующими нитями, и через Димку, через разместившийся в нем узелок, люди оказывались также накрепко связанными между собой. Такие нити образовывались не только знакомством, но даже от мимолетного взгляда, и поэтому их получалось очень много. Димка никогда раньше не думал, что в его жизни существует столько людей и всех их надежно хранила память. Число людей постоянно росло, и Димкино существо с удовольствием, с жадностью вбирало их в себя, как впитывает в себя тепло все живое, естественно полагаясь на щедрость солнца.

Димка увидел свои окна из трамвая. Они ярко светились — так всегда бывает вечером, когда в комнате горит люстра. Вот теперь был самый нормальный свет, свет его дома. Возможно, никакого другого света и не было и Димка ошибся: посмотрел тогда на соседнее окно и там горел ночник. Жаль, что окна Осла выходят во двор. Иначе Димка увидел бы Осла, стоящего у окна или на подоконнике, Осла, который, конечно, мучительно его ждал. И Осел бы наверняка его заметил, побежал открывать дверь и стоял на площадке, нетерпеливо вглядываясь в лестничный проем, а скорее всего, Осел бы спустился, кубарем скатился вниз и их встреча произошла бы на Греческом, возможно даже на середине Греческого между трамвайными путями.

Димка пошел по улице Некрасова, не упуская из виду своих окон. Справа глубоко чернел садик, над невидимыми скамейками подрагивали огоньки сигарет, сырость обволакивала огоньки, и они расплывались в пространстве. Димка сейчас разглядывал свою улицу и дома с педантичностью управхоза, или, по-новому, начальника жилконторы, вернувшегося из длительного отпуска, и с удовольствием отмечал, что ничто не изменилось за время его отсутствия.

Все было на своих местах, и Димкины окна светились привычно и ровно. Напротив своего дома, точно там, где он стоял днем и глядел на бабку, а бабка глядела на него, Димка остановился. Он решил немного посмотреть на свое окно, — он хотел угадать, кто сейчас дома.

Димка не ожидал встретить Нину, ему казалось, что она давно ушла, ведь прошло так много времени. И потому тревога шевельнулась в Димке, но не так сильно, как это было сегодня утром или когда Вовка выгонял его из дома. Нина была живая и шла по Греческому ровно, не хромая и не плача, и никаких следов от побоев на ней как будто бы не было. И все-таки было странно, что она только сейчас, так поздно шла от них.

Димка наискосок перешел Греческий. Нина теперь была метрах в десяти от него. Она быстро шла по тротуару, слегка раскачиваясь на каблучках. Только сейчас Димка заметил, что Нина высокая, наверное такая же, как Вовка. Когда она сидела на диване, ее ноги не выглядели такими длинными и стройными. Она подняла воротничок плаща и некоторое время шла, придерживая его у щек, — Димка почувствовал, что Нина дрожит. Он стал догонять ее, и Нина обернулась. В ее взгляде был испуг.

— Это я, — сказал Димка. Он посмотрел Нине в лицо. Сейчас оно было еще красивее, чем раньше, в их комнате. Нина была очень-очень бледная, а губы очень-очень красные. От этого жутковато делалось.

— Вы где же были? — едва улыбнувшись (или Димке только показалось, что она улыбнулась), спросила Нина.

— Я ездил на Невский по одному делу.

— А мы вас ждали.

Димка пропустил это признание — он смотрел на Нину и пытался понять: что же изменилось в ней? Было ясно, что там, в их доме, произошло что-то очень важное для Нины, и скрыть это ей не удавалось, хотя внешне она была спокойна и говорила, как раньше, ровным голосом. Но что-то несомненно изменилось,

она чувствовала себя крайне напряженно, и оттого молчание сделалось неловким.

— Дома все в порядке? — спросил Димка, чтобы как-то прервать молчание. Дурацкий был вопрос, можно было так понять, будто он беспокоится, не разбила ли там Нина чего-нибудь, какую-нибудь вазочку или бокал, и не испортила ли мамины домашние туфли без задников.

— Все в порядке, — ответила Нина. Ничего такого она не подумала.

— Я вас провожу, — предложил Димка.

— Нет-нет, я сама, — сказала Нина, хотя по голосу можно было понять: ей очень хотелось, чтобы ее проводили, — я сейчас сяду на автобус.

Нина небыстро пошла по Греческому, умеряя свой шаг под стать Димкиному, словно тем подтверждая, что они идут вместе. Предчувствие, так долго томившее Димку, исчезло, теперь саднила вина. Димка не мог отделаться от ощущения вины перед Ниной, и хуже всего опять было то, что он ничего не знал. Остановка автобуса была уже близко. Автобуса ждали несколько человек — народу порядочно скопилось для такого часа, значит автобуса не было давно и он вот-вот мог подойти. Но Нина не могла так уехать.

Димка остановился.

— Нина, ничего не случилось?

Нина тоже остановилась, она смотрела на Димку удивленно и немного рассеянно, как будто думала только что совсем о другом и поэтому не могла сразу осилить неожиданный Димкин вопрос. Она поправила волосы и поддернула вверх воротничок плаща, поглядела вниз на маленькие носики замшевых туфель, словно сама хотела убедиться, что ничего не случилось.

— Нет, ничего, — встрепенувшись, наконец ответила Нина. «А разве что-то случилось? Что-то действительно случилось?» — спрашивали глаза, украдкой скользнувшие по Димке. В них трепетала еще куча всяких вопросов.

Димка вдруг подумал про Вовку. Что он мог сейчас делать, его брат? Никакое обычное Вовкино состояние не подходило, потому что Нина, которая только что была с ним, беспомощно стояла перед Димкой, и одновременно представить сейчас в пространстве Нину и Вовку было невозможно.

— Как ты думаешь, он мне позвонит? — спросила Нина.

Димка сразу не сообразил, о каком звонке идет речь. Нина спрашивала, позвонит ли ей Вовка, и смотрела на Димку так, словно от его ответа зависела ее жизнь. У Димки на душе сразу стало легче, потому что после неопределенности, в которой, каза-

лось, никогда не разобраться, все вдруг свелось к одному телефонному звонку.

— У Вовы же есть ваш телефон. Ему Петя дал, — сказал Димка. Он не сомневался, что раз у Вовки есть Нинин телефон, то он обязательно ей позвонит.

Когда Димка сказал «Петя», Нина сжалась, как от укола, но это произошло очень быстро, и Димка ее мгновенной боли не заметил. Наоборот, ему показалось, что Нина успокоилась, и это было очень хорошо, что все разрешилось так просто.

— Я могу ему сегодня сказать, — сказал Димка, — сначала мне надо зайти к другу, он живет по нашей лестнице, а потом я скажу Вовке, чтобы он вам позвонил. Можно, я вам тоже позвоню? — спросил Димка.

— Позвони, — Нина протянула Димке руку. Пальцы были тонкие и холодные.

Нина шла по тротуару, по самому краешку его, и казалось, что она вот-вот оступится и слетит с поребрика.

Димка думал о том, как бы не забыть напомнить Вовке о звонке.

29

От того места, где теперь находился Димка, до его дома — около тысячи шагов. Точную цифру назвать трудно, потому что Димка простился с Ниной недалеко от Лиговки. От Лиговки до его дома тысяча двести одиннадцать шагов, от остановки автобусов, которая была теперь сзади, семьсот два шага. От рынка, кажется, восемьсот тридцать. Рынок сейчас был почти напротив. Димка помнил расстояние от наиболее важных мест до своего дома. Когда он шел, например, от галантерейного, или от Лиговки, или от школы, то, если не забывал, считал количество шагов. Это были его «возрастные константы», как выражался Осел. Сам Осел такими вещами не занимался. Осел говорил, что ноги у людей их возраста постоянно растут, и к тому же Земля все время немного расширяется, и потому такие данные, как количество шагов, никакого значения не имеют.

Димка тоже очень давно не считал шагов. Очень трудно объяснить, почему он вдруг перестал считать шаги от наиболее важных мест до своего дома, это произошло само собой, и Димка даже приблизительно не смог бы вспомнить того дня или хотя бы месяца, когда эти «возрастные константы» перестали его волновать.

Димка стоял у висевшей на ограде больницы афиши. Афиша была очень длинная, чтобы достать до ее верха, Димке пришлось

бы подняться на цыпочки и вытянуть пальцы на руке, и только тогда кончиком ногтя самого длинного среднего пальца он, может быть, дотянулся бы до верха. И хотя эта афиша, извещавшая о представлении мюзик-холла у них в «Октябрьском», висела на улице Некрасова очень давно, и сильно посерела от дождей и снегов и от высокой влажности ленинградского воздуха, и выцвела на солнце, и края громадных синих букв растеклись по холсту, Димка не мог вспомнить, сколько же шагов от начала этой афиши — если идти от Лиговки — до его дома. Чтобы он от такой афиши не измерял — быть не могло, потому что подобных афиш в городе больше, наверное, и нет и она была безусловно очень важным местом, не менее важным, чем, например, киоск «Союзпечати», от которого двести сорок семь шагов.

Так вот, напоследок по пути Димка решил измерить это расстояние и медленно, стараясь идти одинаковыми шагами, пошел вперед. Чтобы не сбиться, он решил досчитывать до ста, загибая пальцы на руке, которую грел в кармане тужурки. Димка благополучно досчитал до двадцати, он уже прошел самое длинное слово афиши «прекрасной» и держал наготове один из пальцев, чтобы, как только будет сто, загнуть его в кармане.

И тут Димку словно хлестнуло упругой горячей волной.

Ощущение было таким сильным и неожиданным, что счет мгновенно сбился и у Димки перехватило дыхание. Это копилось долго-долго, по капле, терпеливо дожидаясь своего часа, и теперь стало подниматься в нем и закипать, как молоко. Простое и новое чувство: быть нужным — подталкивало, поднимало его над улицей Некрасова. И, не в силах противится ему, не имея возможности досчитать хотя бы до ста, Димка побежал по пустынной улице, в конце которой, на Греческом, его дом.

Юрий Герасимов

МИНИАТЮРЫ

НАДПИСЬ В ГОРАХ НА КАМНЕ

Если жито посеешь —
    Быть к зиме с калачом.
Если жить не робеешь —
    То и смерть нипочем.
Если друга не выдал —
    Есть кому помянуть.
Если жил не для выгод —
    Ты, брат, дольше побудь.

* * *

Может быть, и не надо бояться:
Ведь любой опрометчивый шаг,
Лишь бы живу-здорову остаться,
Все же учит ходить как-никак.

И, наверно, не надо сердиться:
Эту палку в колесах судьбы
Обстругай — и она пригодится
Косогором шагать по грибы.

* * *

Когда колодец вычерпан до дна,
Когда бадья пустой к тебе вернется,

Как ни мудри — причина тут одна:
Ты исчерпал возможности колодца.

И как бы губы ни коробил зной —
Сомкни и жди, покуда не нальется...
Такое есть и летом и зимой
И творческими муками зовется.

* * *

Замолим, люди, свои грехи,
Давайте, люди, читать стихи,
Давайте хором — не «Отче наш»,
Давайте вспомним: «Я встретил вас...»

И птицы в небе очертят круг,
И выйдут звери — корми из рук,
И солнце сядет на час позднее,
А может, на два, ему виднее.

И нам простится, нам все простится,
И каждый станет могучей птицей,
И каждый сможет слетать на небо,
Где воздух, кстати, вкуснее хлеба.

* * *

«Прими задаток, старая гадалка.
Что будет — знаю. Говори, что было.
Скажи мне только — ничего не жалко:
Она любила или не любила?»

И отвечает старая гадалка:
«Ступай-ка с богом! И живи, как можешь.
Сказать скажу, мне слов своих не жалко:
Твоя зазноба приходила тоже!»

* * *

Судьба — судьбой, а дело — делом:
Ты будь хоть трижды невезуч —
Встречай с надеждой солнца луч,
Тянись к нему душой и телом.

Не все судьбе торжествовать.
А в час заслуженной удачи
Ты ей оставь восторг телячий —
Сам принимайся глину мять.

* * *

Все же тяжко, что ни говори,
Вспомнить вдруг, что ты уже не молод,
Холодок почувствовать внутри, —
Правда, холодок еще, не холод.

Все же тяжко, что ни говори.
Правда, холодок — еще не холод.
Весь покрылся инеем, смотри,
Под высоким напряженьем провод.

Петр Кириченко

ДЯДЯ

Сухумский бортмеханик Константин Суханов приловчился возить пышнотелой Наде разные фрукты: груши, яблоки, апельсины, виноград. И даже фэйхоа — редкий плод, душистый, пахнущий лесной земляникой.

Надя представляла собой крашеную блондинку с голубыми, ничего не выражающими глазами; в ушах ее колыхались и блестели золотые серьги, а работала она кассиром в продовольственном магазине у Пяти углов. И жила неподалеку, объясняя всякий раз Суханову, как ей близко ходить на работу. Говорила об этом часто, верно потому, что ни о чем другом говорить не умела. Глупа была до святости, и в коммунальной квартире, где жильцы покусывали друг друга от скуки, ее даже любили.

В этот раз Суханов привез десять килограммов мандаринов, несколько десятков стручков красного перца и позвонил Наде прямо из аэропорта. Ему ответили, что Надя в отпуске и уехала отдыхать в Подмосковье на какую-то туристскую базу. Суханов, не дослушав, повесил трубку. Он очень даже расстроился. Не потому, что был влюблен в Надю и не мог без нее жить, а потому, что ему предстояло провести два дня в ненавистном профилактории, где и развлечений-то — лишь телевизор. Прилетевшие из других городов экипажи здесь отдыхали, отсыпались после долгих рейсов, и поэтому в профилактории соблюдалась тишина и скучный порядок; в основном спали. Суханову же спать было ни к чему.

Обычно, прилетев в Ленинград, он ехал к Наде домой и они устраивали пьянку, называя это торжественным ужином. Жильцы квартиры прекращали лениво переругиваться и начинали сновать по коридору, по кухне, втайне надеясь на дармовое угоще-

ние. Они громко вдыхали чудные запахи южных фруктов, переговаривались, притворно вздыхали и значительно кивали на дверь, за которой скрылся Суханов с Надей. И с укором глядели на двух отчаявшихся незамужних девиц, живших в узкой комнате рядом с ванной, как бы говоря: «Вот каких кавалеров надо заводить!» Девицы не особенно смущались, продолжали дежурить в коридоре — им было вдвойне интересно.

Суханов, выложив гостинцы, неторопливо и обстоятельно беседовал с Надей, расспрашивая ее о жизни, о работе. Надя весело рассказывала какую-нибудь квартирную новость, заканчивая разговор тем, что ходить на работу очень близко. «Вышла — и пришла», — говорила она.

Суханов благодушно улыбался и понимающе кивал, а после выходил в коридор. Появляясь перед жильцами без форменного пиджака с золотыми погонами, Суханов давал понять, что чувствует себя как дома. Ростом его бог не обидел, и некоторые из соседей, те, что помельче, смотрели на него снизу вверх. А Суханов, важничая, притворно хмурился, будто задумавшись над каким-то серьезным делом, и большое загорелое лицо его, похожее на медный таз, становилось напыщенным. Неторопливо вытащив из кармана пачку сигарет и угостив жильцов, Суханов и сам закуривал. Вообще-то он не курил. Такой слабый наркотик, как никотин, его не брал; Суханов вкуса табака не чувствовал и вообще считал, что люди курят для поддержания собственного достоинства... Сделав несколько затяжек, Суханов, обращаясь сразу ко всем, спрашивал:

— Ну как жизнь, товарищи?!

Начинался долгий бестолковый разговор, из которого мало что можно было понять и в котором Суханову принадлежало последнее слово. Суханов слушал, изредка кивал или же говорил многозначительное «да...» и с наслаждением следил краем глаза, как Надя бегала из кухни в комнату, туда-сюда, как челнок в машинке: она накрывала на стол. Жильцы тоже не упускали из виду эти приготовления и старались сообщить Суханову нечто такое, что заинтересовало бы его и о чем бы можно говорить долго. Потому что к столу приглашались только избранные; девицы, к примеру, оставались в коридоре; но и тем, кого обошли приглашением, выставлялось кое-что из заморских гостинцев в двух или же трех тарелках на кухне. Каждый брал, сколько мог, но так, чтобы другим досталось. Ругались в это время только тихо: Суханов запретил и сказал, что если услышит склоку, то не привезет им ничего... Словом, до больших скандалов дело не доходило.

А вообще-то в квартире жил такой народ, что, попади сюда

вагон с товарами, мигом бы растащили по своим норкам и следов не оставили. И проявили бы большую слаженность в таком деле. Надо сказать, что все они, исключая Надю, выглядели бледно и замученно, будто всех их подтачивал какой-то общий недуг или же происходили они из одной семьи. Суханов за глаза называл их «доходягами».

За столом, как и в коридоре, Суханов был за старшего. За столом много пили, шумели, затягивали какие-то песни, а когда, забывшись, подкрепляли ругань битьем посуды, Суханов рыкал одно лишь слово: «Ноги!» И жильцы сразу же остепенялись и начинали заискивать. А то еще принимались извиняться, что и вовсе не принято было в этой квартире. И не понимая, что хочет выразить Суханов этим коротким словом, побаивались. Он же ничуть не заботился, понимают они или нет, рыкал себе и все. Слово ему нравилось: так говорил его бывший командир корабля, когда хотел, чтобы второй пилот убрал ноги с педалей и не вмешивался в пилотирование... Попьянствовав и наговорившись, Суханов значительно смотрел на Надю, и гостей выпроваживали.

Так было два или даже три года...

Суханов привык к этому настолько, что перестал считать свои поездки к Наде изменой, а дом у Пяти углов стал для него родным. С совестью у него всегда были лады, и, собираясь вылететь, он преспокойно закупал фрукты, почти не торгуясь, — деньги у него были. За этим он следил: жене оставлял столько, сколько надо было. И вообще полагал, у кого больше денег — тот и умнее. Своих, конечно же, не обижал, покупал детям подарки: то игрушки, то какую-нибудь обувь... И думая об этом с таким же спокойствием, как и о посещении Нади, считал, что живет очень разумно. Детей у него было двое, мальчик и девочка. Они его любили и, когда он возвращался из рейса, внося в дом запах бензина и крепкого одеколона, кричали: «Папа! Папа!» — и повисали на его огромных ногах.

Жена его, глядя на такую встречу, радовалась за детей и почти никогда ничего не говорила. Молчала... Она давно уже поняла, что у мужа где-то есть зазноба, но разговора об этом не затевала, потому что устала от жизни и потому что знала бесполезность всяких слов. Кроме того, муж мог и побить ее. В этом случае он сначала предупреждал коротким: «Тресну!..»

Конечно, если бы она услышала разговор Суханова с Надей по телефону, то ее, настрадавшуюся и привыкшую ко всему, стошнило бы. Но она, к счастью, не могла слышать, как Суханов, этот грубый, сделанный вроде бы наспех, кое-как человек, не терпевший не только нежных, но даже уменьшительных слов,

привыкший только рычать и требовать уважения, говоря: «Что вы без меня? Нищета!» — вдруг менялся. Он и хихикал, и лебезил, и даже острил... И когда милая его сердцу кассирша в шутку отчитывала его за то, что долго не прилетал, он сюсюкал: «Надечка... Надечка, не мог вырваться к тебе...» Но куда там!.. Она и слышать не хотела: он ее не любит, забыл, а она сидит, как дура, и все ждет. «Надечка, — снова прерывал ее Суханов, — ты же умница...» И так они могли висеть на телефоне час. Надя, привыкшая торговать в магазине, торговала и в разговоре, стараясь не продешевить. Бесплатно она никому ничего не давала, в долг не верила и цену себе знала.

Но вот она уехала в Подмосковье, забыв своего добытчика, и Суханов остался один. Он расстроился, потому что заранее предвкушал встречу, мечтал о разговорах в коридоре и за столом, о ласках ненасытной Нади. Но — делать было нечего: дождавшись служебного автобуса, он поехал в профилакторий. И когда сидел в автобусе, придерживая ногой сетку с мандаринами, то жизнь показалась ему очень серой. Суханов даже обиделся: на Надю — что не предупредила, на судьбу — что такая злодейка.

В профилактории работала нянечкой некая Лиза, Лизавета Сергеевна, худенькая невзрачная женщина, заботой которой была смена белья да питьевой воды в графинах. И вот она, эта Лиза, увидела, как Суханов тащил сетку мандаринов, золотистых, отборных, и так ей захотелось порадовать детей... А тут, как нарочно, Суханов, заглянув в комнату и не обнаружив никого из своего экипажа, обратился к ней с вопросом:

— Где наши... орлы? В столовой?

— Нет, — ответила Лиза. — Пообедали и поехали в город.

— В город... — недовольно пробурчал Суханов. — Привыкли по магазинам шастать... У, народ!

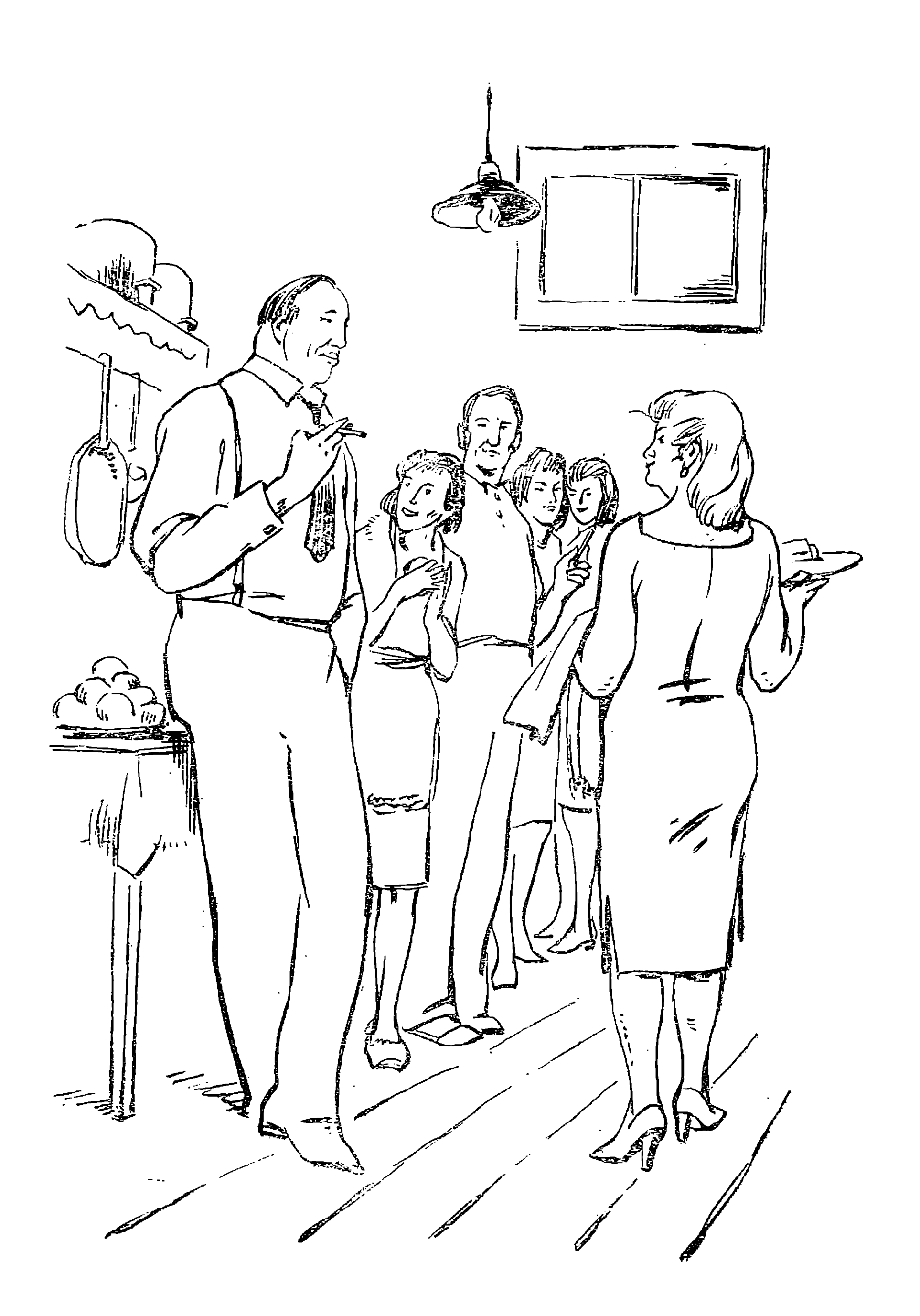
И теперь Суханова задело даже это, с обидой подумал он о том, что его не подождали. Он позабыл, что так было всегда: никто из экипажа Суханова не ждал, да и он ни в ком не нуждался, держался особняком.

— Вы не продадите мне немного? — решилась спросить Лиза, зная, что сухумские экипажи отличались щедростью.

Суханов, услышав это, сразу же заважничал и тут же приврал, что привез фрукты приятелю. Он даже рассердился, добавив, что тащил их, как верблюд.

Суханов улегся на кровать и разговаривал с Лизой лежа, огромный и все еще сердитый.

— Так и ему ведь хватит, — уговаривала Лиза Суханова,



даже не подозревая в себе такую смелость. — Не два — так один килограмм, у меня на больше и денег не хватит.

— Хватить-то хватит, — рассуждал он и, кстати, вспомнил, что у него есть в этом городе не то что приятель, но так... вместе учились, — но я обещал, а если обещал...

— Не себе прошу, — говорила Лиза, не понимавшая, что этот человек скорее выбросит или сгноит, чем продаст просто так. — Я ведь детям... — И краснела от стыда, и, сама не зная почему, не уходила.

— Понятно, что детям, — отвечал Суханов, думая о том, что не знает, где живет его сокурсник, а можно бы зайти, раз такой казус с ним произошел. — Детям оно пользительно... А сколько их у тебя?..

— Двое, — отвечала Лиза и снова краснела, будто в этом было что-то постыдное.

А Суханов, глядя на ее смущение, находил, что она даже привлекательна в белом ломком халате. Он ощупал ее взглядом и нашел, что ее маленький нос похож на кнопку запуска двигателей. Ему так пришлась по душе собственная фантазия, что он даже повеселел.

— Двое!.. Ишь ты!.. — воскликнул Суханов так, будто его это очень удивило. — И какие же они... большие... маленькие?.. Мальчики?.. Девочки?..

— Мальчик восьми лет, девочка — шести, — ответила Лиза и насильно улыбнулась.

— Ишь ты! Восьми! — снова воскликнул Суханов. — Да ты, понимашь, это, продавать мне резону нету. — Он произносил «понимашь» и, щерясь, глядел на Лизу. — Мне, понимашь, ласка нужна, уважение, и что твоя бумажка... Тьфу, да и все!

Лиза молча взялась за дверную ручку, но все еще стояла, будто не зная, как ей выйти.

— Ты вот что, дорогуша, — продолжал размышлять Суханов, вставая с кровати и подходя к ней. — Раз у тебя двое детей, ты должна уже соображать, накроешь стол, хлеб да соль, как говорят у нас, посидим, поговорим. У тебя квартира?

— Комната, — отвечала женщина. — Одна комната...

— Да... — раздумчиво произнес Суханов. — Не разгуляешься... Но хоть бы и в комнате, было бы желание. Скажешь детям, что я дальний родственник...

— Так продадите килограмм?.. — спросила Лиза еще раз. — Не получится у нас ничего.

— Не понял?!

Это Суханов сказал так, как говорил жильцам коммуналки: «Ноги!» Голос его зазвенел. Он смотрел на женщину не мигая.

— Дети у меня, — пояснила Лиза, уже не глядевшая на сетку с мандаринами. — Что вы говорите, подумайте...

— А то и говорю... Пять килограммов тебе отпущу, — сказал Суханов все таким же железным голосом; казалось, его голосовые связки были из листовой стали. — Мне от тебя ничего не нужно... Посидим, поговорим, да время и убьем, мне все легче, а то сиди в этой комнате...

Суханов хотел было еще что-то сказать, но обиделся, даже лицом побелел. «Черт знает что! — думал он. — За свой же товар да еще и упрашивай всякую...»

— Извините, — сказала Лиза и вышла.

— Ты подумай, подумай! — прокричал ей вслед Суханов, страшно разозлившийся.

«Черт знает что! Строит из себя! Цаца этакая! — думал он, меряя шагами комнату. — Тоже мне, хоть бы медсестра или там... докторша, а то — няня, уборщица, можно сказать, и на тебе: у меня дети. А у меня что, не дети?.. Эдак, если пойдет и дальше, то что же оно будет? Нет. — Суханов никак не мог успокоиться. — Распоясались, мокрохвостки, скоро управы никакой не достанешь!» Суханов снова недобрым словом вспомнил кассиршу, по чьей вине ему пришлось пережить такое унижение, и спустился в столовую. Там он в одиночку и очень сердито пообедал, рыкнув на официантку, когда та замешкалась со вторым блюдом. «Раскормилась на халтуру, — подумал, глядя официантке в спину. — Управы нет на вас!»

И пошел в свою комнату вздремнуть.

Спал он часа два, а после, проснувшись с недовольством, вышел в коридор. Ему было скучно. Делать же было совершенно нечего: телевизор пока что не включали, а в карты если где и играли, то закрывшись в комнате.

Мимо него прошла Лиза.

— Ну и как дела? — хотел было разговориться Суханов, но женщина, не ответив, ускорила шаги.

— Ты вот что, зайди ко мне, — сказал Суханов, когда Лиза снова попалась ему в коридоре.

Лиза взглянула на него, но ничего не ответила.

Суханов пошел в комнату, сел у окна и стал смотреть в него. За профилакторием начинался лесок, чуть левее просматривалась посадочная полоса. В сером небе лопотал вертолет. Все это было знакомо Суханову, и он решил, что смотреть абсолютно не на что. Лиза все не шла, и Суханов начал злиться. «Сказал — зайди, значит, зашла бы... Что... Как... Разговор бы начался, — думал Суханов. — Радуйся, что не я у тебя начальник, паршивка... Изображает из себя трудягу, бегает...» И от злости

наступивший вечер казался Суханову еще скучнее... И единственным выходом было — все же пойти к Лизе в гости.

Суханов опять вышел в коридор.

Лиза, закончив работу и надев серенькое пальто, собиралась уходить. Без белого халата она стала еще тусклее и неприметнее, но Суханов об этом уже не думал. Он схватил ее за рукав, Лиза хотела вырваться, но Суханов торопливо заговорил:

— Ты вот что... может, обиделась, то зазря. Я человек добрый, пожалею. — Он все еще держал Лизу за рукав пальто. — Подожди меня на остановке, поняла?.. И тебе лучше, и мне — меньше видят, поняла?..

Лиза вырвала рукав и, ничего не ответив, ушла.

Суханов кинулся в комнату, отсыпал из сетки в портфель половину мандаринов, надел пальто и, напевая бездумное «там-та-ра-рам», бросился догонять женщину. Он повеселел, потому что по взгляду ее понял — не откажет, подождет. Когда он выскочил из дверей профилактория, на душе у него потеплело, он любовно оглядел дома, зажигавшие огни в синих сумерках, и красные и белые огни машин на дороге и зашагал легко, размашисто.

На автобусной остановке стояло несколько человек, среди них была и Лиза. Суханов подошел к ней, развернув широко плечи, гордый собой и прямой; он был похож в этот момент на важного начальника, набравшего для работы на дом целый портфель документов.

— Ну и что?.. Ждем автобуса или такси подхватим? — сказал он развязно.

— Да где здесь такси... автобус, — откликнулась Лиза и еле приметно улыбнулась: — Да и привычнее.

«Без тебя знаю», — подумал Суханов и спросил:

— Ехать-то куда? Далеко?..

— К Пяти углам.

— Гм... гм... — откашлялся Суханов и подумал о таком странном совпадении.

Комната у Лизы была большая — на два окна, и разделила она ее полированным шкафом и веселой ситцевой занавеской. На полировке отражался желтым пятном светильник, устроенный над столом, сквозь занавеску просвечивала еще одна лампочка. Суханов сразу же отметил, что в комнате чисто, уютно. Он подошел к окну и посмотрел на дом, стоявший через дорогу. В окнах кухонь копошились люди. «Коммунальщики, — определил Суханов и вспомнил квартиру Нади. — Устраиваются же, язви их

мать! И живут, как в колхозе». Вспомнив о мандаринах, Суханов вытащил из портфеля несколько штук и угостил детей. Дети сказали «спасибо» и занялись там чем-то за занавеской, разговора не получилось. Видно было, что к чужим людям дети не приучены. Суханову это понравилось. «Надо полагать — чистая, — решил Суханов и даже повеселел. — А в профилактории строила из себя... Да оно и понятно: все же работа, какая ни есть, а без нее не проживешь...» Так думал Суханов, и Лиза ему все больше нравилась. Она в это время готовила на стол. Суханов хотел было предложить сходить в гастроном и купить вина, но передумал, решив, что на первый раз достаточно и мандаринов.

На ужин была картошка и колбаса.

Суханов и Лиза пили чай, а дети ели мандарины. Мальчик очистил только один и больше не стал, а девочка съела несколько. Суханов спросил ее, нравится ли...

— Да, очень, — ответила девочка. — Большое спасибо. — И перестала есть.

После смотрели телевизор, а потом Лиза стала укладывать детей. Она долго там возилась, что-то рассказывала и приговаривала. Суханов даже заскучал и на экран перестал смотреть. Сидел и, как-то ни о чем не думая, просто ждал. Наконец появилась Лиза, она села поодаль и стала смотреть телевизор. Суханов взглядывал на нее, но она, казалось, не замечала его, сидела и о чем-то думала. Когда за занавеской всхлипнула девочка, она тут же встала и прошла туда. Но там, видно, было неспокойно, и она вернулась не сразу. Суханов кашлянул, пытаясь привлечь ее внимание, но Лиза не пошевелилась, головы не повернула. Суханов уже с раздражением взглянул на кровать, стоявшую у окна, на два белых конверта от пластинок. «Музицирует, — отчего-то с надеждой подумал Суханов. — Дело будет!..» Подождал еще немного, а потом, потянувшись к Лизе, положил огромную свою лапищу ей на колено. Лиза сбросила руку и испуганно взглянула на занавеску, за которой спали дети.

— Ты лампу выключи, — просипел Суханов, стараясь говорить потише, и сам дернул за веревочку. В комнате стало темно.

— Мама! — звонко позвал мальчик, и Суханов вздрогнул. — Мама!

— Чего тебе, сынок? — спросила Лиза, вставая. И ушла за занавеску.

— А тот дядя ушел? Да?..

— Ушел, ушел, спи, сыночек... — слышал Суханов и тревожно напрягся, будто в этой комнате таилась какая-то опасность для него, вращал глазами, боясь скрипнуть стулом или пошевелиться.

— Мама, он похож на немца из вчерашнего кино, — сказал мальчик и зевнул.

— Ну что ты говоришь, — послышался голос Лизы. — Какой же он немец?!

— Хорошо, но ты отдай ему мандарины... Наташка тоже не хочет...

— Спи, сынок, спи, — сказала Лиза.

«Ну наглец, — рассвирепел Суханов, сидя в чужой темной комнате. — Ремнем бы тебя, пакость такую... Надо же придумать — на немца похож. Ну и наглец!»

Лиза, как тень, прошла по комнате и включила другую лампу, у дверей, и поманила к себе Суханова. Он осторожно, стараясь не шуметь, подошел к ней и увидел, что она смеется. Сдерживается, но все же смеется. Он смотрел на нее оторопело, не понимая, как это она, можно сказать — никто, позволяет себе смеяться над ним. А Лиза, не выдержав, прыснула смехом и так, зажимая губы рукой, подала ему портфель и пальто. Провела по темной прихожей и только в двери, выпуская его из квартиры, рассмеялась открыто и сказала:

— Прощай, дядя!

И захлопнула дверь.

Как сбежал Суханов по лестнице, он не помнил.

Попав во двор и увидев мусорный ящик, подлетел к нему, высыпал из портфеля мандарины и, топча ногами те, что упали, приговаривал: «Вот вам!.. Вот вам! Ешьте!»

РУБЕЖ ВОЗВРАТА

В этом полете Евстигнеев пристально вглядывался в землю, плавно уходившую под самолет, будто видел ее с такой высоты впервые или же открыл для себя что-то новое в синей от утренней дымки тундре, в разлохмаченном косяке облаков, неспешно тянувших с запада на бреющем. Редкие в этих местах, малоприметные селения грелись в скупых лучах осеннего солнца, к ним сбегались извилистые дороги, казавшиеся с высоты тропинками, над крышами домиков держался синий дым. Солнце двигалось по небосклону и, отражаясь, выбивало узкую дорожку на воде Белого моря. И тундра, и селения, и облака — все это выглядело до удивления чистым и легким, каким-то нереальным. Думалось, что там, внизу, повеселил землю морозец, застеклил лужи, а озера не тронул, заставил сгребать в кучи листья, отошедшую траву и всякий сор и сжигать. Правда, костров не было видно, — да и

зажигал ли кто? — но устойчивая синь протягивалась пеленой. Евстигнееву почудилось, что уловил он запах дыма, запах осенней опустошенной земли. Он встревоженно взглянул на бортмеханика: не горит ли что? Нет, все спокойно. Продолжая смотреть по курсу, где была все та же синева да белесое безоблачное небо, он вдруг ясно осознал, что летит в последний раз. В лице его, прорезанном морщинами, ничего не изменилось, не дрогнул ни один мускул. Промелькнула мысль о том, что другие люди живут же без полетов... что это не смерть еще.

Евстигнеев посмотрел вниз, чтобы запомнить синюю тундру, солнце и привычную за долгие годы пилотскую. Запомнить все эти приборы, потертые от множества прикосновений рычаги сектора газа, два кусочка сахара в бумажной упаковке, застрявшие между переключателями, расчеты штурмана... Евстигнеев пригляделся к ним, уясняя время прибытия, и взглянул на часы.

У него оставалось ровно сорок три минуты... Он подумал, что это не так уж мало. Конечно, он мог, уменьшив обороты двигателей, продлить это время. Но только подумал об этом и не двинулся.

Бортмеханик глухим голосом рассказывал о своем старом «Москвиче», доверял, как тайну, что там можно еще подклепать и подправить. И второй пилот, знавший, что машина эта только для того и годится, чтобы о ней рассказывать, молчаливо и участливо кивал. Глаза его при этом неотрывно следили за горизонтом. А механик все говорил и говорил... Голос его напоминал гудение жести на ветру, но гудение это, так же как и злобное шипение встречного потока, не мешало Евстигнееву. Больше того, если бы гудение вдруг оборвалось, Евстигнеев вскинулся бы: что произошло? Он сразу бы понял, что механик заметил что-то тревожное.

Евстигнеев знал, что можно запомнить и землю, и синеву, и себя, сидящего в пилотской кабине, но ничего из этого не выйдет. Все это живо только в полете, когда каждая стрелка, подрагивая, отсчитывает что-то свое: та — обороты, та — температуру... Двигатели рокочут в пустое пространство, будто заговаривают кого-то... Вспыхнула красная лампочка, вскрикнула сирена, тут же отключились, словно испугавшись крика, рулевые машинки автопилота. «Велика скорость! Велика!» — надрывалась сирена. Второй пилот ловко подхватил штурвал, уменьшил обороты двигателей... «Что знают об этом на земле? — думал Евстигнеев. — Далеко земля, а в самолете, как в малом государстве — свои законы. Вот и получается, что после посадки, когда ступаешь по плитам бетона, все кажется другим. И смотришь так, будто впервые увидел. Да и сам, верно, становишься другим и думаешь по-

другому. Поэтому и невозможно ничего взять из полета и сохранить».

Евстигнеев отлетал тридцать семь лет, он думал об этом и раньше, но теперь испытывал какую-то большую жалость, быть может даже обиду: столько отлетал, а ничего не осталось. «Ничего, совсем ничего, — согласился он, — только и скажешь — летал столько-то... Как летал?.. Да всяко было. А то подступит такое время, что позабудешь все, скажешь — приснилось. Потому и не уходишь... Но и не летать же, пока из самолета на носилках не вынесут? Нет... Говорят, летать, мол, любит — конечно, любит, но, быть может, эта любовь как раз и требуется, чтобы уйти вовремя? Хоть, правда, ушедшие на землю долго не задерживаются... Но что гадать, да и не в этом дело...»

Евстигнеев нажал кнопку внутренней связи:

— Как скорость, навигатор?

— Под тысячу, — откликнулся штурман. — Задувает ветрило что надо.

— Всегда бы так, — сказал Евстигнеев, почувствовав, как привычные слова оторвали его от грустных мыслей.

«Ай, да что там загадывать, — подумал он, взглянув на часы. — Еще двадцать восемь минут лету». И обрадовался этому отрезку времени, как не радовался давно. Неторопливо, как бы смакуя каждое свое движение, он захватил штурвал руками. Отключив автопилот, закренил самолет влево, подержал секунды и переложил элероны вправо. После — выровнял, поставил на курс, отдал автопилоту, горько усмехнулся. «Ну, теперь все кончено, — мысленно произнес он. — Все!»

Второй пилот все это время внимательно смотрел на командира, но тот даже головы не повернул и, когда рулевые машинки захватили управление, опять засмотрелся на землю, будто все же хотел что-то запомнить.

— Проходим рубеж возврата, — доложил штурман. — Прибытие по расчету, остаток топлива...

— Шесть восемьсот, система работает исправно, — тут же прогудел механик.

«Вот именно, рубеж возврата, — подумал Евстигнеев. — Каждый и должен определить для себя этот рубеж».

— А после рубежа не возвращаются... — сказал он штурману.

— Что да, то да! А кто вернется, я ему не позавидую...

Голос штурмана весело прошуршал в динамиках. Он, конечно же, не понял, что командир имел в виду, но откликнулся сразу. Командир сказал прописную истину, которую и говорят, когда сказать вроде нечего, но само молчание утомительно. Слова

эти ничего не значат, но тишина разбита и работается легче. Это штурман понимал.

«Не позавидуешь, это точно», — подумал Евстигнеев. Он вспомнил, как утром проснулся от звонкого голоса. «Если упал, не считать!» — крикнул кто-то, и он спросонок никак не мог понять, кто же это кричал. Будильник, стоявший на подоконнике, теренькнул и хотел было заголосить, но от легкого нажатия образумился и промолчал. Евстигнеев привычно и тихо засобирался. Он слышал, как жена позвякивала на кухне чашками, и отчего-то стал думать о предстоящем полете. Так, вроде бы мысль об этом хоронилась всю ночь где-то рядом и ждала пробуждения. Евстигнеев удивился, потому что давно приучил себя не думать о полете раньше, чем рука не захватит сектор газа и не двинет его вперед. Да и полет намечался вполне обычный. Таких он отработал сотни: пассажиры, груз, почта... И собираясь, вдруг вспомнил, что и во сне летал. Но в обрывках сна не было, правда, реактивного самолета; летал он на латаном-перелатаном планере, ободранном снизу, с крылом, прикрепленным проволокой. Вокруг планера стояла вся ватага, тут же была старая кобыла Верка. Умными усталыми глазами она смотрела на планер, будто не верила, что тот взлетит, или не понимала, зачем так много хлопот, когда вокруг — сплошное зеленое поле. Доброе солнце светило, и Верка косила глазом и мотала угловатой огромной головой с выгоревшим пятном звезды на лбу. И крупно задрожала, когда ее повели натягивать амортизатор. Она давно освоилась и отскакивала вовремя, чтобы резина не хлестала по ногам, но изредка ей все же попадало. Сидя в кабине планера, он нетерпеливо следил за приготовлениями, после — взлетел и ...через какой-то миг уже лежал на земле. Жив ли? .. Приподнял голову, увидел испуганные лица, похлопал землю рукою, как бы пробуя ее жесткость, и неожиданно в зажатом кулаке ощутил что-то мягкое: пучок травы с корнями и землею. «Если упал, не считать!» — закричал он тогда...

И раннее пробуждение, и сборы, и звон посуды на кухне были привычны ему за долгие годы. Евстигнеев улетал и возвращался, бывал в других городах, но не присматривался к ним и покидал без сожаления. Привычно было и то, что жена просыпалась раньше его, готовила снедь какую-то и чай и ждала молча, пока он выпивал две чашки коричневого крепкого настоя, а затем провожала до дверей. Там она — все так же молча — гладила ладонью его правый рукав, целовала в щеку и только после говорила: «Возвращайся поскорее!» Ровно и тихо говорила, но все же настойчиво, так, будто он ей противился или же не хотел вернуться. Евстигнеев нередко посмеивался над ее нежностями,

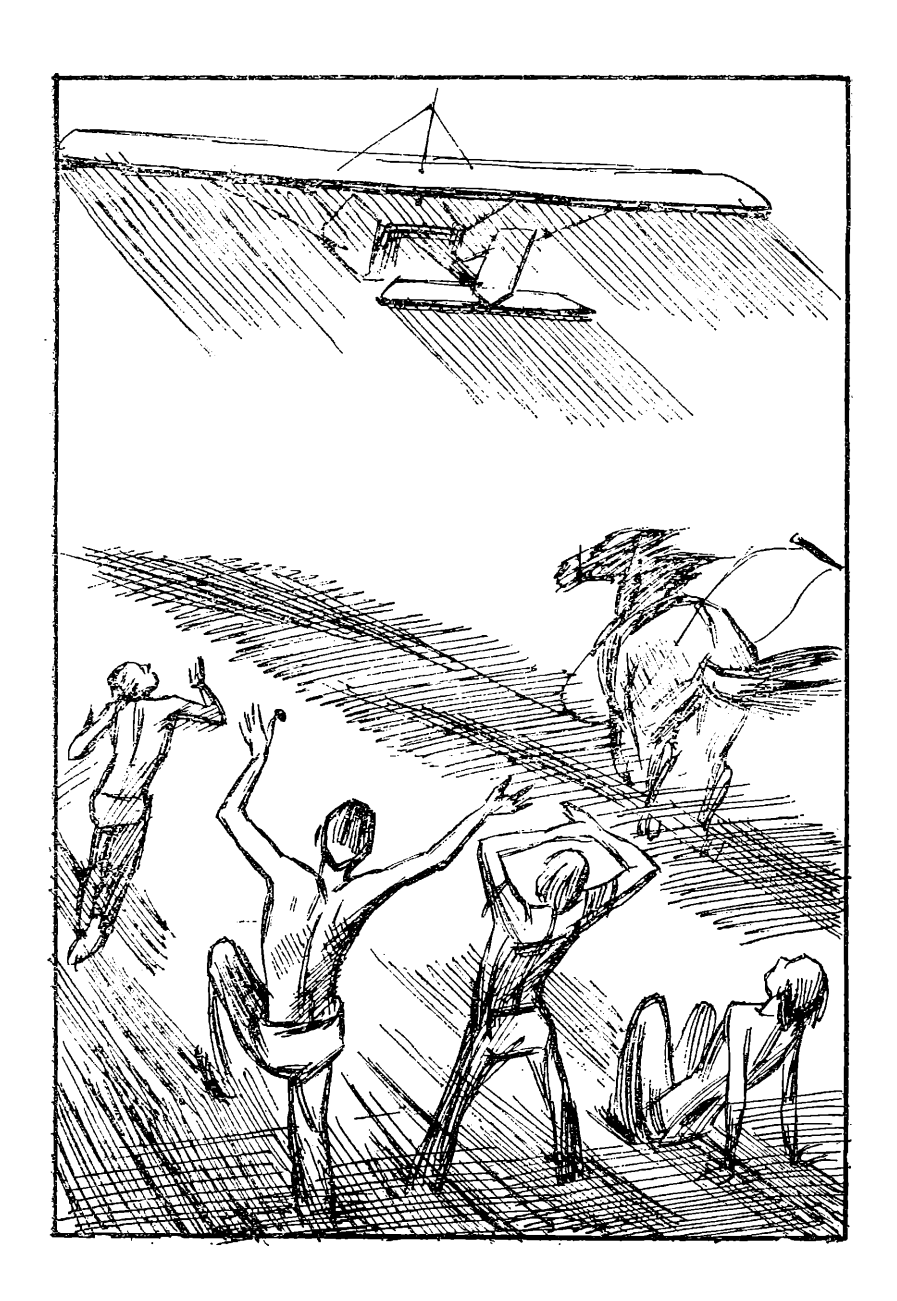
с притворным удивлением оглядывал рукав или же говорил: «Как бы не так!» Жена улыбалась и никогда не обижалась. Он понимал, что раньше ее заботой были дети. А теперь, когда сыновья женились, завели свои семьи и редко забегали в гости, она оставалась одна. Он понимал это, но молчал, потому что помочь ничем не мог. Сыновья летали на поршневых самолетах, и это ему казалось самым важным... И нынче жена проводила до двери, и он ушел на вылет.

— Разворот влево, курс сто девяносто, — подал голос штурман. — До снижения — минута.

Евстигнеев видел, как второй пилот развернул самолет на требуемый курс, и подумал о том, что авиация за три десятка лет стала совсем другой. Нет больше тощих, собранных из железок и холста аэропланов. Отжили они свое, состарились и сгнили где-то по углам аэродромов, среди пустых бочек и мусора, превратившись и сами в мусор, а после и совсем — в ничто. И хорошо, если на том месте выросла крапива... Но пришли другие машины, без холста и расчалок, прочные и стремительные, но какие-то бездушные в своем совершенстве. Те, старые, рождались в годы, когда Евстигнеев колесил по дорогам беспризорником. Быть может, его и выловили — летать, но не сразу догадались об этом, пристроили к заводу. «Учись ремеслу!» — сказали. Одели и накормили, а он сбежал. И его снова ловили, долго толковали с ним о жизни, а он молчал, насупившись, и знал, что сбежит все равно. Но, попав в летную школу, он забыл и бега, и свободу. С восхищением глядел он на своего первого инструктора, молчаливого, грузного человека, одетого всегда в броню кожанки. Это он растолковал, почему же самолет держится в небе. «Когда это было? — подумал Евстигнеев. — Давно. А кажется, вчера, будто вся жизнь уместилась в один день...»

Самолет летел над Ладогой. Скорость на снижении все чаще достигала предела, самолет будто стремился к земле. И второй пилот, прибирая обороты двигателей, удерживал его нетерпение. Плавно работая рулями, он смотрел на воду, и на приборы, и на дома города по курсу... Оставались считанные минуты полета.

Евстигнеев, как и прежде, сидел неподвижно и задумчиво. Он тоже видел очертания города, нечеткие, размытые дымкой, но в мыслях блуждал по раздольному, давно не паханному полю, по рослым и густым травам. Он видел памятью, слышал голоса. Кричали его приятели, кричал он сам. Всей ватагой проскочили они деревню. У крайней хаты сидел старик, заросший, всеми забытый, зимой и летом одетый в тулуп и валенки; сидел и глядел весь день, будто не мог налюбоваться простотою выгона или же



сопротивлялся смерти. Он был немым и, завидя их, топотавших в пыли, постукивал клюкою по земле, тыкал ею в поле, не то спрашивал, не то показывал: «Туда?!» И они проносились мимо него. «К ветряку! — кричали они, переживая восторг. — К ветряку!» Ветряка тогда давно уже не было, никто из них его не видел, но в траве, врезавшись в землю, серели щербатые жернова. Дерево, какое и осталось, спалили пастухи ночами, греясь и забавляя себя разными историями. Но название осталось, и ребята всегда кричали: «К ветряку!»

Им рассказывали, что, когда еще жил ветряк и отмахивался от ветра крылами, можно было подняться высоко, так высоко, что кружилась голова и на горизонте в жарком мареве проглядывал Торжок. Они верили. И сюда, к жерновам, привезли, ухватив за крылья, как за руки, планер. Вели всей ватагой, впереди шел Свистун, гордый собою и неприступный. Это он, пока другие разглядывали рваную местами холстину, думал о полетах... Планер попал в деревню случайно: спустился с небес среди бела дня. Пилот, прилетевший на нем, махнул рукою и, выпросив подводу, уехал. Думали, вернется, но время шло и никто не появлялся. Вот тогда Свистун и объявил, что будет летать.

И они летали, все больше смелели. Верка натягивала тугую резину... отскакивала, когда планер взмывал. «А-а-а! Летит!» — кричали они. Планер парил сотню метров и опускался на землю. Всего лишь сотню, но что это были за метры!..

В тот раз Свистун взлетел высоко — то ли Верка постаралась, то ли ветер подхватил. Высоко взмыл планер. Все закричали, и тут же крыло, словно от крика, отделилось от планера и плавно завиражило, а Свистун упал, глухо стукнув по земле, чуть что им не под ноги. Они кинулись, обступили его, свернувшегося калачиком в траве. Рот его был открыт, как воробьиный клюв, по щеке тянулась нитка крови, лицо побелело. Было страшно. Это Евстигнеев помнил, страшно и интересно как-то, потому что в тот миг, когда разбился Свистун, все они словно бы заглянули в какую-то тайну... Что им открылось тогда?.. Одна рука, неловко подвернувшись, была неподвижной, а другая судорожно шарила по траве, вроде бы гладила ее. Они стояли, не зная, что делать. А после подняли тело и понесли во двор. Немой старик, завидев их, зло затопал валенками и, вскинув клюку в небо, протяжно замычал. Даже теперь, вспоминая, Евстигнеев услышал его утробный, звериный какой-то голос. Верка, забытая всеми, косила глазом, взбрыкивала ногами и, тревожно прислушиваясь, еще не верила в избавление. Смотрела вслед, а затем,

заржав во всю глотку, понеслась за ними. Во двор к Свистуну она входила осторожно и тихо...

— Что, командир? — спросил второй пилот. — Кто будет заходить?

— Ты и будешь, — ответил Евстигнеев.

— И посадка? — уточнял второй. — И тормоза?..

— Да! И посадка! И тормоза! — успокоил его Евстигнеев, повысив голос, и тут же улыбнулся — ему было знакомо это чувство: второй хотел летать сам.

— Понял! — четко ответил второй, взглянув на командира.

Евстигнеев больше не притронулся к управлению, по привычке он следил за скоростью и полосой и думал о том, что из тысячи полетов в его памяти останутся по крайней мере два: первый и последний.

Марина Взорова

НА ХОЛМЕ ПОД СОЛНЦЕМ

Тропинка поднималась неуклонно вверх, петляя по крутому склону холма, между стволами сосен. Время подходило к полудню, и в лесу было нестерпимо жарко. Спокойное северное лето будто с цепи сорвалось, и солнце шпарило, как на юге, только краски оставались чистыми и прозрачными. Ольга остановилась на мгновение, пережидая, пока исчезнут красные круги, плывшие перед глазами. Стоять было неудобно: тропинка, усыпанная сухими иглами, скользила и уходила из-под ног. Она снова начала взбираться наверх, туда, где в просвете между соснами синело небо, словно в насмешку остававшееся глубоким и ясным, как в прохладный весенний день. Всю дорогу от почты она шла под солнцем и теперь чувствовала, что голова стала горячей и тяжелой. Можно было, конечно, идти по проселочной дороге, на ней было больше тени, она плавно кружила вокруг холма и как-то незаметно заканчивалась на вершине, но это отняло бы много времени. Тропинка брала холм в лоб и была любима за это окрестными жителями, а также ребятишками со всего поселка, которые съезжались сюда на велосипедах, чтобы почувствовать вкус скорости и попробовать крепость своих велосипедов и костей. Вот и сейчас один из них летел ей навстречу, вцепившись в руль и едва не задевая за деревья. Она посторонилась, и он с грохотом и звоном пролетел мимо и скрылся внизу. Завершающего шумового аккорда не последовало, значит на этот раз он не налетел на дерево, не сделал стойку на переднем колесе в близлежащей канаве и благополучно достиг подножья холма.

Добравшись до вершины, она ненадолго вступила в тень невысокой сосны с раскидистой кроной и замедлила шаг, ловя лицом легкий ветер. Голова слегка кружилась от жары. Отсюда

уже был виден их дом. Он стоял в полукруге корабельных сосен, на самом солнцепеке, и к полудню из него исчезало все живое, даже щенок, любивший растянуться во всю ширину дедовой кровати. Дед совсем избаловал его.

Она подошла к дому, открыла дверь и подперла ее рукояткой метлы, чтобы внутри хоть чуть-чуть продувал ветерок. Дед лежал за домом, в тени сосны, на старой продавленной раскладушке. Огибая угол дома и еще не видя его, она услышала тяжелое дыхание. Оно было более прерывистым и сиплым, чем полчаса назад, когда она уходила. Трудно было поверить, что это дышит дед. Так дышал обычно щенок, когда, набегавшись, лежал на солнце, вывалив язык из пасти. Но сейчас щенок тихо спал в траве, на склоне холма, она видела его по дороге. Он даже не поднял головы на ее шаги. Здесь мог быть только дед.

Сегодня утром, после завтрака, ему стало плохо с сердцем. Он не хотел вызывать «скорую помощь» и все говорил, что это сейчас пройдет. Но оно не проходило. Она помогла ему лечь на раскладушку, он лежал, и его левая рука прикрывала сердце, будто боялась, что оно убежит.

Дед лежал, а она судорожно перерывала все коробки и флакончики в доме в поисках лекарства. Но ничего нужного не оказалось. Они не привыкли брать с собой лекарства, уезжая, разве что самые элементарные. Дед всегда был здоров и силен, и мысль, что он может вдруг заболеть, никому не приходила в голову. Весной ему стукнуло шестьдесят, но в его внешности не было ничего, что напоминало бы о старости. Он умудрился сохранить молодую осанку и живость походки, следил за своим режимом и по утрам делал зарядку, а когда его спрашивали, как ему удается так хорошо выглядеть, он неизменно отвечал, что еще во время войны усвоил, что главное — быть всегда в форме.

Свой юбилей он отпраздновал очень торжественно и заверил всех гостей, что собирается прожить еще столько же лет. В ответ раздался смех и бурные овации, все восприняли это как шутку, зная, что дед — большой мастер пошутить. Но Ольга хорошо изучила его, он улыбался слишком лукаво, чтобы можно было поверить, что это шутка, рассчитанная только на окружающих, которую несамовлюбленные люди отпускают мимоходом и тут же о ней забывают. Дед любил подшутить и над самим собой, и, как все, кому это дано, получал при этом большое удовольствие и заряд энергии на много дней вперед.

Теперь он лежал и едва мог пошевелить рукой. Не найдя ничего сердечного, она всунула ему в рот две таблетки валерьянки и решительным тоном, заранее отметающим все возражения, сказала, что пойдет вызывать «скорую помощь». Он не стал возра-

жать, и это испугало ее еще больше, чем его лицо, сделавшееся за эти несколько минут землистым и старым.

Поселок был небольшой, затерянный посреди соснового леса, и «скорую помощь» нужно было вызывать по телефону из районного центра.

Она бежала вниз с холма, по тропинке, потом по песчаной дороге, мимо редких домов, безмолвных в этот жаркий час, бежала, не останавливаясь, вбивая ступнями пыль в песок, чувствуя в себе силы, чтобы бежать еще далеко, долго, сколько угодно, лишь бы суметь что-то сделать. Движение придавало уверенность в собственных силах, зарождало надежду, что все будет хорошо.

Дорога оказалась слишком короткой.

На почте телефонистка с недоумением взглянула на ее возбужденное, запыхавшееся лицо, но, узнав, в чем дело, быстро соединила с районной больницей. Прижимая к уху теплую телефонную трубку, Ольга длинной скороговоркой объясняла диспетчеру положение, пока ее не прервали возгласом: «Хватит, хватит, и так ясно», потом медленно опустила трубку на рычаг, ощутив вдруг, что расстается с единственным предметом, дающим возможность позвать на помощь, и вышла под испуганным взглядом телефонистки на солнце. Больше она не могла ничего, оставалось только ждать, она завела машину, и теперь все дальнейшее будет развиваться независимо от нее. От этого ей стало страшно.

Поселок по-прежнему дремал под солнцем. Дорога, обычно оживленная, была пуста. Последние дни жители и дачники проводили на пляже, стремясь воспользоваться жаркой погодой и досыта напиться солнца, которое больше может и не разгуляться, хотя лето еще впереди. На севере от солнца не привыкли отказываться, слишком часто оно отказывает само.

В этом году они сняли здесь две комнаты в маленьком доме, чтобы дед мог отдохнуть во время отпуска. Выбор, по мнению его дочерей — а их было целых три, — не самый удачный: слишком далеко и неудобно добираться от Ленинграда — сначала на электричке, потом автобусом. Но дед настаивал, и им пришлось согласиться. Зато они отыгрывались тем, что не баловали его своим присутствием, отчего дед не очень страдал. Ольга приезжала сюда во время сессии, готовиться к экзаменам, а теперь, когда сессия кончилась, решила пожить у деда несколько дней перед тем, как отправиться в стройотряд. Дед всегда был рад ей, и она сама любила бывать здесь. Их дом стоял на холме, в стороне от других, и глаза не мозолили толпы дачников; у подножья холма голубело огромное зеркало озера, окаймленное

с одной стороны желтой полосой пляжа, а с другой заросшее камышом. Они часто приходили вечерами на этот берег, где никого не было, кроме рыбаков, застывших с удочками, по колено в воде, и сидели под старой березой, глядя на закат солнца, на упругие бутоны лилий, горделиво покачивающиеся на распластанных в прозрачной воде листьях. Дед не любил пляжа.

Ольга обогнула угол дома и медленно подошла к раскладушке, громко шурша травой. Он открыл глаза и повернул голову. Она улыбнулась, видя, что он смотрит на нее, присела в кресло, взяла его руку в свою.

— Ну как, дед, тебе не легче? — спросила она, все еще улыбаясь и чувствуя, как улыбка застывает на губах от холода, током дернувшего пальцы, но руки его не выпустила. Он раздвинул бескровные губы, верхняя часть лица осталась неподвижной. Это тоже была улыбка. От нее сердце вдруг забилось толчками, и она поспешно нагнулась, делая вид, что застегивает ремешок босоножки.

— Ничего, как будто легче.

Она выпрямилась и с трудом посмотрела ему в лицо.

— Вот видишь, а ты боялся. Сейчас врач приедет.

— Так уж и сейчас, — он снова улыбнулся. — Здесь небось на всю округу полторы машины.

Она не нашла, что ответить. Диспетчер по телефону сказала, ей, что все машины сейчас в разъезде и раньше, чем через полтора часа, вряд ли что-нибудь будет.

— Ты подремли пока, я посижу рядом, а когда врач приедет, разбужу тебя.

— Если сможешь.

— Ты сегодня так мрачно шутишь, дед.

— Иначе не получается.

Он закрыл глаза, голова его качнулась и съехала с подушки.

Стало тихо, в ветвях сосны ворона прокаркала три раза и замолчала. Ольга сидела, подперев щеку ладонью, и, глядя на его изменившееся до неузнаваемости лицо, пыталась вспомнить, каким оно было вчера, раньше, когда все еще было так хорошо, светло, безмятежно.

В тот день она проснулась, когда солнце поднялось уже высоко, и лежала с закрытыми глазами, слушая тишину, полную пения птиц. Из кухни доносился запах кофе, значит дед уже встал и готовит завтрак. Он всегда вставал рано, старался не шуметь, чтобы не разбудить ее.

Она лежала, не шевелясь, слегка покачиваясь на зыбких волнах полусна.

Снаружи слышались шаги деда, его тихий смех и повизгиванье щенка. Наверное, щенок ловил бабочек. Он любил бегать за ними по утреннему солнышку, кидаясь из стороны в сторону и взлетая в воздух всеми четырьмя лапами, когда какая-нибудь лимонница благоволила спуститься пониже, и неизменно низвергался с небес на землю, шлепаясь на спину, а бабочка спокойно улетала, мельтеша лимонными крылышками; он смотрел на нее, лежа на спине и перебирая лапами, потом перекатывался на живот, вскакивал и мчался за ней снова. Но шуметь в такой час ему запрещалось. И когда он внезапно залаял тонким срывающимся басом, она поняла, что появился кто-то чужой. По выходным дням иногда мимо проходили туристы, направляющиеся к озеру, но сегодня была среда и туристов быть не могло. Сипловатый радостный баритон раздался у самого окна. Ему ответил приглушенный, еще более радостный голос деда, и они отошли в сторону. Ранний гость, наверное издалека.

Она быстро оделась и вышла на порог. Утро было спокойное и свежее. Солнце заливало чистым светом холм, не оставляя ни одного затемненного уголка. Сосны трепетали иглами на синем ветру, и лес казался живым. Дед с незнакомцем стояли обнявшись и оглядывали сосны так, будто это были редкостные растения, никогда раньше им не встречавшиеся.

Втроем они пили кофе в еще прохладной тени раскидистой сосны, стоявшей возле дома. Дед был взволнован. Он не видел этого человека много лет, а когда-то, в сорок четвертом году, они вместе воевали здесь, выбивая финнов с Карельского перешейка. Поэтому дед и решил провести свой отпуск в этом отдаленном поселке, вдали от мест, где любил отдыхать раньше. Он рассказывал ей как-то про то, какие бои шли здесь, и про этого незнакомца, которого звали Григорием, но она представляла его себе совсем иначе. Он оказался слишком старым, домашним и хилым. Дед по сравнению с ним выглядел Ильей Муромцем.

Они сидели рядом, и она чувствовала, что не может побороть в себе неприязнь к этому человеку, появившуюся сразу, как только она увидела его стоящим рядом с дедом, услышала его надтреснутый голос, диссонансом врезавшийся в птичье пение. Может быть, потому, что он был не такой сильный, не такой простой, не такой красивый, как дед. Он был чужим и полным какой-то непонятной значительности.

А дед обрадовался ему. У него всегда было хорошее настроение, но тут он прямо расцвел. Усадил гостя на лучшее утреннее место, там, где тень падала только на лицо, и они говорили бес-

прерывно о войне, о товарищах, об июне сорок четвертого, — они говорили, а она смотрела по сторонам, слушая их вполуха и предвкушая, как чудесно сегодня будет на озере, на горячем песке пляжа, и не сразу заметила, что дед налил себе кофе, вдвое крепче обычного.

— Чтобы увереннее себя чувствовать, — сказал он, виновато-лукаво глядя на нее и быстро-быстро размешивая сахар в чашке, как будто сахар помешал бы ей выплеснуть кофе в траву или выпить самой, если бы она захотела.

— Где это ты собираешься увереннее себя чувствовать?

— В лесу, — ответил дед, не моргнув. — А что?

— Зачем тебе в лес? Сегодня будет страшно жарко, вы там задохнетесь.

— Нам нужно, — дед посмотрел на Григория. — Мы хотим пройти тем же путем, каким шли здесь в сорок четвертом, и найти могилу Валентина. Она должна быть где-то совсем недалеко. Григорий мне поможет, он дольше здесь служил и вообще хорошо ориентируется в лесу.

— Еще бы мне не ориентироваться, — сказал Григорий, — я на Брянщине вырос.

— А вдвоем нам будет все нипочем, — и дед победно взглянул на нее.

Угораздило же его приехать именно сегодня, подумала она, глядя на ствол сосны, по которому бесконечной процессией двигались муравьи, — жариться в лесу и ради чего?

Муравьи ползли двумя колоннами, гуськом, навстречу друг другу; на пути им встречались огромные капли смолы, застывшей за ночь и еще не успевшей расплавиться; они взбирались на них, один за другим, упорно и нудно, и ползли дальше, не обращая внимания на тех, кто двигался им навстречу.

— Ты ведь тоже хотела посмотреть, — сказал дед, — помнишь?

— Да, — она оторвалась от муравьев. — Но сегодня так жарко.

Она еще не кончила фразу, в лице деда что-то обмякло, и секунду он смотрел на нее, будто только что проснулся. Потом потер ладонью лоб и сказал медленно:

— Так ты не пойдешь с нами?

— Я лучше схожу в другой раз.

Он помолчал.

— Ну ладно. — Посмотрел на Григория, улыбнулся и хлопнул ладонью по колену. — Значит, мы пойдем сами. Мы с тобой уже не маленькие, верно, Григорий?

Григорий значительно и строго кивнул головой и посмотрел на нее неодобрительно.

— А в дорогу возьмем холодной воды, чтобы было не так жарко.

Она недолго будет холодной, подумала Ольга.

— И бутербродов. Сядем где-нибудь под сосной, перекусим, как в старые добрые времена.

Почему же добрые?

— А потом пойдем дальше, не спеша, по тени, чтобы не уставать.

Руки у него слегка дрожали.

Ольга с Григорием молчали, они не слушали деда, хотя не могли не слышать. Слова его не имели никакого значения, они просто производили звук в пространстве, не доходя даже до него самого. Их нужно было переждать, как пережидают в лесу внезапный дождь, стоя под деревом и смотря, как капли барабанят по листьям.

И дед, запнувшись об их молчание, не знал, что говорить. Он уже собирался налить себе еще одну чашку кофе, рискуя встретить ее уничтожающий взгляд, только чтобы что-нибудь сделать. Но тут из-за угла дома выкатился щенок и затрусил к ним, неуклюже переваливаясь на толстых лапах.

— Вот еще один наш житель, — обрадовался дед и, нагнувшись, поймал его и стал чесать за ухом. Щенок тоже обрадовался, перевернулся на спину, растопырил лапы и подставил деду свой пушистый белый живот.

Никогда она не видела, чтобы дед так нарочито радовался.

— Может быть, возьмем его с собой? — усмехнулся Григорий.

— Он еще маленький, — сказал дед, подсунув ладони щенку под спину и поднимая его к себе на колени,— не дойдет. И шерсть у него длинная, густая, ему только в тени лежать и дремать. Да и зачем.

— Ему действительно незачем, — согласился Григорий, — а вот вам, — он повернулся к Ольге, — не мешало бы сходить послушать. Это было бы очень полезно. Вы, молодежь, ничего не знаете и знать не хотите, вам лишь бы загорать.

Дед поморщился и взглянул на него укоризненно, но было уже поздно.

— Я и так целый год лекции слушала, — сказала она, глядя ему прямо в лицо и четко выговаривая каждое слово, — они мне надоели до смерти. Имею я право хоть раз в год никому и ничему

не внимать? Тем более что вам слушатели вовсе ни к чему, вы сами себя слушаете.

Григорий слегка опешил, он, видно, не привык к дерзостям, а по лицу деда вновь пробежала тень. Но дед был терпелив.

— Ну-ну, не взрывайся, — сказал он добродушно. — Никто тебя не заставляет. Мы понимаем, что тебе это малоинтересно. Это не ваша жизнь, и сделать ее вашей мы не можем. — Он обвел пальцем узор на чашке и поставил ее на стол. — Конечно, иди на пляж, купайся, сегодня погода отличная, нужно ее использовать, неизвестно, какое лето будет. Мы с Гришей одни пойдем, нам загар ни к чему.

— Куда вы пойдете по такой жаре, посидели бы лучше где-нибудь в тени, здесь ведь тоже можно разговаривать.

Дед покачал головой.

— Понимаешь, нам нужно увидеть эти места, постоять у дзотов, потрогать руками траву, выросшую на них, послушать, как поют птицы, они ведь и тогда тоже пели. Наконец, мы хотим найти могилу Валентина.

Она посмотрела на Григория, который, допив свой жиденький кофе, сидел на кончике стула, делая вид, что не участвует больше в разговоре, и явно мечтая поскорее уйти.

— Все-таки не самое удобное время вы выбрали для воспоминаний. Встретились бы в какой-нибудь прохладный день и ходили себе на здоровье, сколько угодно.

— Война тоже началась не в самое удобное время, — сказал дед резко, — и ее никто не выбирал, она пришла помимо нашей воли. — Он встал из-за стола, держа щенка на руках. — Но, в общем, разговор не об этом. Так или иначе, мы уходим, а ты остаешься.

Он испугался своей резкости и, смущенно улыбнувшись, плюхнул щенка ей на колени.

— Оставайтесь вдвоем.

Потом оглядел стол.

— Ты уберешь посуду?

Она кивнула.

— Я думаю, мы к обеду вернемся. Можешь приготовить нам что-нибудь вкусное, ты ведь умеешь. А потом все вместе пойдем на озеро. Ладно?

«Ты всегда был неисправимым оптимистом, дед», — сказала она про себя, молча посмотрев на него.

Он налил в старую солдатскую флягу холодной воды, еще раз потрепал щенка, Григорий взял свой чемоданчик, и они пошли по гребню холма к лесу.

Еще и с чемоданом идет, совсем рехнулся, подумала она, и ей показалось, что это думает не она, а кто-то другой, за нее.

— Не забудь взять шляпу от солнца! — крикнул дед, оглянувшись.

— Не беспокойся.

Она стояла со щенком на руках и смотрела им вслед, пока две фигуры, высокая и плотная деда и маленькая Григория, не растворились среди светлых стволов сосен.

Дед беспокойно задвигал головой по подушке, пытаясь устроиться поудобнее, и снова затих.

Он ищет удобства. Может быть, ему уже не так плохо?

Она отогнала муху, севшую ему на лоб, и внимательно всмотрелась в лицо.

Послушай, дед, а ты не притворяешься случайно? — подумала она нерешительно. Ты же никогда ничем не болел, даже гриппом. Может, ты лежишь и улыбаешься про себя и думаешь: «Здорово я ее напугал», и вскочишь неожиданно и бесшумно, когда я отвернусь, и засмеешься, и все будет как прежде.

Она дотронулась до его руки. Все такая же холодная. Противный дед. Дернуло тебя предаваться воспоминаниям именно вчера, в такую жару. Виноват, конечно, этот чертов Григорий. Жаль, что под ним не сломался автобус, когда он ехал сюда. Решил, что если наступило двадцать второе июня, значит можно сваливаться на голову фронтовому товарищу без всякого предупреждения и таскать его по лесу в самую жару, разыскивая старые дзоты и забыв, что им уже не по двадцать лет.

Муха опять прилетела и села деду на лоб.

Сманил деда, а сам уехал. Идиот. А теперь тоже небось лежит где-нибудь в поезде при последнем издыхании.

Муха все сидела.

Она привстала и в сердцах махнула рукой вдоль его лица. Движение воздуха тронуло кожу. Он открыл глаза и сделал попытку улыбнуться, но не докончил ее и тяжело опустил веки, морщины возле губ медленно разгладились. Смотреть на него было больно, и она отвернулась, не зная, на чем остановить взгляд; поискала глазами щенка. Вот с кем было просто. Люби его, и больше от тебя ничего не требуется. Тебе не нужно ни за что платить, за все заплатит он, заплатит преданностью, любовью, беспокойством за тебя, и только за тебя.

Откуда-то прилетели еще две мухи и с мерзким жужжанием стали кружиться над дедом.

И что им здесь нужно? Можно подумать, что он медом намазан.

Она тихо встала, обломила сосновую ветку и начала тихо помахивать у него над головой, разгоняя жаркий воздух. Она махала до тех пор, пока не устала рука, пока не стало казаться, что она машет так уже давно, с раннего утра или с самого рождения, и без всякого толка, и что пора остановиться.

Она откинулась на спинку стула, ветка упала на землю. Воздух снова стал неподвижным и липким. Дед зашевелился и открыл глаза. Она наклонилась к нему. Он взглянул на нее из-под полуспущенных век и чуть улыбнулся.

— Нет, ничего. Просто я хотел посмотреть, здесь ли ты.

— Я здесь.

— Хорошо. — Он закрыл глаза и снова отошел куда-то далеко.

Глаза у него стали странные, они будто опустели, прежнее, живое, чуть насмешливое выражение осело на дно, а его место не заполнилось ничем; в них не было ни страха, ни отчаяния, никакого знакомого чувства, которое можно было бы понять, только ресницы вздрагивали от боли. Они смотрели на нее и одновременно куда-то за нее, как будто видели больше, чем могла видеть она.

Он закрыл глаза, и на подушке осталась только маска, сквозь которую волнами проступала бледность и медленно разливалась по коже, поглощая загар.

Он ушел один, наглухо захлопнув веки, и она не могла последовать за ним, — то, что осталось от его силы, зорко сторожило вход.

А ведь еще вчера он был весь нараспашку, предлагал ей свой мир, звал за собой.

Тот день был так похож на сегодняшний, — день, когда она приехала сюда впервые три недели назад. Было тепло, и после обеда они сидели в складных креслах под этой сосной, и дед внезапно сказал:

— Знаешь, я ведь воевал здесь в сорок четвертом.

— Ты никогда не говорил раньше.

— Ты же сюда не приезжала.

Она оглянулась. Невероятно. Здесь, среди этих высоких, крепких сосен. Тогда они, наверное, были совсем маленькими. А какими бывают молодые корабельные сосны? Она не знала, не видела. Она родилась в пятьдесят девятом, и сорок четвертый был от нее так же далек, как восемьсот двенадцатый.

Все это было до нее. Она не жила, не ощущала, просто не существовала тогда. Война виделась ей в граните и бронзе памятников, в позолоте орденов и медалей, которых у деда была целая коллекция. Она слышала рассказы о войне, правда не от деда, он не любил рассказывать, — рассказывали на улице, мимоходом; во дворе, где сидели на скамейках старички; в школе, на уроках, раз в год, когда приходили другие старички, в парадных костюмах; они были полны гордости или, наоборот, страшно смущались, и слова, вылетавшие у них изо рта, тут же превращались в бронзу. Вокруг было слишком много бронзы, легко было течь по ее гладкой, скользкой поверхности.

Она видела и фильмы о войне, их было много, они нравились ей, когда она их смотрела, нравились и после, но они были слишком далеки, слишком непохожи на светлую, упругую, уверенную жизнь, которая билась рядом. Между ними не было никакой связи. Война как будто не оставила следов, а если оставила, то только бронзовые. Иногда ей казалось невероятным, что эти самые люди, которые были сейчас рядом с ней, существовали и тогда тоже, жили под другим небом, другим солнцем, наверное и разговаривали иначе. А теперь они были слишком реальны и обыкновенны.

Она повернулась к деду и глупо спросила:

— Так это было прямо здесь, где стоит дом?

Он улыбнулся.

— Наверное, и здесь тоже, но больше на соседних холмах и около озера. Озеро я помню хорошо. В тот день, первый день наступления, мы видели много озер, они тут на каждом шагу, но это я запомнил, потому что на нем было два острова. Здесь погиб Валентин.

— Кто такой Валентин?

— Мой друг. Мы служили вместе с сорок второго года, а в сорок четвертом попали сюда, на Карельский перешеек, прямо к началу наступления. Здесь нас стало трое.

— А кто еще?

— Еще Григорий. Он был старше и опытнее нас и был старожилом этих мест, его часть стояла километрах в пяти отсюда, перед новой линией Маннергейма, не один месяц. А потом мы прорвали ее и за два дня вышли к Вуоксе.

— Я уже видела один дзот, когда шла от автобусной остановки. Это, наверное, остатки этой линии?

— Их тут много. И дзоты, и бетонный вал. Финны окапывались всерьез и надолго. Им нравились эти леса, и они отлично знали их. Григорий рассказывал, что они подстреливали наших из-за деревьев как воробьев. Но когда началось наступление,

падали целыми взводами. Только Валентин погиб в одиночку, и я до сих пор не могу отыскать дзот, возле которого мы его похоронили.

— А что там было рядом?

— Это было возле песчаной тропинки, на склоне холма, рядом была только одинокая сосна. Когда мы потом поднялись на вершину, то увидели озеро, а со склона мы ничего не видели, мы не смотрели. Этот дзот был на нашем фланге атаки, и я думал, что мы ляжем возле него все трое. В нем засели очень упрямые финны, у них была отличная позиция, у вершины холма, оттуда они держали под обстрелом весь склон. А лес открытый — одни сосны.

— Разве нельзя было обойти их?

Дед покачал головой.

— Вершина холма переходила в плоскогорье, наверху была еще их территория, так что забраться на него можно было только по одному склону. Мы ползли к нему с разных сторон, забираясь все выше, — еще хорошо, что земля была неровная, в буграх и складках, — и каждый пытался отвлечь внимание пулеметчика на себя самыми примитивными способами: то каску поднимали на сучке, то швыряли шишку о дерево. Но он был не так глуп.

А потом мы остановились. До него оставалось совсем немного, а мы лежали, вжавшись в землю, и не могли поднять головы. И тогда я услышал длинную очередь, приподнял голову и увидел, что Валентин вскочил и, стреляя, бежит прямо к дзоту, на ходу пытаясь попасть в амбразуру. У него не было никаких шансов. Через несколько метров он выронил автомат, налетел на сосну и, привалившись к стволу, обхватил его обеими руками, чтобы как можно дольше не упасть, чтобы по нему дольше стреляли. И пока они расстреливали его, мы с Григорием успели перебежать в мертвое пространство.

— А дальше?

— Дальше ничего. Мы оттащили его в воронку от мины, возле молодой сосны, забросали песком и ушли вперед.

Он помолчал, потом встряхнул головой и сказал:

— Пройти бы этим путем. В тот день мы сделали километров двадцать с боями. Правда, теперь я уже не тот.

— И драться не с кем.

Он улыбнулся.

— Да, драться не с кем. Просто вспомнить.

— Эти воспоминания могут потом ударить по тебе.

— Пускай. Они мои, и я не боюсь их. Я боюсь отсутствия памяти.

— Ты возьмешь меня с собой?

— Конечно, если хочешь. Только боюсь, что это бесполезно. Здесь все изменилось. Деревья выросли, а холмы, наоборот, как-то сгладились. Их совсем не узнать. Я и озеро не узнал бы, если бы на нем не было островов. Раньше берега были совсем заросшие, а теперь даже пляж есть. Правда, я туда не ходил, там наверняка все вытоптано. Вот Григорий, может быть, и нашел бы.

— Так ты пригласи его приехать. Где он сейчас?

— Не знаю. Раньше он жил в Белоруссии, и мы переписывались. Я приглашал его к себе еще лет десять назад, но ему все было некогда, а потом он перестал писать. Теперь уж навряд ли приедет, совсем старый стал. Да и я тоже не юный, как видишь. — И дед внезапно разразился громким смехом. Смеяться он умел. Смеяться так, будто на свете ничего не существовало, кроме смеха, будто он только что рассказал что-то очень веселое.

И она тоже засмеялась вслед за ним, хотя ей совсем не было смешно.

— Не кокетничай, дед, — сказала она, когда они кончили смеяться, — сам знаешь, что тебе шестьдесят никто не дает.

— Да я и сам себе не даю, — ответил он и засмеялся снова.

Дед был неисправим. Он смеялся над своим возрастом, о котором другие привыкли говорить с таинственной и значительной серьезностью, так же как о деньгах. Он сам не верил, что ему уже столько лет, вернее он не верил, что он старый. Он говорил, что у него до сих пор нет ощущения, что он старый, что он чувствует себя на тридцать, а ему почему-то уже шестьдесят. Это какая-то ошибка, ошибка жестокая и непростительная, которую нельзя исправить. И это действительно была ошибка. Годы не старили деда; он менялся, переходил в новое качество, но она не могла назвать это старостью, а другого слова еще не придумали. Не старило его ни ранение, полученное в последние дни войны, ни работа, — а он работал так, чтобы суметь помочь всем трем дочерям, — ни заботы о внуках, которые жили в разных местах, и он умудрялся в течение недели побывать у всех троих и везде что-то сделать. Из внуков она была самая старшая и самая любимая. Она знала это по тому, как светлели его глаза, когда он смотрел на нее, по его голосу, по улыбке. Когда она родилась, деду было только сорок два года. Он был молодым дедом и хотел стать молодым прадедом.

Без него просто не умели обходиться, он был частью окружающей жизни, которую нельзя изъять. Он казался железным и вечным, самим своим существованием опровергая нелепое

утверждение о том, что вечных двигателей не существует. Он выдерживал так много, и все считали, что так и должно быть, а как же иначе; так же как считали, что он создан для того, чтобы другие могли на него опереться спокойно, уверенно, без боязни упасть; и он умел сделать так, чтобы они не чувствовали, что опираются на него. Он был прекрасной подпоркой, прочной и невидимой, но существование без нее было немыслимо.

С того первого дня дед не говорил больше ни о Григории, ни о Валентине. Иногда он уходил вечерами в лес и возвращался задумчивый и неразговорчивый. Она понимала, что дзота он не нашел.

А сосна та, наверное, выросла и стоит где-нибудь посреди леса, и ветер раскачивает ее высокую недоступную крону. Если ее, конечно, еще не срубили.

Она осторожно встала и медленно пошла к дому, разминая на ходу затекшие ноги.

Снизу, от подножья холма, доносились звенящие голоса детей. Здесь, наверху, в знойном мареве дрожала тишина.

Дойдя до порога, она оглянулась: дед никак не реагировал на ее шаги. Быть может, он не слышал их?

Она постояла у дверей, заглянула зачем-то в комнату, там все было по-прежнему, вещи стояли на своих местах, знакомые и неподвижные, и потихоньку накалялись на солнце; все было как обычно, и это удивило ее, будто вещи должны были измениться за то время, что она не видела их.

Она оглядела комнату, глубоко вдохнула смолистый воздух и, обернувшись, посмотрела на деда. Она видела, как он лежит: одна рука на груди, другая вытянута вдоль тела, обе они выглядели как чужие, пристегнутые от манекена. Бледное лицо сливалось с седеющими висками, глаза были закрыты, но даже издали нельзя было подумать, что он просто спит. Такая пугающая, надломленная, напряженная неподвижность распласталась в нем, как будто его переехало колесо, и он уже понял, но еще не почувствовал этого, и все тело его дико замерло, предчувствуя рвущуюся к нему волну боли и разрушения.

Становилось жарко. Сосны ощетинились, вонзили в небо изогнутые ветви, и ленивое белое солнце стекало по ним тягучими каплями, от запаха которых распирало легкие; и казалось, весь мир сосредоточен сейчас здесь, в этой круглой и жаркой тени

сосны; ничто другое не существовало. Где-то вчера осталась свежая голубая вода, брызги солнца на коже и ощущение легкости, спокойствия и вечности жизни.

Она перевела взгляд. Стол, отодвинутый сегодня под другую сосну, напомнил об обеде. Мысль о еде не вызвала у нее никаких ощущений, но деда нужно было чем-то покормить. Она вспомнила, что вчера сварила бульон, и чашка горячего крепкого бульона будет, наверное, как раз тем, что надо.

Она вошла в дом и через несколько минут вернулась, держа на ладони, покрытой салфеткой, пиалу. Дед лежал все в той же позе. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, пока она, не спуская с него глаз, шла к раскладушке. Она поставила пиалу на землю и осторожно дотронулась пальцами до его щеки. Он медленно приподнял веки и посмотрел на нее тем же отрешенным взглядом, что полчаса назад, как будто время уже остановилось для него. Она подняла пиалу, он увидел ее, и на лице его не отразилось ничего, он только качнул головой и снова закрыл глаза.

Колени у нее подогнулись, и она села с размаху прямо в кресло, горячий бульон выплеснулся на пальцы. В разреженном солнечном свете она увидела смерть, неслышным шагом скользнувшую за деревьями. У нее не было лица. Но она смотрела на деда.

От ожога заломило пальцы. Она подула на них и оглянулась. Сзади никого не было, спокойно и сонно стояли сосны.

Только в спину ей глядели невидимые глаза. Она повернулась к деду, они снова оказались сзади. Она чувствовала себя на огромном ярко освещенном столе. Она съежилась, боясь посмотреть по сторонам, зная, что никого не увидит, что невидимое уже здесь, оно крадется за ее спиной, озираясь и прячась за деревьями, оно уже близко, вот оно подошло и положило руки ей на плечи, приковывая к креслу; оно не смотрело на нее, оно видело только деда...

Она напряглась и встала, глядя прямо перед собой, — это оказалось неожиданно легко, — и бросилась к дому; она бежала со всех ног, не видя ничего вокруг, боясь увидеть, бежала, лишь бы чувствовать себя живой, способной двигаться, влиять на что-то, хотя бы на собственные ноги. Дом стоял раскаленный под солнцем, и она замерла на пороге жаркой духоты, с ужасом слыша свое громкое дыхание, потом стремительно обернулась — дед смотрел на нее приоткрытыми глазами. Руки ее опустились, и она бессильно привалилась к косяку дверей и смотрела на него, почти не видя лица, чувствуя только, что глаза его открыты и живы и что горячий косяк жжет ей спину. Блаженное облегчение

литой тяжестью разливалось по телу, она готова была стоять так вечно.

Глаза смотрели на нее, нужно было идти к ним. И она оттолкнулась от дверей и пошла, волоча ноги; по пути отодрала с сосны кусок коры, звук при этом был вполне реальный, и кора крошилась под ее вспухшими, потерявшими чувствительность пальцами, как обычно, как вчера, как неделю назад. Она подошла и улыбнулась ему, но обрадоваться не смогла, слишком слабыми были движения его век на большом неподвижном лице.

Внезапно ее охватило безразличие. Она снова села в кресло, дед закрыл глаза, все вокруг было тихо и душно, и никто не скользил за деревьями, и ничто не двигалось, даже время, только облака медленно плыли над головой.

С трудом она сосредоточилась на минуту и заставила себя подумать: ...а может, все еще не так плохо, и мне только кажется, потому что я в первый раз вижу это. Она мысленно повторила несколько раз эту фразу, надеясь, что та найдет отклик, зацепится за что-то в душе, вырастет в надежду. Но слова скользнули и прошли стороной, ничего не задев.

Я уже сама себе не верю. Не хочу верить. Не хочу верить в то, что вижу.

На это ушли последние силы, теперь было уже все равно.

Она сидела в неудобной позе и не меняла ее, не хотелось шевелиться, ничего делать. Мышцы размякли, и она не могла приказать им, как приказывала всегда. Приказывать было нечем. Внутри у нее все испарилось, и осталась одна оболочка, пустая и никому не нужная.

Почувствовал ли он что-нибудь? Или мы уже не можем чувствовать одинаково, и эта скользящая тень разделила нас? А может быть, он увидел ее уже давно, когда мне это еще было не дано?

Мысли исходили не от нее, они плавали где-то в пространстве, рядом с головой, и мысль о смерти была первой среди равных; она перестала быть чужой, неестественной, непостижимой; она входила в свои права и потихоньку прибирала к рукам все остальные.

Думал ли кто-нибудь, что он увидит смерть свою снова здесь, в этом бездонном синем небе, настолько бездонном, что к нему страшно поднять голову; под этими соснами, сквозь кроны которых просвечивает солнце; только не будет уже ни войны, ни автоматных очередей, ни взрывов, будет тишина мирного полудня, будут петь птицы, на которых не действует жара, и смерть будет казаться такой же неотвратимой, как тогда. Более неотвратимой. Тогда он имел шансы одолеть ее: у него было оружие,

и он мог убить ее раньше, чем она взглянет ему в лицо; были товарищи, они бы не допустили, чтобы она прыгнула ему на спину: он был молод, силен и натренирован в борьбе со смертью, и ему повезло, он выиграл жизнь в этой кровавой лотерее. Только удача была отравлена мыслью о тех, кто проиграл. Для него.

Теперь оружия нет, нет молодости, есть только презрение к смерти. А смерть не любит, когда ее презирают в таком возрасте, она чувствует себя уверенно и не церемонится со стариками.

Есть еще лекарства, которых не было тогда, но они не усилят его, они лишь ослабят его смерть, отгонят ее в сторону, где она затаится и будет ждать удобного момента, чтобы приблизиться к нему снова.

Есть товарищи, новые товарищи, они могут помочь в житейских делах, но против нее они бессильны сами, и даже объединение не поможет им, смерть все равно разобьет их поодиночке.

Старые товарищи далеко. Один навсегда остался в июне сорок четвертого. А другой? Товарищ, который приезжает раз в двадцать лет, на один день, чтобы снова уехать и не писать, — уехать, наверное, навсегда; он тоже остался там, в лесу тридцатилетней давности, и теперь лишь пришелец из времени, когда их было трое и они были молоды.

Она не знала жизни, в которой не было бы деда, он был всегда, когда была она. Теперь он умирает.

Она следила, как кожа на его лице с каждой минутой теряет цвет, и знала, что он уходит, уходит, продолжая лежать неподвижно в тени сосны, медленно подвигающейся в сторону, — ноги его уже были освещены солнцем; уходит к тем, кто ушел раньше, к этому безмолвному лесу, отодвинувшемуся от нее, ставшему огромным и враждебным; даже сосны, такие знакомые и совершенно неодушевленные, сделались чужими, какими могут быть только живые. Он уходил, и она не могла удержать его, даже если бы вцепилась в него обеими руками.

Она совершила бы сейчас все, что угодно, лишь бы вернуть его, но это ничего не значило теперь, — то, что она могла, она уже сделала.

Иногда он приподнимал веки, несколько секунд смотрел на нее и, удостоверившись, что она сидит рядом, снова закрывал их.

Может быть, ему кажется, что ухожу я, ухожу и оставляю его в лесу одного, или он боится, что я на самом деле встану и уйду?

Глаза были единственным, что оставалось в нем от жизни; они ничего не говорили, только просили о помощи своей непо-

движностью и болью, а она сидела сложа руки и знала, что ничем не помогает ему, не может помочь, будто их разделило что-то, и он смотрел на нее с другой планеты. А она оставалась на этой, в жизни, где впервые не будет его.

Рука деда, лежавшая на груди, поползла, и скользнула вниз, и упала на ее сцепленные в замок пальцы, и замерла на них на мгновение, — видно, ему было удобно опираться так, — и тяжело опустилась на траву, и застыла в ней, как кусок льда. Глаза больше не открывались, дыхание стало тише.

Ольга сидела, наклонившись к нему, напряженно ловя это новое, неправдоподобно тихое дыхание.

Время шло. Тень от сосны медленно ползла вверх по деду. Она закрывала уже только голову. Дыхание было тихим и ровным, и казалось, что он заснул.

Может быть, он победил и теперь передохнет немного и вернется, придет назад, как пришел вчера?

Как вчера.

Они вернулись вечером, когда солнце, освещавшее склон холма, золотыми ножами легло на землю между застывшими соснами, и казалось, уже никто ниоткуда не может прийти.

Лица их осунулись и потемнели от загара. Они сидели у стола, под сосной, и молча пили холодный чай с лимоном. И лес молчал и медленно темнел. Птицы не пели, и дети исчезли куда-то. И ни звука не было слышно вокруг. Все было мертво, зелено и немо.

Солнце побледнело и погасло. Черные стволы сосен замерли в светлом небе, в вечерней тишине, у которой уже все позади.

Утром снова встало солнце, и лес был живой и теплый, а небо ярко-синее. И на душе стало легко. Когда в северном лесу светит солнце, кажется, что нигде в мире не может произойти ничего плохого.

Дед, как всегда, поднялся раньше ее и приготовил завтрак. Они сидели вдвоем под сосной, она ела, а он выпил только чашку кофе без всего, сказал, что нет аппетита. Заметил, что она обгорела на солнце, и посоветовал натереться одеколоном. Потом замолчал, взял газету, перелистал страницы и положил на колени. Было что-то бесконечно усталое в том, как он сидел в кресле, как смотрел на нее, наливал кофе, как руки его лежали на газете. Так усталый путник, прошедший длинную дорогу, смотрит на того, кто стоит в самом начале пути, и от одной мысли, *что* еще предстоит тому, становится холодно на душе.

Они сидели за тем же столом, что накануне, пили из тех же чашек, и не было с ними никого лишнего, но что-то изменилось. Как будто посреди стола появился стеклянный барьер, аккуратно разделивший его на две половины. Дед скрылся за ним целиком, он ускользнул от нее. Она не могла предугадать, что он сейчас сделает, что скажет и как скажет. По ту сторону стола сидел незнакомый человек со знакомыми чертами лица, знакомыми жестами. Он относился к ней по-прежнему, внешне они даже понимали друг друга, но все это походило на орех, из которого каким-то образом исчезло ядро, исчезло безвозвратно, но оба еще помнили о нем, и это было хуже всего. Если бы все могло исчезать без следа из жизни, из памяти.

Она наливала себе вторую чашку кофе и думала, что вкус его ничуть не изменился со вчерашнего дня, не изменился и вкус хлеба, и крутых яиц, и солнца, и сосновой смолы, но в том, как они сидели теперь с дедом по разные стороны стола, был горький привкус отчуждения.

Она думала, что своим недолгим студенческим опытом уже успела дойти до понимания того, что все в жизни идет, и все проходит, и все повторяется; но оказалось, что есть вещи единственные, которые даются только раз, их нельзя вернуть и нельзя приобрести вновь, можно только потерять.

Они молча пили кофе, дул легкий ветерок, дед сидел спокойно и, допив, повертел в руке чашку и сказал:

— Мы вчера нашли могилу Валентина.

Эти слова не то чтобы удивили ее, они причинили ей боль, как причиняет боль яркий свет, загоревшийся в темноте, — боль, которая не проходит, а оседает, опускается вглубь. Только теперь она поняла, что единственным, что облегчало ей сегодняшнее утро, была мысль о том, что они ничего не нашли.

— Мы наткнулись на нее на обратном пути, когда уже не думали, что найдем. Она оказалась совсем недалеко, на соседнем холме, возле тропинки, что ведет на пляж, у самого верхнего дзота. — Он усмехнулся. — А я никогда не ходил на пляж и не видел ее.

Она видела. Тропинка, по которой она ходила на пляж, вилась по крутому склону холма, между полуразрушенными дзотами. Они заросли ярко-зеленой травой и казались совсем мертвыми, только в одном из них еще сохранился вход, и, проходя мимо, она каждый раз смотрела на сырую черную дыру, но мысль о том, чтобы заглянуть в нее, никогда не приходила ей в голову.

Дед молчал, и она не расспрашивала его.

Завтрак окончился. Она убрала со стола посуду и снесла ее в дом. Он остался сидеть в кресле, газета лежала на коленях.

Когда она, вымыв посуду, вышла из дома, кресло было пустым. На мгновение ее охватил страх, непонятно даже отчего. Она стояла, растерянно оглядываясь, не зная, в какую сторону броситься. Потом обошла дом вокруг. Зайдя за хозяйственную пристройку, она сразу увидела деда. Он стоял на откосе и смотрел вниз с холма, туда, где качались верхушки деревьев. Утреннее солнце светило ему в спину.

Он был так далеко, что ей не хватило бы всей жизни, чтобы дойти до него.

Дед не чувствовал, что она сзади, и она стояла тихо, никак не обнаруживая своего присутствия.

Мне не догнать тебя, я даже не могу еще идти за тобой, но и тебе никогда не догнать Валентина, хотя ты движешься полным ходом. Мы все идем по одной дороге, не замечая друг друга, пока идем рядом, и спохватываемся лишь тогда, когда видим спину ушедшего вперед, уже недосягаемую.

Она подошла к нему, дотронулась до его руки и увела к дому. Он сел опять в кресло, положил газету на колени; он был здесь, большой, сильный, почти прежний, но она не могла отделаться от ощущения, что оставила его там, на откосе.

Он снова развернул газету, и она, приняв это как намек, пошла в дом.

Прибирая комнаты, она время от времени поглядывала в окно. В один из таких моментов он как-то судорожно взмахнул газетой, подзывая ее к себе. Лицо его побелело и скривилось от боли. Она все утро ждала этого, ждала и не верила, и надеялась, что этого не случится, что судьба сжалится над ней и над дедом, и старалась не думать об этом.

Тень от сосны ушла от деда, и теперь он лежал весь на солнце, как большая бледная статуя. Ольга не решалась его подвинуть, только села так, чтобы ее тень закрывала ему голову.

В тишине слышалось нудное гудение комара, оно становилось громче, назойливей, и вдруг, непонятно в какой момент, превратилось в шум мотора. Она вскочила, прислушалась. Крики детей, съезжающих с холма, заглушали звук. Далекий и неверный, он медленно полз по дороге, огибающей холм, поднимаясь все выше. Она посмотрела на деда. Он не шевелился, не открывал глаза, не чувствовал, что помощь близко.

Звук становился все громче, реальней и внезапно перешел в натужный вой. Значит, машина свернула с главной дороги и поползла в гору. К ним.

Вой рос, ширился, заполняя собой все пространство вокруг

до отказа, и так же внезапно исчез, превратившись в обычный звук мотора, совсем близко.

И вот уже белый «RAF» мелькает за стволами сосен, сворачивает с дороги и едет к ней, сверкая на солнце. Она стоит и смотрит, как он приближается, ныряя в рытвины и подскакивая на корнях. Фигуры двоих в белых халатах, сидящих в кабине, растут на глазах. Крики детей заглушаются шумом мотора и исчезают, отходят в сторону. Пыль, поднятая машиной, оседает на дороге. А небо остается голубым. Небо, как зритель на вечном спектакле.

Осип Спасов

ВОСКРЕСЕНЬЕ

...Как часто еще я бываю груб со своим сынишкой... Все-то мне кажется, что мой Дениска не такой сильный и смелый, как Антон, не такой умный и рассудительный, как Игорь, не такой веселый и общительный, как Павлик, — малыши из одной с ним старшей группы детского садика. Антон уже сам в булочную бегает и среди сверстников верховодит, Игорь занимается английским, считает от пятидесяти до одного в обратном порядке, Павлик— любимец всех детсадовских сотрудников. Дениска же русские буквы еще путает. А отправишь его одного погулять, так смотри в окошко, чтобы никто не обидел. Такой он тихий и доверчивый.

Сегодня утром, впервые после зимы, выпустил его с велосипедом в садик. Долго он ждал этого дня: очень любит кататься на велосипеде. Еще бы не любить: велосипед красивый, блестящий, с надувными шинами и настоящим тормозом.

Глянул я минут через десять в окно: на велосипеде катается какой-то другой мальчик, а мой Дениска бегает сзади за велосипедом. Да еще от радости повизгивает. Очень я расстроился, позвал его домой и спрашиваю:

— Почему же ты не катался на велосипеде?

— А у меня Леня взял покататься, — отвечает.

— Так надо было хоть по очереди...

— А он не хотел по очереди, он хотел сам.

— А ты не хотел сам?

— ...Хотел.

— Так взял бы у Лени свой велосипед, — надавливаю на слово «свой».

— Он не давал... И потом... ты же сам говорил, что нельзя быть жадным.

Что тут ответишь? Особенно после умильно-взрослого: «И потом...» Объясняться с сыном я дальше не мог и очень разнервничался, что он какой-то...не как все. Недотепа.

А во время обеда ловил себя на том, что смотрю на сына долго и пристально. Будто хочу взглядом, твердым и прямым, как пика, проникнуть в его мысли и чувства.

Сын давился под моим тяжелым взглядом и ел медленно, а я нервничал и все время покрикивал:

— Ешь! Быстрее! Быстрее! Ложку за ложкой! Ешь. Ешь.

И чувствовал, как еда в моей тарелке становится невкусной.

Все же понемногу успокоился и, уже когда посадил Дениску пить чай, спросил:

— А что же ты по лужам бегал, не разбирая дороги? Если и решил бегать за своим велосипедом, то хоть бы по сухому, а?

— Папа, а они цветные.

— Кто?

Стыдно вспомнить, с каким глупым удивлением я уставился тогда на сына.

— Лужи! Папа, а почему они цветные?

...Ни разу в жизни не видел цветных луж. Черные видел. Серо-свинцовые. А цветные?..

— Не знаю. Может быть, тебе показалось?

— Ничего не показалось. Некоторые не цветные, а некоторые разноцветные... Папа, смотри, а в стакане ежик!

— Кто?? — Я посмотрел в стакан. Там на дне сгрудились чаинки, образовав нечто странной формы, отдаленно напоминающее ежа.

Я смог лишь пожать плечами и, оставив сына допивать чай, занялся своим делом. Сын занялся своим. До меня доносилось: «Бах-бах! Ю-ю-юй пуф! Жжж!»

Вечером я спросил у него:

— Кем ты хочешь быть?

— Таксистом.

— Но врач сказал, что у тебя одно плечо ниже другого, таких в таксисты не берут, — пошутил я сурово.

— Тогда поступлю в армию и пойду бить полицию...

Это у моего сынишки от программы «Время». Сколько раз мы с женой договаривались давать ему смотреть по телевизору лишь детские передачи. Но исполнять труднее, чем договариваться.

— Но пока ты вырастешь, рабочие в странах, где злая полиция, успеют сами навести у себя порядок.

— Да?.. Тогда буду сторожем в садике, а то плохие дети ломают ветки.

Опять удивил. Другие, нормальные дети мечтают пойти в космонавты, летчики или, на худой конец, в продавцы мороженого, — это понятно. Но — сторожем?

— Ладно, — говорю, — Диня, хватит меня удивлять. Идем мыться.

По воскресеньям у нас ванный день. Денис любит, чтобы его мыла мама, и мне хорошо — меньше хлопот. Но сегодня мама занята, ее даже нет дома. Стало быть, я за жену.

...Включаю душ и начинаю драить своего сына мочалкой. Он в ответ ойкает, всхлипывает и в конце концов ревет.

И здесь я не выдерживаю и начинаю стыдить своего сына, и стараюсь перекричать шум душа.

— Чего, — кричу, — ревешь? Перестань реветь — мыла наешься, отравишься и умрешь!

Сын пугается, сжимает губы, но щеки его дергаются и глаза плачут.

— Ты же, — кричу, — хочешь быть солдатом, солдаты должны терпеть, а ты от мочалки ревешь, как девчонка. Плакса несчастная! А?! Ты, наверное, хочешь быть девчонкой?! — так я заканчиваю свою длинную тираду, одновременно с окончанием мытья. И выключаю воду.

В наступившей тишине Денис оборачивает ко мне свою мокрую мордашку. Его глазенки, большие, черные, неожиданно спокойные (только ведь плакал), глядят на меня внимательно. И он отвечает:

— Я хочу быть добрым.

Мне кажется, что кто-то положил мне на спину потолок и я от тяжести продавил ногами пол, — так мне становится не по себе. Осекшись, я молча вытираю сына полотенцем, помогаю ему одеться. Майка на его влажную спинку налезает с трудом, но я стараюсь натянуть ее как можно нежнее, страшась причинить сынишке малейшую неприятность... А ведь десятью минутами раньше я даже хотел его ударить.

Что же произошло?

Я несу Дениску в кровать, поправляю на нем ночную рубашечку. Хрипло и тихо, с трудом выговариваю:

— Спокойной ночи.

И потом весь оставшийся вечер и половину ночи думаю о том, что часто еще бываю груб со своим сынишкой, черт меня подери...

«ДРУГОЕ *Я*»

Я зашел за сынишкой в детский сад. Мальчики и девочки бегали и прыгали на отведенном для группы квадратике сада. Кое-кто время от времени вставал на голову. А воспитательница в это время на соседнем квадратике обсуждала с другой воспитательницей что-то важное. Видно было, что обе счастливы и поглощены общением.

Сынишка подбежал к воспитательнице и, как полагается, попросил разрешения идти домой. Та чуть кивнула в знак согласия — ей было не до пустяков, — но, увидев меня, прервала увлекательный разговор и деловито напомнила:

— Вам завтра мыть окна, знаете?

— Да, жена придет...

И мы двинулись к выходу из сада. Здесь я увидел в руках у сына старый железный грузовичок. Краска с игрушки облезла, появилась ржавчина. Одну ось с колесиками сын нес отдельно.

— Это бронетырпыртер, — сказал он серьезно, — знаешь, папа, мне его Дима подарил. На один день.

Игрушка, действительно, была чужая. Но главное — старая, железная и ржавая.

Во мне проснулось «другое я» — холодное и гнусавое. Мысленно я больно схватил его за нос, но... оно оказалось сильней.

— Оставь игрушку в детском саду, — сухо потребовало «другое я», — дома чисто. Полы покрыты лаком, и вообще...

Сын взглянул на меня с удивлением, как будто хотел убедиться, мой ли это голос он только что слышал.

Да, мой. Ох...

— А что... «и вообще»? — он явно хватался за соломинку.

— Мама будет ругаться. Оставь, оставь, — сказал я резко, внутренне презирая свое двуличие, — в садике будешь играть. Дома у тебя и без того целый мешок игрушек.

Сын понып немного для приличия, но мое «другое я» было непреклонно.

Домой мы некоторое время шли молча. Было сыро и зябко. Я держал в своей руке теплую ладошку малыша и вспоминал собственное детство, послевоенное.

...В детский садик я не ходил, не попал. Играл целыми днями во дворе с такими же пацанятами-сверстниками. Тогда во всех комнатах — квартиры были мало у кого, — во всех комнатах стояли печки. Их топили дровами. У каждой семьи во дворе был свой дровяной сарайчик. Весь двор был забит сарайчиками, из которых, как из кубиков, складывались большие сараи.

Путешествия по сараям и сарайчикам было нашим любимым

занятием. Там пахло мокрыми опилками, и зеленые зенки кошки в темном углу казались глазами кикиморы или бабы-яги. А мы были сорвиголовы, богатыри и сарайные альпинисты.

Игрушек у меня было три. Алюминиевый самолетик с алыми звездами на крыльях. Крылья, чуть что, сгибались вверх-вниз, и приходилось выпрямлять их обломком кирпича; звезды стирались, но я подрисовывал их красным карандашом. Карандаш слюнявил, отчего губы, язык и зубы мои были неестественно оранжевые.

Второй игрушкой был деревянный паровоз с одним вагоном. И паровоз и вагон облезлые, непонятного цвета.

Третья игрушка была вовсе не игрушка, а немецкая фляга в войлочном чехле — папин трофей. Чехол застегивался кнопками, кнопки звонко щелкали, и это было интересно.

У моего сверстника и друга по двору отец был столяр. Он отрывал от ящиков рейки и выстругивал нам мечи, кинжалы. Щитом хорошо служила крышка от большой прохудившейся кастрюли. Не было крышки — находили куски фанеры. Вооруженные мечами и щитами «богатырские дружины» шли «войной»: двор на двор...

Сейчас в новых районах нет таких дворов: каменных ям с единственной лазейкой — подворотней; а почти весь город сейчас — это новостройки. И поэтому скоро само слово «двор» станет таким же прошлым и нелепым, как «примус». И хорошо.

...Обо всем этом я подумал быстро, писать было гораздо дольше.

Сынишка мой шел рядом, задрав голову. Смотрел на луну. Луна была круглая и белая. И висела низко над домами. И светила. Почти как уличный фонарь, только ярче.

Нельзя одновременно смотреть и на луну и на землю. Ботинок сына утоп в луже, на секунду замер, а потом рванулся к берегу, рассекая тупым носом воду. Брызги полетели в разные стороны. И на мои брюки...

Во мне снова проснулось «другое я». Оно было возмущено:

— Что ты задрал голову! Когда идешь, смотри под ноги!

...Житейская глупость. Сколько маленьких мечтателей научалось смотреть под ноги. И навсегда разучалось задирать голову на луну, на небо, на звезды. Маленькие мечтатели превращались в скучных взрослых.

«Ах ты!..» — Здесь я мысленно так двинул свое «другое я» по уху, что оно исчезло.

И я сказал сыну:

— Смотри, какая красивая луна. Можно смотреть на нее сколько угодно, и все время будет интересно.

Я обрадовался, почувствовав, что становлюсь самим собой.

— Да! — обрадованно согласился сын и тоже стал самим собой. — Когда я смотрю на луну, — сообщил он, — мне кажется, что я смотрю в зеркало и вижу себя, а, пап?!

Он улыбался мне, как улыбаются, неожиданно узнав в прохожем близкого человека.

— На Луне уже были люди, ты знаешь? Они долетели до Луны и ходили по ней. Вот на Венере пока никто не был. Но только, чтобы увидеть Венеру, надо задрать голову еще выше. Смотри, я покажу тебе Венеру. Она еле видна...

«Смотри, — подумал я, и мне стало легко, хорошо, — смотри, сын, на небо. А я, пока твоей теплой ладошке уютно в отцовской руке, послежу, чтобы ты не споткнулся или не попал в лужу».

Михаил Яснов

ТИХИЙ ЧАС

Юный пес грызет штакетник,
по забору ходит кот,
кур наставник и советник
разрывает огород.

Разбегаются хохлатки
от медлительных коров,
у окна малыш в кроватке,
их увидев, поднял рев.

Петуха соседка гонит,
куры спрятались в лопух,
и в дыру, никем не понят,
ретируется петух.

Улеглись в траве коровы,
стихло гневное «кыш-кыш»,
светлоглазый и безбровый,
замолчал в окне малыш.

И соседка, сняв передник,
задремала у ворот,
и, оставив свой штакетник,
дрыхнет пес и дрыхнет кот.

Тихий час. И власть дремоты
прорастает к небу, где
пролетают самолеты
в запредельной немоте...

Анатолий Иванен

* * *

По мостику пройду... Там закуток
таким очарованием окутан...
И озеро сверкнет из-за кустов
стремительною стайкой диких уток.
Куст ивы, приклонившийся к воде...
Свист иволги, чуть слышный, над водою
так тонок, что хотелось бы продеть
в ушко иглы и, словно нить, удвоить.

* * *

Откуда луковки, свеколки,
откуда, господи, шатры...
Над Волховом не воют волки,
не жгут купальские костры.
И наспех закатав брючата
чуть выше худеньких колен,
на валунах стоят ребята
и ловят рыбу целый день.
Фигурки их так одиноки,
так неподвижны, что порой
гляжу — языческие боги
застыли молча над водой.
В том самом месте, где когда-то —
об этом вспомню, оглянусь —
в святой воде крестил Путята
с Добрыней голубую Русь...

Мальчишкам выпала на долю
преображенная страна:
их вера не святой водою —
святою кровью скреплена!

* * *

Свернусь, как береста в огне,
прижму колени к подбородку...
Ты ночью вновь идешь ко мне
в мой сон тревожный и короткий.
Среди загадочных теней
вдруг появляется сынишка.
Как мох в бревенчатой стене —
на нем пальтишко.
Глаза — как в блюдцах молока
две голубики —
взывают к нам издалека —
не погубите!
Я просыпаюсь...
Я курю...
Никто не слышит...
Горит костер.
Шумит река —
как дождь по крыше.

* * *

Затяну ремешок потуже,
затянусь табаком покрепче...
Не беда — мне сегодня хуже,
знаю — завтра мне будет легче.
Ты сегодня меня осудишь,
синий взгляд за ресницы спрячешь...
Знаю — завтра смеяться будешь
и посмотришь совсем иначе...
Родниковой водой умоюсь,
подкреплюсь слегка земляникой.
Будь со мною, всегда со мною...
Не великой будь — повиликой.

Сергей Носов

НА МОЙКЕ 12 СКОРО РЕМОНТ

Он — как человек. Он измучен, измотан.
А время ему угрожает ремонтом.
И вот он стоит, ожидает чего-то.
Ремонта...

И вот он стоит в ожиданье дремотном,
он, самый отчаянный дом Петербурга,
стоит в ожиданье дремотном ремонта,
как ждут пациенты в больнице хирурга...

Ему бы спросить у людей, у прохожих,
у этих
хороших людей, сердобольных:
«Скажите, пожалуйста, это не больно?» —
да только не может.
А это не больно, когда капитальный?
Когда опустеешь, не больно ли это?
Снимают со стен капитальных портреты
и мебель выносят из брошенной спальни,
а жалкие щели с тоскою юдольной
глотают иголки лучистого света:
«Скажите, пожалуйста,
это
не больно?»

ЧИТАЯ КНИГУ

То вдруг весь мир — как мутное стекло.
То вдруг застыл он, точно на иконе.
Но вот прошло
                    оцепененье.
                                        Кони.
Огонь и кони.
Факел и седло.

И вот оно —
высокое чело.
И дерзновенье захлебнулось в стоне.
И небо треснуло в предчувствии агоний.
Огонь и кони.
Больше ничего.

Александр Плахов

* * *

Когда-то подарили мне щенка.
— Кровей хороших, — сообщили вкратце.
Я взял комочек, нежный как щека,
к которой так и хочется прижаться.

Затикал торопливо рыжий хвост.
Щенок в ладони ткнулся носом чутким,
ответ отыскивая на вопрос,
попал он в добрые или плохие руки.

Теперь он вырос. Но уже не раз
я замечаю: вот впущу чужого,
чутьем каким-то, что острее глаз,
он различает доброго и злого.

Он все такой же, рыжий мой щенок...
Все так же мчится сумасшедше к двери.
Сегодня он не лег у ваших ног.
А я ему впервые не поверил.

* * *

Проснешься...
Рань. А в комнате светло.
Сиянье во дворе, голубовато.
И сонный дворник, вышедший с метлой,
идет, смеясь, обратно — за лопатой.

И долго не решается начать
свое единоборство с первым снегом.
Следы его ботинок — как печать,
скрепляющая зиму с человеком.

Заждался день салазок и детей.
На небесах — работа полным ходом.
Теплынь. Светлынь.
Посверкивает изморозью ель.
И мандарины пахнут Новым годом.

Владимир Волык

РАКОВИНЫ

Люблю рассказы раковин морских
В замысловатых свитках перламутра,
Огромный мир веселья и тоски
Вместившие загадочно и мудро.
Все говорят, что в них шумит прибой.
Прислушаюсь: шмели гудят под кленом,
И ручеек уводит за собой,
За сказкою, за таинством зеленым,
Где травы пахнут молоком парным,
Где захмелевший тетерев токует...
Мне раковину не сыскать такую,
Чтоб слушать только голоса волны.

БАКЛАНИЙ ОСТРОВ

Кисею из туманов
Дождь полощет с утра,
И озябших бакланов
Гонят с моря ветра.
Волны лезут на скалы
И скользят с крутизны.
Здесь бакланам усталым
Снятся теплые сны.
Здесь на ломтике суши,
Непогоде назло,
Бьют бакланы баклуши,
Спрятав клюв под крыло.

Ирина Борисова

«УХО ЧЕРНОГО БЫКА»

— Зайдем сюда! — шепнул он, приоткрыв тяжелую дверь подъезда.

Внутри было темно и тепло, только робкий огонек мерцал за решеткой полукруглого лифта. Они юркнули к батарее, она зубами стянула перчатки и сунула розовые от холода руки между звеньями, а он, шурша нейлоновой курткой, быстро обнял ее и поцеловал. Глаза его были закрыты, а она, скосив взгляд на его черные ресницы и взъерошенные брови, думала, что он теперь — ее и ей завидуют все девчонки на потоке.

Еще на картошке его прозвали Матадором — за имя Матвей, за испанские глаза и за песню «Ухо черного быка», которую он тревожно пел под гитару. Лена тогда ужаснулась: «Какой красивый!» — а он смотрел куда-то мимо — не то на огонь в печке, не то за окно. А потом все получилось очень просто — их послали на станцию за продуктами. Они ехали по размокшей, чавкающей дороге, сидя за спиной у дяди Саши, который изредка подергивал вожжи, молчали. А когда вернулись, она словно очнулась и, сообразив, что ведь сейчас все кончится, принялась с отчаяния кокетничать: «Ну можно я на лошади попробую, ну дядя Саша, ну милый!» И дядя Саша подсадил ее на распряженную тихую клячу. Силясь удержаться, неловко подпрыгивая на ней, Лена чувствовала взгляд Матвея, разгружавшего мешки. Но вдруг навстречу вывернул колхозный газик, лошадь дернулась, круто повернула, Лена тут же плюхнулась в грязь и вывихнула ногу. Было больно, а главное — стыдно, но зато Матвея послали сопровождать ее в город. Тогда, в прорезанном электрическими бликами станций вагоне, Лена безудержно болтала и даже читала стихи, а Матвей слушал, уперевшись локтями в колени, тоже что-то рассказывал, и она со всем соглашалась...

«Наверное, оттого, что мне вообще везет», — думала Лена. Действительно: захотела поступить в институт — поступила, захотела, чтобы он влюбился, — пожалуйста! И она, зажмурившись, представила, что впереди — неизвестно что, но что-то еще лучшее, и ей захотелось хлопнуть в ладоши, засмеяться...

— Подожди, — сказала она вдруг.

Он неохотно отпустил ее. Она сняла с него шапку, ловко натянула вместо нее свой красный с черным помпоном берет и откинулась, глядя, как идет красное к его черным волосам. Он смотрел, смущенно улыбаясь, а глаза были молящие, как у соседского Андрюшки, когда тот просит купить собаку. И, пораженная своим владычеством, она потянулась к нему, но радость чертиком вырвалась наружу, и она рассмеялась, озорно отпрянув, и, чувствуя, что это будет хорошо и необыкновенно, сказала:

— Я теперь знаю, на кого ты похож! Ты похож на французского матроса. Да-да, и не спорь!

— Почему? — удивился он, пытаясь снять берет, но она перехватила его теплые твердые ладони, опустила руки вниз и сдвинула берет набок.

— Ну, не хочешь быть матросом — оставайся Матадором! Представляешь, белая от солнца и пыли арена в Барселоне, а бык — огромный, хрипящий и страшный, но ты убиваешь его, отрезаешь ухо и даришь мне. А я... Хочешь, я брошу тебе розу?

— Не хочу. Я хочу тебя поцеловать...

— Слушай, а представляешь, ты бы поступил в другой институт, или я? А что, я же хотела в медицинский... Что бы с нами было?

— То же...

— Нет, не то же... Ты бы мне только снился, и я никак не могла бы сообразить — кто ты. Нет, правда, сегодня я тебя видела во сне. А потом проснулась, вспомнила вчерашнее и подумала: ведь наверняка ты забыл сходить в сберкассу! Тебя мама ругала, да?

— Нет, я сходил...

— Сходил? — разочарованно протянула Лена, потому что вчера, как она считала, он должен был забыть про все.

Вчера она долго ждала его у метро и в конце концов уехала в институт одна, а он явился только на вторую пару. После лекции он подошел к ней с виноватым видом, но ничего не объяснил. Ей очень хотелось спросить, где же он был, но Матвей сразу заговорил о завтрашней контрольной, и Лена, почувствовав себя одураченной, решила отомстить. Она сделалась рассеянна, и когда он, похлопав по карману, доложил, что купил билеты

в кино, Лена устало покачала головой и сказала, что не сможет пойти. Он проводил ее, понурив голову, и она не дала себя поцеловать на прощание, и он так жалобно смотрел, что весь вечер она раскаивалась в суровости и уже не думала об его опоздании, считая это ерундой.

Но, оказывается, после такого расставания он все-таки не забыл сходить в сберкассу и, значит, не так уж страдал, и даже, может быть, притворялся. И вчерашняя обида вновь шевельнулась внутри, но Матвей смотрел так преданно и нежно, что Лена встряхнула головой, не желая размышлять, сказала:

— Ну ладно. — Но все-таки, будто проверяя все ли сегодня в порядке, произнесла: — Завтра встретимся пораньше у метро — пройдемся пешком, да?

Он отвел глаза, тихо сказал:

— Я боюсь — не смогу. — Потупился и замолчал.

— Почему? — требовательно спросила она, но где-то в вышине вдруг приглушенно хлопнула дверь, сверху посыпались быстрые шаги, Матвей подхватил портфель, и они выскочили из парадной.

Ветер сразу надул Ленину куртку, распахнул полы Матвеева плаща, погнал их, толкая в спину. Лена шла сгорбившись, уткнув нос в толстый шарфик. Она ждала, что он объяснит — почему, но он молчал, и она подумала, что, может быть, он хочет ездить в институт, как и до нее, с Сашкой Трифоновым. Она вспомнила, как однажды им встретился Сашка и Матвей поспешил отвести взгляд, и сейчас ей это показалось оскорбительным. «Боится, чтобы и другие приятели не увидели», — подстегнула она себя.

Резко повернувшись, она пристально посмотрела на Матвея, а он спросил:

— Холодно, да? Хочешь мои перчатки сверху?

Она покачала головой, вздохнула. Она почувствовала вдруг, что он совсем еще не ее и ничего о нем она еще не знает, и в карман этот, в котором сейчас греется ее рука, может бесцеременно и нагло забраться чья-то другая.

От этого вдруг стало бесприютно и страшно. Матвей замедлил шаг, когда они поравнялись с гастрономом, взглянул на синие витрины, потом — на часы и в нерешительности остановился.

— В магазин надо, да? — повернувшись спиной к ветру, спросила Лена.

Он кивнул и огорченно посмотрел на нее, и Лена сказала:

— Ну пошли.

В магазине было ярко, тепло. Им дали решетчатую корзин-

ку. Матвей деловито укладывал в нее хлеб и еще что-то, а Лена ходила следом, а потом отошла к стенке. Засунув руки в карманы, она смотрела, как мясник рубит мясо. Над мясником висела схема разделанной туши, и Лене вспомнились слова песни: «Ухо черного быка я любимой подарю». Она поискала взглядом Матвея, нашла его в другом углу, озабоченно рассматривающего пачку чая, мысленно приказала ему подойти, но он направился в другую сторону, и Лена почувствовала себя лишней в магазине, чужой всем, и ему тоже. «Что же дальше-то будет?» — с тоской подумала она. Матвей наконец подошел к ней с полной корзинкой.

— Надо бы еще картошки, ну ла ладно, — сказал он, перекладывая все в портфель. Вглядевшись в ее поскучневшее лицо, нахмурился и добавил: — Ну что ты?

— Ничего. Мама сегодня дежурит? — уклонилась она от ответа.

Матвей сказал:

— С утра. — И они вышли из магазина.

Ветер немного стих, и они пошли медленнее. Он не заговаривал, глядя вперед и задумавшись, а она следила за прыгающими светящимися буквами рекламы на крыше и шевелила губами, складывая их в слова. У нее замерзли ноги, и ей было жалко себя, и она вспомнила, что вчера у метро тоже было очень холодно. От всего этого слезы навернулись на глаза. Она порывисто вздохнула.

— Что случилось? — остановившись, спросил он.

— Ничего, — ответила она. — Да и не все ли равно?

— То есть как?

— А так... Ты ж мне не говоришь, где был вчера, куда пойдешь завтра...

Матвей попытался возразить, но она с вызовом перебила:

— Ну и правильно. Конечно, я теперь понимаю... Мы — два отдельных человека, каждый со своей, в общем-то, жизнью. И неизвестно, что с нами будет через месяц, и смешно тогда будет вспоминать, что сейчас за каждые два часа, за каждый вздох мы друг другу... — она укусила перчатку, подыскивая слово, — отчитывались... И вообще, мне пора домой, а ты — иди завтра с кем хочешь...

И она, будто уверившись в чем-то, выдернула руку из его кармана и пошла назад.

Он побежал следом, размахивая тяжеленным портфелем, схватил ее за плечо, остановил, повернул к себе.

— Ну зачем ты такое говоришь! — умоляюще прокричал он,

но она горестно смотрела на него, упиваясь собственным несчастьем и желая, чтобы он действительно ее разлюбил и было бы совсем плохо.

— Ну с кем я завтра пойду — ни с кем я не пойду! — проговорил он, запинаясь. И, наконец, опустив голову, выдохнул: — Ну хорошо. Я утром мусорные бачки вывожу... В жэке устроился — тридцать рублей платят...

Он перевел дух и стыдливо опустил обиженные глаза, а она всплеснула руками. Прыгающие буквы рекламы закружились перед нею в разноцветном ореоле.

— Ой, — сказала она и тронула его за пуговицу. Он не пошевелился. Сзади зазвенел трамвай. Она вздрогнула, а потом уткнулась в его серый шарфик и заплакала.

— Ну чего же теперь-то? — хмуро спросил он, пытаясь освободиться, но она крепко держалась за плащ, вздрагивая и шмыгая носом. — Ну не надо, а? — пробормотал он, неловко гладя рукав ее куртки. — Я тебе теперь все буду говорить, не плачь, ладно? Я ведь без тебя... Ну куда ж я теперь без тебя?

Она судорожно обняла его, и ей открылось вдруг, что он и вправду — ее, и от этого уже не было радостно, а только страшно и жалко его. Она прижала его к себе еще крепче, словно защищая. Мир вокруг замер; трамваи отзвенели за поворотом и не возвращались, прохожие шли стороной. Для нее существовал только серый колючий шарфик — драгоценная частица его, а он прижимался щекой к твердому помпончику берета.

Они стояли так долго.

— Скорее! — встрепенулась Лена, разглядев светящийся вдали номер автобуса, схватила его за руку, и они бросились к остановке. В последний момент, не дав двери закрыться, они с грохотом вломились в автобус, и, уже коснувшись ногой подножки, Лена загадала: «Если успеем — все будет хорошо».

Татьяна Жиркова

ЭХ, ГАВРИЛОВ...

Скрывай свои чувства и ты будешь неуязвим. До некоторых пор Гаврилов свято верил в это. От природы, однако, он был очень некстати награжден нежной розовой кожей и в молодости краснел по любому поводу. Он и теперь краснел, но определить, по какой именно причине, было почти невозможно.

— Я требую, наконец, чтобы мне предоставили свободу действий! Когда нет единого руководителя, каждый начинает грести в свою сторону. Поймите, не славы ради, ради дела! За несчастной катушкой провода я должен обращаться к вам, вы звоните в отдел, отдел еще куда-то там, потом говорят — нет, ждите. Ждем. И все. Потом звонят с завода — Малюгин разрешил, сделайте срочно проверку, снимите характеристику. С какого боку тут Малюгин? Но раз он разрешил, то мы уже обязаны. Время идет, мы мечемся, работаем вечерами, только бы уложиться в срок. И вот — звонок из центра: все, что вы сделали, хорошо, но сейчас нас интересует другое. Такая постановка дела меня не устраивает! — Гаврилов замолчал, напряженно вслушиваясь в голос на другом конце провода. Прищурив глаза цвета недозрелой сливы, он сосредоточенно глядел на стол, заваленный бумагами, и пальцы свободной руки то разжимались, то сжимались в кулак.

— У нас есть план, — заговорил он снова. — Беда в том, что, видимо, он ни для кого, кроме нас, не является планом, его меняют все кому не лень, — договорил он с досадой и в изнеможении провел рукой по лицу. — Встретиться можно, но сколько уже было этих встреч. — Он замолчал, улыбаясь грустно и вымученно. Наконец положил трубку.

Как хороший актер, счастливо вошедший в образ, Гаврилов

сидел под впечатлением своего монолога, ничего не видя и не слыша вокруг. Сказанное им только для этой пигалицы за спиной распалило его самого. Он вдруг почти со страхом подумал об исследованиях, которые никому пока ничего не дали. И все-таки он был зол: как она может, какое имеет право диктовать ему решения, требовать поступков, о целесообразности которых может судить лишь он, он один. Нет, она совсем не осмотрительна. «Осмотрительный подчиненный никогда не предвосхищает выводов своего начальника», — вспомнил он чье-то. А я становлюсь брюзгой. Она права, так дальше нельзя. Он заметил краем глаза, как неожиданно потеплело ее лицо. С правильными чертами, довольно красивое лицо, если бы не это постоянное выражение подчеркнутой независимости. Она улыбалась, и Гаврилов отвел глаза.

— Все очень верно. Если мы сами не поставим вопрос, его больше никто не поставит. — Лена подошла к столу Гаврилова и села напротив, бесстрашно встретив его неприязненный взгляд.— Назавтра с утра у нас серия опытов.

— Нет, нет, завтра никаких опытов, меня не будет в городе.

— Зато мы будем, — бесцеремонно прервала она. — Больше просто нельзя ждать. Нельзя, — она поднялась.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Гаврилов неожиданно тихо.

— От вас? — переспросила она, удивленно вскинув тонкие брови. — Только чтобы вы разрешили опыты. Ваше присутствие необязательно. Мы все сделаем сами.

Спокойствие и убежденность, с какими она говорила, вызвали в Гаврилове бурю протеста. Он уже еле сдерживался, чтобы не сорваться на крик. И надо же, именно сейчас, когда ему осталось всего каких-то несколько дней, эта пигалица встала в позу.

— Повторяю, завтра — никаких опытов, — произнес он отчетливо.

— Это приказ? — ее щеки возмущенно вспыхнули.

Он замолчал, боясь, как бы она не вступила в спор; он уже больше не сможет сопротивляться, просто нету сил. Но она повернулась и решительно пошла к двери.

— Эй, — обернулся Гаврилов. — Приготовьте все для опытов на послезавтра.

Он достал сигареты и устало закурил. Все-таки он вынужден был признаться, что она снова одержала победу, ведь сам он планировал провести эти опыты только через неделю.

Минут двадцать прошло после того, как за Леной хлопнула дверь, а Гаврилов все сидел за столом, положив на него руки, и тупо глядел в окно. Ведь единственное, чем необходимо зани-

маться, — это опыты, а он едет встречать бывшую свою жену, и ведь лучше всех знает, что это ни к чему не приведет, и все-таки поедет, даже если ради этого придется все потерять — авторитет, власть, работу. Он с недоумением думал, что никогда так не нуждался в ней, как сейчас, когда она такая далекая и чужая... Он вспоминал ее полные красивые руки, волосы, глаза, ее ласку и нежность к нему, как счастливый сон. Она всегда понимала его. Или, по крайней мере, становилась на его сторону. Он еще будет счастлив и докажет этой пигалице, что жизнь — не бездушные опыты, есть вещи гораздо важнее. Вот только зачем он должен ей это доказывать?

Солнце выглядело совсем по-весеннему в чистом высоком небе, и вспоминать вчерашнюю непогоду было странно и неприятно.

Гаврилов приехал в аэропорт за час до прибытия самолета. Он перечитал все газеты, какие только нашлись в киоске, потолкался среди отъезжающих, потом среди встречающих, побалагурил, поулыбался, надеясь развеять меланхолию, но только острее ощутил одиночество и вдруг понял, что сейчас же должен позвонить в лабораторию.

Подходя к будке, он заколебался, но все же вошел и набрал номер.

— Гаврилов. Как дела? — без всякого вступления спросил он бодрым голосом.

— Вас интересуют дела? — с выражением переспросила Лена после минутной паузы.

— Да-да. В чем дело? — испугался Гаврилов, уловив в ее голосе упрек.

— Нам предложено передать установку группе Князева, — бесцветным голосом сообщила она.

— Кто... Что? — Это был удар. Будто кто-то из пистолета выстрелил по нему в упор. — Я еду! Сейчас. — Он хотел повесить трубку, но снова поднес к губам. — И никакой самодеятельности.

— Ну что? — с порога крикнул Гаврилов.

— Зайдите к Малюгину, — холодно отозвалась Лена.

Гаврилов в плаще подошел к окну, на ходу вытаскивая сигареты.

— Значит, все-таки Малюгин, — произнес он спокойно после глубокой затяжки.

Выпустив тонкую струйку дыма, но нервно прочертил сигаретой в воздухе непонятный знак.

— Ну, что вы на это скажете?

Сказал так, будто обращался к себе самому.

— Естественный конец, — повернулась Лена к худенькому белобрысому пятикурснику Пете, дипломанту Гаврилова.

Лицо Гаврилова вопросительно замерло, вытянулось.

— Чего вы мечтаете добиться своими бесконечными отсрочками? Мы работаем без всякого плана, бессистемно, скатываясь с одного на другое. Почти год талдычим одно и то же, а напрашивается хотя бы один завалящий вывод?

— Вывод один, — не выдержал Гаврилов. Лицо его вдруг потухло, будто кто-то задул свечку. — Я говорю Малюгину, что мы не в состоянии заниматься дальше исследованиями. Группа будет расформирована, — решительно закончил он, гася сигарету о какую-то деловую бумагу на столе. И вдруг испугался своих слов.

— Вот опять вы не поняли. Мы можем и должны заниматься опытами, вы верно говорили проректору о наших, — она запнулась, — недостатках. Вам, может быть, и неинтересно, а нам очень даже интересно и обидно, когда этим начинают жонглировать, — она отвернулась, отошла от Гаврилова.

— Виктор Павлович, по-моему, надо уговорить Малюгина, — робко предложил Петя. — Мы сами...

А Гаврилов безуспешно пытался нащупать нужный спасительный тон.

— Ну ладно, черти, — взмахнул он руками, — сдаюсь! Начинаем новую жизнь! А пока иду к папе Карло. Малюгин ждать не любит.

По изменившимся лицам сотрудников Гаврилов понял, что нашел верный тон.

Уже второй час кружил Гаврилов вокруг дома своей бывшей жены. И все ждал, когда же зажжется свет в окнах, а свет все не зажигался. Делая круг за кругом, он наконец сбился со счета и поймал себя на мысли, что думает о работе, будто бы и не выходил из лаборатории и все продолжает разговор с этой пигалицей. Она наивно считает, что нам все должны помогать, будто мы одни, такие целеустремленные и распрекрасные, делаем дело, остальные не в счет. Нет, дорогуша, не раз еще споткнешься на своей безапелляционности. Людей тоже понимать надо, думал он, подразумевая, конечно, себя. С некоторых пор ее резкий настойчивый голос начал раздражать Гаврилова. Казалось, это умаляло его власть руководителя, к которой он уже успел привыкнуть.

Он не заметил, когда именно в окне вспыхнул свет. Поднял

глаза и увидел освещенный четырехугольник. Бывшая жена, наверное, сидит в кресле перед телевизором и вяжет что-нибудь этакое мягкое и пушистенькое. Представив умиротворяющую картинку, он вдруг обрадовался, что вовсе не он за этим освещенным окошком с желтыми портьерами, на которых вытканы огромные белые парусники...

«Ну все, теперь не дам никому вздохнуть, не терпится поработать — пожалуйста, погоню опыты вовсю», — рассуждал он, бодро шагая по темной улице.

Проснулся Гаврилов раньше будильника. Наскоро переделал утренние дела и побежал в лабораторию. Ему хотелось увидеть установку, приборы, выстрелить по испытуемому образцу колоссальным пучком энергии, ощутить приятную упругость кнопок под рукой.

А началось-то с пустяка, со звонка этой пигалице. Позвони ей подруга, мать, любая другая женщина, он не обратил бы внимания, но ей позвонил мужчина, баритон.

Потом он узнал от третьих лиц, что ни братьев, ни отца у нее нет, живет она одна в общежитии, замужем не была, тридцатитрехлетняя старая дева. Так ее назвали, а он представил подвижное лицо с тонкими чертами и нежной, как у ребенка, кожей, слегка вздернутый нос, который заявляет всем и каждому — независимость и еще раз независимость, и смутился. Вот она идет по коридору, он не видит, во что она одета, кажется в брюки и мужскую рубашку, во всяком случае на ней что-то странное, но это все равно, зато как она несет голову с копной русых волос. Прямо Жанна д'Арк! Он никогда не думал, что ей уже столько лет. Ему было тридцать семь.

...И началось. Теперь ему постоянно казалось, будто она вздрагивает, как только раздается телефонный звонок. Он тут же снимал трубку, но баритон больше не объявлялся. Днем Гаврилов искал повод, чтобы придраться к ее работе. Это не составляло труда, потому что она становилась все рассеянней. Вечерами же на Гаврилова наплывала меланхолия, он пытался думать о бывшей жене...

— И надо же, что именно сегодня выпал снег, — весело удивился Гаврилов. Он первый шел по первому снегу, и это, конечно, к чему-нибудь да было.

Поздравив толстую вахтершу со снегом, он припустил по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки. Дверь в лабораторию оказалась открытой. Скинув на ходу плащ, Гаврилов быстро

прошел по залам и очутился возле установки. У раковины стояла Лена и осторожно наливала воду в стеклянное сопротивление.

— Сколько килоом? — спросил Гаврилов.

Она подняла глаза. Гаврилов внезапно понял, что со вчерашнего дня только и ждал, когда снова окажется рядом с этой пигалицей.

— Но вы как будто не собирались приходить, — медленно сказала Лена, затыкая сопротивление большой черной пробкой.

— Я передумал.

«И хватит нам ссориться», — говорили его взгляд и улыбка.

— Тем лучше. Поговорим, пока никого нет.

— Вы правы, Леночка. Пора, пора приступать! — бодро перебил Гаврилов, располагаясь за рабочим столом. Он назвал ее Леночкой и почувствовал себя на седьмом небе.

Лена положила сопротивление, повернулась к Гаврилову, вытирая руки носовым платком.

— Я не о том, — начала она медленно и заговорила вдруг быстро, словно оправдываясь в чем-то и страшась, что ее могут прервать: —Но вы не подумайте, я нашла замену. Он очень умный, он был самым способным на факультете. Кого хотите спросите...

— Я, наверное, туп, что-то ничего не пойму. Какая замена?

Он машинально проследил за ее взглядом. На столе лежало заявление, разукрашенное многочисленными разноцветными визами.

— Мама заболела, — Лена опустила глаза, — сильно...

— Ну так берите отпуск, — предложил Гаврилов тоном утопающего, хватающегося за соломинку.

— Нет. Она одна. Совсем...

...Он ждал от нее каких-либо слов, может быть совсем пустяковых, но тех, которые бы заполнили возникшую гулкую пустоту внутри.

Послушай, хотелось сказать ему, ведь мы неплохо жили, пусть спорили и ругались, но ведь мы давно уже друзья. Вот ты уходишь — и нечем дышать... А наши опыты, победы и неудачи — разве ты бросишь? Мама? Вези ее сюда, в большой город с первоклассными врачами, да не в общагу, а домой... Боже мой, ведь ты же знаешь, как я одинок...

Может, это было не совсем верно, может, на самом деле он все-таки дорожил одиночеством, и если бы не внезапный ее отъезд... И все же Гаврилов готов был сказать ей все это, но... машинально перекладывая синьки, молчал.

— И билет есть? — спросил он наконец безнадежно и тихо.

— Есть. — Она натянула берет таким знакомым жестом. — Спасибо. Я знала, что вы мне не откажете.

Он вдруг понял, что вот сейчас она уйдет и они уже больше не увидятся. Сколько всего уйдет с ней...

— Как же? А если бы я не пришел?

— Пришлось бы уехать, не попрощавшись.

Она стояла в дверях с сумкой через плечо. Куда девалась ее независимость? Грустными влажными глазами смотрела она на Гаврилова, брови ее слегка вздрагивали. А он все молчал, не в силах преодолеть какой-то внутренний барьер. Он ждал: сейчас она скажет те слова... Ведь это же нелепо, глупо. Вот сейчас, сейчас...

— Эх, Гаврилов... — чуть слышно прошептала Лена и быстро пошла прочь.

Он хотел броситься за ней, но ноги будто приросли к полу, хотел крикнуть и не смог. Он медленно приблизился к окну и, прижавшись к стеклу горячим лбом, долго смотрел ей вслед.

Веселые голоса заполняли лабораторию. Начинался обычный день. А Гаврилову казалось, будто все звуки покрыл безнадежно-сожалеющий шепот: «Эх, Гаврилов. Эх, Гаврилов...»

Николай Коняев

ПЕРЕВОЗНЫЙ КАТЕР

У красноборского причала, чуть покачиваясь на мягкой волне, стоял перевозный катер «Тосно». Над входом тускло светилась лампочка. Слабый, дрожащий свет ее выхватывал из темноты трап, бухту с канатами, на которой, подперев рукою щеку, дремала матросиха — тетка Лиза.

Пассажиров на катере не было. В рубке, ярко освещенной изнутри, стоял капитан катера — Саша Самогубов. Наморщив лоб, он что-то записывал в вахтенном журнале.

Желтые квадраты света падали на доски причала, вспыхивали бликами на темной августовской воде.

Слабый ветерок, что дул с берега, доносил со стороны лесозавода запах свежих опилок.

Обычно последним рейсом ехали домой рабочие со второй смены, но сегодня был выходной и никто не спешил на катер.

Ветерок чуть шевелил выцветшим флагом на корме. Флаг пузырился — белое смутное пятнышко среди темноты.

С деревьев, что росли возле причала, время от времени летели листья, падали в воду и, подхваченные течением, плыли мимо катера... Вспыхивали, когда проплывали под трапом, и сразу тускнели, пропадали в неоглядной тьме, где тусклой, неровной цепочкой светились зеленые и красные огоньки бакенов.

Саша закрыл журнал и отворил дверь рубки.

— Что? — поднимая голову, спросила у него тетка Лиза. — Скоро пойдем?

Саша стоял на палубе, засунув руки в карманы брюк, и насвистывал.

— Пятнадцать минут еще... — сказал он и пошел по палубе в сторону машинного отделения.

— Долго как... — вздохнула тетка Лиза и зевнула, провожая взглядом Сашу. Саша был немного сутуловат, и форменный китель болтался на нем, как на вешалке. Нагнувшись к машине, Саша что-то рассматривал там, в глубине отсека.

— Старье какое, — проворчал он. — Развалина...

— Откуль молодым быть, — отозвалась тетка Лиза, — до войны ведь еще ходил... Тебя-то и на свете тогда не было.

Саша снова засунул руки в карманы и засвистел. Взглянув еще раз на машину, он презрительно сплюнул и медленно пошел к трапу. Усевшись напротив тетки Лизы, вытащил из кармана пачку сигарет.

— Муж мой на ем до смерти плавал, — вздохнула тетка Лиза. Обхватив ладонями локти и чуть наклонившись вперед, она смотрела в темноту.

— Да? — сказал Саша и из уважения многозначительно поднял бровь. — Дак у вас династия, значит, получается?

— Кака там династия... — Лиза вздохнула. — До пенсии бы как доработать.

На несколько минут наступила тишина.

— Н-да... — сказал наконец Саша. — Старое все... — Пальцем он счистил с губы налипшие крошки табака. — Старое все. Машина едва дышит. Все износилось.

— А до войны он бегал, — сказала тетка Лиза. — Ой как бегал. Такой бегунок был, что любо...

Смутная счастливая улыбка возникла на ее губах.

— Мой-то, — сказала она, — мой-то ходил тогда на ем, когда Беломорско-Балтийский канал сдавали... Принимать ево все правительство было. Стали они на озере, а Ворошилов сюды заезжал, в поселок. Вот на этом катере и ехал...

Саша пожал плечами.

— Ну и чего? — спросил он. — А чего он здесь делал?..

— Да я-то почем знаю? — удивилась тетка Лиза. — Ездил, значит, и ездил по своим делам. Мне и мужик только рассказывал, что он меткий был очень. А ну, — скомандует, — шапки в воздух! Ну, матросы и рады стараться, шапки посрывают и вверх кидают, а он наган из-за пояса и бах-бах-бах! — все в дырах назад падают.

— А! — Саша поморщился. — Враки небось.

Тетка Лиза не стала спорить.

— Мне мужик рассказывал, — сказала она. — А я чево? Я и не видала сама... А мужик дак и перед смертью про это вспоминал. Сидел, пил чай и рассказывал, как Ворошилов стрелял... А потом пошел за водой и помер возле проруби.

— Сердце, что ли? — спросил Саша. Встал, подошел к краю

причала, отщелкнул пальцем окурок. Тот, прочертив в темноте красную дугу, исчез, прикоснувшись к воде.

Тетка Лиза тоже встала.

— Кто его знает, — вздохнула она и поправила косынку, — может, и сердце... Врачи на сердце говорят... Только им-то што? Врут небось...

И она стала медленно надевать брезентовые рукавицы. Руки ее дрожали.

— Н-да... — сказал Саша и посмотрел на часы. — Поедем, наверное?

— Пора уж...

Саша прошел в рубку, и через минуту катерок начал дрожать — машина набирала ход. Налились светом лампочки над входом, ярко засветились иллюминаторы в пассажирском салоне.

Тетка Лиза отчалила катер и уселась на скамеечку, подперла ладонью щеку, а другой рукой обхватила себя за локоть и снова задремала. Она клонилась вперед усталым телом, вздрагивала, испуганно открывала глаза, хлопала ресницами — все вокруг было спокойно, плыли мимо ночные огоньки поселка, она снова закрывала глаза, снова клонилась вперед усталым телом...

В рубке же с потухшей сигаретой в сжатых губах стоял у штурвала капитан катера Саша Самогубов и смотрел вдаль. Перед ним расступались, разбегались по сторонам огоньки поселка, а дальше по курсу густо темнело озеро. Саша смотрел туда, слушал, как стучит с перебоями мотор.

«Ворошилов...» — насмешливо думал он и косо, чтобы не выронить изо рта окурок, улыбался...

ЧАЙКА БРОДИТ ПО ПЕСКУ

На дороге лежали тени ветвей. Со стороны залива дул свежий ветер, деревья чуть покачивались, и желтые пятна солнца, вздрагивая, бежали по асфальту. Дыхание близкой осени уже окрасило желтизною листья; желтизна путалась с бликами солнца, и поэтому казалось, что деревья насквозь прохвачены лучами.

Рядом с шоссе, зажатая крутыми обрывистыми берегами, извивалась река, и вода сквозь нависший кустарник ярко посверкивала, слепила неожиданным блеском глаза.

От этой веселой кутерьмы солнца и ветра Федору делалось легче. Он шел, хватая ртом бьющийся воздух, ветер раздувал его плащ, путал волосы.

Уже все-все было готово к отъезду. Вещи лежали в камере хранения, а транзитный билет празднично похрустывал в нагруд-

ном кармане. Все было готово к отъезду, еще три часа, и закричит поезд, и — поминай как звали! — Федор опустит окно и, вдыхая поездной ветер, последний раз улыбнется городу, его чудным, запущенным окраинам, которые взрослее города, и застучат под колесами стрелки, полетят мимо дорожные знаки, переезды, полустанки, станции...

И Федор улыбался навстречу ветру, ему казалось, что остатки печалей и тревог, весь сор оставленной жизни бесследно, как дым, развеется на этом ветру. И все дальше отодвигался в памяти вчерашний вечер, когда, рассовав по карманам бутылки, обходил Федор общежития и квартиры, прощаясь со своими друзьями.

«Уезжаешь?» — спрашивали его, и он, нащупав в кармане хрустящий билет, отвечал: «Уезжаю!» — и так светло, радостно улыбался, что друзья забывали укоризненные слова. Обнимая, они вели Федора к накрытым столам, и лица их были грустными. И жены друзей осуждающе смотрели на него. А Федор, словно назло, говорил только о дорогах да еще о той чудесной жизни, что ожидает его.

Он говорил, а друзья кивали ему, и тогда он вставал и, раздвинув в усмешке тяжелые губы, говорил: «Прощайте!» «И ты прощай!» — отвечали ему, и он брел дальше, чуть покачиваясь в своем жестком новом костюме.

И много было выпито, но не возникало легкости, Федор только как бы темнел изнутри. И казалось, что темнеет вокруг. Время, действительно, было позднее, все уже спали или ложились спать. И вот из темноты Любкино лицо — бледным, дрожащим пятном — открылось ему, а что было между Любкой и последней компанией, где Федор пил, он не помнил, и, тяжело дыша, он тянулся к этому последнему среди сгущающейся темноты свету и кричал что-то, и Любкины губы совсем беззвучно шелестели в ответ: «Брат... брат дома...», но он не слышал, и вдруг сразу все оборвалось...

Очнулся Федор уже на кухне. Он потрогал рукой подбородок и, нащупав липкую кровь, с трудом встал со стула и подошел к медному рукомойнику, ладонями плеснул в лицо воду и только тут различил голоса в коридоре.

— Ну зачем, зачем ты его так? — плакал, метался там Любкин голос.

— А что? Что?! — ревел в ответ ей голос брата. — Влюбляться, улыбаться, а рожать, так слезы лить? Так, да?

Потом дверь хлопнула.

Умывая разбитое лицо, Федор подумал, что вот его не боятся даже... Он подумал так и усмехнулся. Но отяжелевшие губы не

слушались. Усмешка — Федор видел себя в зеркале — получилась жалкой.

Любка вошла в кухню. Вместо халатика, в котором она встретила его, она надела новое платье.

— Уезжаешь? — останавливаясь в дверях, спросила она.

Федор кивнул головой и потрогал пальцами подбородок.

— Болит?

Любка протянула было руку, чтобы потрогать лицо, но испугалась гримасы Федора и тут же отдернула руку.

— Дура! — сердито сказал Федор и опустился на стул. — Противно все, — выдохнул он из себя и уронил голову на скрещенные на столе руки.

Любка тихо обошла его и встала сзади.

— Глупый ты, — пробормотала она, запустив пальцы в его волосы, — ой какой глупый...

Что-то тоскливо шевельнулось в Федоре, и, чтобы подавить это, он с усилием поднял голову и мутновато взглянул на женщину.

— Хочешь со мной уехать? — обхватывая ее рукой, спросил он, и губы его снова тяжело шевельнулись. Он почувствовал, как напряглась Любка. Чуть прищурил глаза.

— Значит, хочешь?

Рванувшись, Любка выскользнула из его рук и встала в дверях.

— Ты чего? — Федор неприязненно оглядел ее. — Сдурела?

— Уходи, — кусая губы, ответила ему Любка. — Ухо-оди...

И тогда Федор опустил голову и тяжело шагнул в дверной проем. Последнее, что он видел, это побелевшие, впившиеся в косяк Любкины пальцы.

А теперь он шел по шоссе к заливу и в лицо ему дул ветер.

Справа от шоссе, за деревьями, тянулись совхозные поля, серые, словно остывшая зола. Там рокотал трактор. Синеватый дымок его клочьями рвался в воздухе.

Сразу за мостом поля кончались, теперь — только кустарник, а за кустарником голубое, покрытое белыми гребешками волн поле залива. Здесь, в устье реки, белело здание лодочного кооператива. Два года назад, когда кооператив только организовывался, Федор вступил в него, но потом махнул на все рукой и уступил свое место Любкиному брату — Гоше.

Двери гаража были сейчас открыты. Усмехаясь, Федор остановился и заглянул внутрь. Гоша сидел верхом на своей перевернутой моторке и что-то прикручивал к днищу.

— Здравствуй! — сказал Федор.

Григорий обернулся.

— А-а, ты... — Он слез с моторки и, вытирая ветошью руки, пошел к дверям. — Ну, в чем дело?

— Уезжаю... — Федор ковырнул носком ботинка песчаную землю.

— Ну-ну... Всего, значит... — Григорий повернулся и хотел было отойти в глубину гаража, но Федор удержал его.

— Ты погоди, — выдавил он из себя. — Сядь вот, потолкуем...

Гоша пожал плечами, однако послушно сел рядом с Федором.

— Вот, значит, уезжаю, — проговорил тот, — а чего уезжаю, знаешь?

— Нет! — Григорий зло окомкал ветошь и отшвырнул ее в угол гаража. — Не знаю.

— Целого я не вижу ничего, — не замечая резкости, задумчиво произнес Федор. — Умом понимаю, что связывается все это вместе, а сердцем, душой вот — не чувствую...

Он помолчал, а потом добавил, вздохнув:

— Вот, понимаешь, рваное все... Ну, год, два еще ничего, а потом... ну, ничего целого. Никак, понимаешь, не могу связать: и стройка эта, и компании у гастрономов, и ночи в общаге. А что мы строим? Вот ты видел, что мы строим? Вылезаешь из автобуса — только стены. Как голову ни задирай, а все равно конца стене не увидишь... Ты вот скажи мне, стену мы строим, да?

— Тебе жениться надо, — сказал Гоша и засопел.

— Жениться... — недоверчиво повторил Федор. Он хмыкнул. — А душу-то, душу-то куда девать, а?

— Ну, тогда как знаешь, — вяло проговорил Григорий.— Твое дело. Тебе, конечно, видней...

Он сидел на скамеечке, как бы оплыв на ней, — весь мягкий, рыхлый. Федор посмотрел на него, и снова странная злоба шевельнулась в нем.

— Слушай, — хмурясь, сказал он. — Ну не понимаю я тебя, а? Черт знает, что ты за человек... Если бы у меня кто с сестрой так, — он сжал свой огромный кулак. — А ты... Ты вот вроде бы еще извинения просишь, а? Слушай, вот вчера врезал ты мне, дак я, понимаешь, уважать тебя стал... Ну что же ты, а?

— Ладно. Хватит! — Любкин брат встал. — Запахал ты меня своими разговорами. Давай отчаливай.

Он повернулся и пошел в гараж. А Федор смотрел ему в спину, и злая тоска жгла его. «Рохля!» — подумал он и, сплюнув на землю между новыми башмаками, встал.

— Бывай... — сказал он и еще сильнее разозлился, увидев непритворную радость в глазах обернувшегося Гоши.

«Ну и человек... — быстро шагая по шоссе в сторону залива, думал Федор. — Ну и ну...»

И ему вдруг очень жалко стало Любку, он представил, что, если бы у него действительно была сестра, он бы с ее хахалем... Дальше обдумывать Федор не стал. Кулаки его сжались, и зубы сами по себе заскрипели.

— Сука! — выругался он на Гошу. — Сука ватная!

Минувшей ночью он все-таки вернулся к Любке, и, когда проснулся, в комнате было темно. Он сел на кровати и сжал ладонями голову.

— Чего ты? — просыпаясь, спросила Любка.

— Так... — неопределенно ответил он и встал.

В комнате было холодно, но холода он не чувствовал. Подошел к окну. За тоненькими стволами сосен блестел мокрый после дождя асфальт.

— О чем ты думаешь? — тихо спросила Любка.

— Так... — пожав плечами, ответил Федор. — О лесе, о домах, о деревьях...

Как бы со стороны он услышал свой голос и удивился ему.

— А я о тебе думаю... — сказала Любка, и сразу голос ее заторопился, слова, обгоняя друг друга, сбиваясь, полетели с ее губ. Отводя назад сбившиеся волосы, Любка стремительно шептала ему: — Только о тебе. Нет ничего без тебя, все худо, так худо, Федя... Возьми, куда хочешь возьми. Хоть в пустыню поеду, только с тобой. С тобой... — голос у нее кончился, и она так же неожиданно, как и заговорила, беспомощно заплакала.

Федор сел рядом с Любкой и обнял ее, еще теплую от сна.

— Ну, напишу я... Не плачь только — напишу. Ну! Смотри сюда. Все хорошо будет. Еще жить будем, еще все будет...

Счастливо и доверчиво светились Любкины глаза. Но потом и эта ночь кончилась.

И вот открылся ветреный залив, жмущийся гребешками волн к пустому песку. Никого не было здесь, только чайки, они, упираясь грудью в ветер, неподвижно висели в воздухе. Пронзительные вскрики мешались с шелестом волн и шумом прибрежных деревьев. Ветер рвал зеленые листья, и, кружась, они медленно падали на тяжелый осенний песок.

Кое-где виднелись опрокинутые урны, бачки для мусора, ветер гонял по пляжу обрывки старых газет — эти обрывки выцвели, отвердели и гремели сейчас, словно жесть.

— Чайка бродит по песку, моряку сулит тоску, — чуть торжественно продекламировал Федор и пошел вдоль волны, ощущая под тонкими подошвами башмаков влажную, почти живую упругость песка.

Волны разделялись невдалеке от берега. Одна, с гребешком, добежав до мелководья, сникала; другая бежала дальше и долго шуршала по песку пляжа.

Летом Федор часто бывал здесь; и сейчас, натыкаясь взглядом на позабытые вещи: пустые бутылки, наполовину замытые песком, сломанную ракетку, выцветшую панамку, забытую на кусте, — он чуть-чуть улыбался тяжелыми губами. Пляж очищался от сора летней жизни.

Впереди, на влажном сыром песке, стояла уставшая чайка и не улетала, хотя Федор был уже совсем близко.

— Чайка бродит по песку... — пробормотал Федор и, оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто не подсматривает за ним, присел на корточки: — Цып-цып, чаечка...

Чайка скосила на него недоверчивые бусинки глаз и на всякий случай отлетела подальше.

Федор засмеялся и встал, отряхивая с ладоней налипший песок. Чайка, видимо, испугалась его смеха и поднялась в воздух, полетела вдоль кромки песка и оконечности бухты, села там на валун, еле видный из-за зарослей сухого желтого камыша.

Казалось, чайка заманила Федора, и он, как послушный ребенок, чуть посмеиваясь своим ребячьим мыслям, шел к ней. Скоро закончился песок, заросли кустарника вплотную подступили к заливу, и пришлось снять туфли и, закатав штаны, брести по неглубокой холодной воде.

Чайка сидела на камне и бусинками глаз видела и Федора, бредущего к камню, и залив с гребешками волн, и следующую бухту, еще не видную пока Федору.

Кустарник закончился неожиданно. Федор прошел еще несколько шагов по воде и вдруг в далекой глубине увидел стройку, на которой он проработал эти два года.

Серебрясь изогнутыми трубами отстойников, стройка празднично и легко подтаивала в синей глубине пространства бухты. Медленным треугольником плыли над стройкой журавли.

Федор, растерянно помаргивая ресницами, посмотрел на камень. Чайка улетела, и попробуй отыщи ее теперь среди десятков птиц, кричащих над пляжем.

Ему не расхотелось уезжать, но вечером, под стук колес, он снова вспомнил про эту чайку.

«Вот вредная цыпка...» — подумал он, усмехаясь. Небрежно развалившись, он сидел в вагоне-ресторане — один локоть на спинке стула, другой на столе, ворот рубашки расстегнут, на столике в рюмках дрожало прозрачное вино, а собеседник — пожилой бухгалтер, возвращавшийся из командировки — понимающе улыбался и кивал головой.

— Разве можно так? — говорил ему Федор. — Ведь весь он, гад такой, из ваты. Сердце из ваты, понимаешь? А душа из ватина...

Бухгалтер кивал головой. Стучали колеса. Летели за окном убранные поля...

Виталий Горбатюк

АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ...

Низко над головой колыхались хмурые облака. Тревожно трепетали карликовые деревца, густые кусты иван-чая. На мгновение все затихло вокруг, и разом хлынул ливень, досыта увлажняя землю.

Вот уже вторые сутки трудились солдаты, сменяя одну позицию за другой, перебираясь с одной сопки на другую. Натужно урчали тягачи, карабкаясь по нехоженым местам. Замирали орудия, устремив в небо короткие стволы. Все — в одном направлении. И снова, в который раз артиллеристы засучив рукава долбили сцементированную землю, чтобы надежно маскировать орудия.

Солдаты старались вовсю. Смотрел я на них и удивлялся: откуда только у них силы берутся? Особенно поражал всех своим старанием заряжающий Костя Прокофьев...

Помнится, еще в училище мы, молодые курсанты, часто поругивали своего совсем юного лейтенанта за то, что он без устали заставлял нас на огневой подготовке выполнять одни и те же команды, добиваясь четкости действий. Таскали мы с одного места на другое тяжелые орудия, и казалось, силы вот-вот оставят. Хотелось бросить все, присесть хотя бы на минуту. Но тут, словно угадывая наши мысли, лейтенант говорил зычным голосом:

— Повторим еще раз. Чувствую, что устали немного. Соберитесь, взбодритесь, — и добавлял известную фразу: — Тяжело в учении — легко в бою.

Ох уж этот лейтенант. Правда, прошло время, и частенько вспоминали добрым словом своего командира. Самые невероятные нагрузки на занятиях для нас казались нормальным явлением.

На всю жизнь врезалась в память не однажды повторенная командиром взвода фраза: «Тяжело в учении...» Не раз приходилось о ней вспоминать...

Прибыл ко мне во взвод новичок Костя Прокофьев. С виду парень ничего. Рослый, симпатичный. Но с ленцой. Солдаты готовили орудия к выходу в поле — Костя устраивал затяжные перекуры. На огневой позиции солдаты разворачивали орудия к бою, торопились: каждая секунда на вес золота, а Косте все нипочем. Он не спеша шел к снарядному ящику и так же неторопливо возвращался к казеннику орудия. Расчет из-за Прокофьева не укладывался в норматив. У всех давно отрыты участки для укрытия орудия — Костя только собирается это делать. Товарищи сердились, поторапливали его, но...

Поговорили мы с ним однажды. Предупредили всерьез. Думали, поможет. Но не тут-то было. Вышли на полевые занятия, а у Кости вдруг плечо заныло. Жалостливо стал упрашивать:

— Умаялся, товарищ лейтенант. Перекурчик бы.

Однажды его отпустили в увольнение. Размышляли над тем, отпускать его или нет, но тут подошел сержант Александр Коноплев и говорит:

— Пусть сходит в увольнение Прокофьев. Может, это его встряхнет.

Так и решили. Возвратился Костя из увольнения, а в казарме только и разговоров, что о нем. Николай Истомчик, друг Кости, очень веселый солдат, сыпал налево и направо:

— Ребята, Костя, кажется, влюбился в молоденькую библиотекаршу из Дома культуры. Пока мы кинофильм смотрели, он все книги и журналы у нее перечитал...

— Костя? — усмехнулся Владимир Козаченко. — Не верю.

— Во что не веришь? Что он влюбился?

— Ну, на это, допустим, у него способностей хватит. А вот книги читать — сомневаюсь. Он же на ходу спит.

Костя сидел в сторонке, слушал-слушал, не выдержал:

— А между прочим, скажи мне, академик, — это так солдаты называли Козаченко за большие познания в радиоэлектронике, — какую повесть написал Есенин в свои двадцать лет?

Козаченко пожал плечами, почесал затылок, задумался.

— То-то. Критиковать все мастера, — сказал Костя.

Он многозначительно поднял вверх указательный палец и продолжал:

— Между прочим, Есенин написал повесть «Яр». Почти половину ее я уже прочел.

Прокофьев с торжественным видом протянул томик Есенина.

— Ладно, сдаюсь, — сказал Козаченко. — Только, как ви-

дишь, Есенин в двадцать лет написал повесть, а что ты успел сотворить в такие же годы?

— Влюбиться, — весело вставил Истомчик.

— Только и всего, — заключил Козаченко.

Костя молчал.

Снова пришло воскресенье. Ребята готовились в увольнение. Костя остался в части. Ходил сам не свой.

Возвратился из увольнения Николай Истомчик и к Косте:

— Показалось мне, что библиотекарша сероглазая все тебя высматривала.

Костю это известие не очень обрадовало. Он только буркнул:

— С чего вдруг? Книгу возвращать еще срок не подошел...

На следующий день на занятиях по огневой службе Костя был как заведенный. Даже когда наступил перерыв, торчал у орудия, поправлял чехлы, аккуратно укладывал снарядные ящики. Расчет выполнил в тот день нормативы с отличной оценкой. Все удивлялись. Костю будто подменили.

Прошло еще немного времени, и на тактических занятиях рядовой Прокофьев быстрее всех доложил о готовности, первым отрыл ячейку для укрытия орудия, помог молодому солдату Сергею Егорову.

Когда все было закончено в срок, пошли по кругу сигареты. Гудели натруженные руки. К Косте подошел Сергей Егоров и спросил:

— Неужели ты не устал?

— Устал, — ответил Костя.

Подумал с минуту и добавил:

— Знаешь, есть одна мудрая поговорка: «Тяжело в учении — легко в бою».

— Знаю.

— Знать — полдела. Нужно хорошо почувствовать, — наставлял Костя.

Вскоре батарея возвратилась с тактических занятий. Косте Прокофьеву за усердие объявили благодарность, написали в боевом листке.

Солдаты собирались в увольнение. Костя в отутюженном обмундировании расхаживал из угла в угол, посматривая на часы...

Эмилия Кундышева

ТЕТЯ ДУНЯ

Только тетя Дуня собралась спать, как в избу постучали. Пройдя темные сени, тетя Дуня открыла запертую было на засов дверь и в сумерках с трудом рассмотрела перед собой незнакомую девушку.

— Здравствуйте! — поздоровалась девушка звонким голосом. — Можно к вам?

— Пожалуйста, — посторонилась тетя Дуня, пропуская гостью в избу.

Очутившись в светлой горнице, девушка взглянула на тетю Дуню большими сияющими глазами и спросила:

— Вы Колина мама? Да?

— Ну я, — кивнула тетя Дуня, оглядывая гостью.

Голубой плащик ее был темным от дождя, влажные светлые волосы выбились из-под прозрачной косынки и прилипли к розовым усеянным дождинками щекам; по белой блестящей сумочке, перекинутой через плечо, на половицы стекали струйки воды. Девушка, улыбаясь, смотрела на тетю Дуню.

— Проходите, раздевайтесь, — предложила тетя Дуня.

Девушка, видно, только этого и ждала — быстро сняла плащик, бросила его на лавку у стены, скинула у порога туфли. Оставшись в зеленом свитерке и черных брючках, на цыпочках прошла к столу и села на табуретку, зажав между коленок покрасневшие от холода ладошки.

Тетя Дуня села напротив и выжидающе посмотрела на гостью. Та смущенно засмеялась и, явно волнуясь, как-то сбивчиво заговорила:

— Я знаете кто? Я — Марина. Коля вам писал про меня... Понимаете, мы с девчонками с фабрики в Новгород на экскур-

сию приехали, на два дня, по путевкам. Завтра назад должны возвращаться... Сегодня по городу походили, потом девчонки по магазинам побежали, а я подумала: а что, если Колину деревню посмотреть съездить? Он мне говорил, что от нее до Новгорода полчаса на автобусе, и все расхваливал ее, какая она красивая, недаром Красивой называется... Ну я села в автобус и приехала... Походила, посмотрела... А оказывается, обратный автобус только завтра утром пойдет... И дождик начался. Ну я и решила — зайду к Колиной маме... Он мне много о вас рассказывал, говорил, что у него никого на свете из родных, кроме матери, нет, а я его еще просила: «Съездим к ней, я хоть познакомлюсь», а ему все некогда — «потом» да «потом»... А я вот взяла сейчас и пришла, раз так получилось. Спросила по дороге, где дом Назаровых, и пришла...

Девушка от смущения закусила губу и вопросительно уставилась на тетю Дуню.

— Вон оно что, — сказала тетя Дуня, выслушав гостью.

Она встала, подошла к окну, постояла, будто пытаясь рассмотреть, что делается в темном дворе в сентябрьскую непогоду, потом задернула занавеску и вернулась к столу.

— Значит, ты Марина.

Марина смущенно кивнула.

— Ну что ж, Мариночка, — тетя Дуня погладила рукой плетеную салфетку на столе, — давай ужинать. Небось проголодалась с дороги?

— Да нет, что вы! Я сыта, — заговорила Марина. В голосе ее послышалась радость оттого, что затянувшееся было молчание нарушилось. — Может, только чаю горячего, а то я замерзла очень.

— А ты валенки надень...

Тетя Дуня достала с печки большие серые валенки и подала Марине. Та сунула в них ноги, посмотрела на себя в зеркало шкафа.

— Ой, какая я в них смешная!

Принялась крутиться-вертеться перед зеркалом. Заметив, что тетя Дуня направилась в кухню, спохватилась:

— Давайте помогу...

Пока тетя Дуня наливала в электрический чайник воду, доставала из погреба творог, Марина носила из кухни в комнату хлеб, посуду; старательно накрывая на стол, явно демонстрировала свою хозяйскую сноровку. При этом она восхищенно говорила:

— Надо же, как у вас хорошо! Телевизор, цветы! А какое покрывало на кровати красивое!

— А чем же мы других хуже? — степенно отвечала тетя Дуня. Поставив на стол чайник, спросила:

— Ну так как там Николай?

— Хорошо, — с готовностью ответила Марина и начала рассказывать о том, что Коля доволен, что к ним в город на стройку приехал, — его уже и бригадиром сварщиков назначили, зарплату хорошую дали, в очередь на квартиру поставили...

Она подошла к мелким фотокарточкам, висящим под стеклом на стене; найдя среди них фотографию Коли, обрадовалась:

— Ой, Коля! Совсем как школьник!

— Это он после армии, когда в Новгороде на заводе работал, — пояснила тетя Дуня.

— А это вы молодая? Да? — удивилась Марина.

Тетя Дуня усмехнулась:

— Что, не узнать?.. Это я теперь стала такая — не обхватить, а тогда, после войны, худющая как палка была... Ну ладно, садись.

Марина села за стол и с аппетитом принялась за еду.

— Сколько же тебе лет? — отпив глоток из блюдца, спросила тетя Дуня.

— Восемнадцать, — ответила Марина и, как бы оправдываясь, сказала: — Я знаю, Коля старше меня на восемь лет, но это же ерунда — парень и должен быть старше девушки.

— А где же вы с ним познакомились? — макнув в чай кусочек сахара, поинтересовалась тетя Дуня.

— Где? — Марина смущенно улыбнулась. — На улице. Я шла, а он меня остановил, спросил, как на почту пройти. Ну я показала. По дороге познакомились, разговорились, а на следующий день выхожу с работы, а он меня возле фабрики у проходной поджидает, в руке два билета в кино держит...

Тетя Дуня допила чай, отодвинула чашку.

— Ну а что же вы дальше делать собираетесь?

Марина быстро заморгала длинными светлыми ресницами:

— Понимаете, я живу со своей тетей в одной комнате, а Коля пока в общежитии... Так что Коля считает, куда торопиться?! Вот когда очередь его на квартиру начнет подходить, тогда мы, конечно, заявление подадим... Только еще неизвестно, сколько ждать... Да ведь он говорил, что писал вам про это...

Тетя Дуня кивнула:

— Ну ладно, ты чай подливай.

Марина налила еще чаю, взяла из вазочки конфету, засмеялась:

— Коля такой чудак! Знает, что я сладкоежка, так как получка — вот такой пакет конфет мне покупает... — Чувствовалось, что о Коле она может говорить бесконечно.

Потом, посерьезнев, рассказала о себе: что мать умерла, когда она была еще маленькая, отец женился и уехал с женой на Украину; что с детства живет у тетки, сейчас работает швеей и собирается поступать в техникум...

Затем вежливо спросила тетю Дуню про ее жизнь, и та рассказала, что муж погиб на фронте, что она все годы проработала в колхозе дояркой, а теперь на пенсии, но без дела не сидит — с хозяйством хлопот хватает...

Поболтав еще немного, решили ложиться спать. Марина, освоившись в доме, по-хозяйски убрала со стола, вымыла под рукомойником посуду, а тетя Дуня открыла стоящий в углу старый, но крепкий еще сундук, достала глаженое, аккуратно сложенное белье с прошивками и застелила кровать. Себе же устроила постель на оттоманке.

Погасили свет. Марина разделась, быстро нырнула под одеяло, сладко вздохнула:

— Хорошо! Белье речкой пахнет...

В темноте поговорили еще немного, Марина стала вспоминать, как сегодня по деревне гуляла и представляла все: вот здесь на берегу Коля мальчишкой, наверное, с удочкой стоял, здесь в школу бегал, тут через забор перелезал... Помолчав, вдруг тихо и быстро, куда-то в одеяло сказала:

— Хотите, я вам признаюсь?.. Знаете, я, вообще-то, еще в Новгороде подумала: а что, если к Колиной маме съездить?! Только как-то неудобно было. А когда автобус не пришел и дождик начался, тогда точно решила... Мне сердце подсказывало, что все хорошо будет. У меня всегда предчувствия сбываются...

Она еще спросила, как у тети Дуни со здоровьем, и, не дослушав, заснула.

Тетя Дуня долго ворочалась в темноте, вздыхала, несколько раз вставала и ходила в кухню пить валерьянку.

Утром тетя Дуня разбудила Марину:

— Вставай, Мариночка, автобус скоро пойдет. Я уже и блины напекла.

Марина открыла глаза, капризно по-детски сказала:

— Спать хочется...

Потом поднялась, потянулась, зевнула. Тетя Дуня поставила у кровати туфли.

— Вчера их на печку сунула. Вроде высохли...

Быстро одевшись, Марина подошла к окну, обрадовалась:

— Ой, сегодня солнышко!

Вымылась под рукомойником, промокнула лицо поданным тетей Дуней свежим полотенцем, села завтракать.

— Ты ешь, наедайся, — приговаривала тетя Дуня, подкладывая ей на тарелку со сковородки блины, — еще когда обедать будешь...

Когда Марина надела плащ, косынку, подала ей сверток:

— Это в дорогу. Здесь хлеб, яйца, конфетки...

Марина сунула сверток в сумочку, вдруг обняла тетю Дуню, поцеловала.

— Спасибо вам, — пряча лицо, забормотала она, — спасибо, что так меня встретили. — Она засмущалась, засмеялась: — Представляю, как Коля удивится, когда я приеду и скажу: «А мы уже с твоей мамой познакомились!..»

Тетя Дуня пошла проводить ее на крыльцо.

— Может быть, что-нибудь передать Коле? — напоследок спросила Марина.

— Да что передать? — сказала тетя Дуня. — Я сама, если что, напишу ему...

Марина спрыгнула с крыльца и, помахав рукой, побежала на остановку к подошедшему автобусу.

Только Марина уехала, в избе появилась Петровна, соседка.

— Михайловна, — начала она прямо с порога, — что хочу спросить тебя... Что за девка к тебе приезжала? Вчера на дороге остановила, спрашивает, как к Назаровым пройти, а сейчас, смотрю, на автобус побежала. А?

— От Николая она, проездом, — прибирая на столе, нехотя ответила тетя Дуня.

Петровна пристально взглянула на нее, всплеснула руками, быстро заговорила:

— Ой, не могу! Ну и девки нынче пошли!.. У мужика в Новгороде жена, ребенок, ждут не дождутся, когда он на новом месте устроится, квартиру получит, а они... уж тут как тут, на шею ему вешаются! Да еще в чужой дом нахально являются!

— Да не знала она ничего, — тихо сказала тетя Дуня и задумалась.

— Не знала?! — Петровна испуганно вытаращила глаза, прикрыла ладонью рот и, покачав головой, жалостливо спросила:

— А ты хоть сказала ей? Что она?

— Ничего я ей не сказала, — вздохнула тетя Дуня, — с тем и уехала.

— Да как же так? — ахнула Петровна.

— А так, — веско ответила тетя Дуня, — сама подумай: она у меня в гостях, а скажи я ей, сразу б получилось, что чужая она в доме, хоть беги из него. А на дворе ночь, непогода... Опять же с бедой такой еще натворила бы чего сгоряча в дороге. Ей еще до дому-то ехать и ехать...

И заметив, что Петровна теперь понимающе кивает, посуровела и сообщила:

— Сейчас на почту пойду, Кольке телеграмму дам. Чтоб немедленно приезжал. У меня с ним, с прохвостом, разговор будет.

Анна Сухорукова

МИТЯ ВЕРНУЛСЯ

Митя вернулся. Вчера Светка звонила, сказала, что Митя вернулся. Рая звонила, что видела Митю из окна троллейбуса. Славка сказал, что в институте приказ висит, что с двадцать пятого ноября Чернов зачислен. Шура позвонил, сказал, что ему вчера Митя звонил.

— Ну и что? — спросила Таня. Шурка засопел. Таня послушала его сопение и повесила трубку.

За окном дождь. Вид из окна — гравюра: черные ветки молящихся деревьев, темно-свинцовое небо, вороны. Наверное, мокрые. Большие черные вороны с грязно-серыми манишками. Идет дождь. Он шел вчера. Шел позавчера. Он шел еще тогда, когда Таня не знала, что Митя вернулся. Он, наверное, и завтра будет идти. Он стучит и стучит о подоконник. Он выбивает своей дождевой морзянкой два слова — «Митя... вернулся...»

Таня закрывает глаза и слышит, как идет дождь: Митя вернулся. Не один. Жену привез. Алку.

Таня открывает глаза. Дождь. Свинцовое небо в черных мохнатых лохмотьях туч. За окном — смутный Танин силуэт. Таня прижимается носом к стеклу.

— Ну вот, — говорит она, — Митя вернулся.

Парок от теплого Таниного дыхания серым пятнышком распластывается по стеклу и быстро тает.

Таня берет белый лист бумаги и черный угольный карандаш. Сердце стучит громко, неровно, соревнуется с дождем. Руки четко наносят уверенные линии на бумагу. Вот круглый до тошноты, лунообразный овал ее лица. Вот брови — островерхие крышечки над слуховыми окошками круглых глаз. Вот нос — ни прямой, ни кривой, ни большой, ни маленький. Рука на миг замирает, а по-

том честно и зло, вминая карандаш в бумагу, сажает на самый кончик его жирную конопушку. Их у Тани много. Но эта главная. Она не проходит, не бледнеет и даже не сереет никогда — ни зимой, ни осенью. Ярко-рыжая, она горит на кончике Таниного носа — глупая и нелепая.

Таня бросает карандаш. Зачем рисовать дальше? Дальше — пухлые губы и пухлый круглый подбородок.

Полчаса назад звонила Ленка, сказала, что все мужики сволочи. Звонила тетя Ляля, мамина подруга, сказала, что все проходит. Все-все. И скоро Таня даже не вспомнит о Мите. А если и вспомнит, то с безразличием.

Таня поворачивается к маминому портрету. Лучистые мамины глаза, такие же пронзительно синие, как у Тани — единственное, что унаследовала Таня от маминой красоты, — сияют улыбкой, почти такой же живой, как у живой мамы.

«Интересно, что сказала бы мама?» — думает Таня. Мама молчит. Таня подходит к зеркалу. В зеркале Таня видит себя — круглое лицо и грустные глаза. Она отворачивается от собственного взгляда и встречает его на бело-угольном листе бумаги.

«Что же он мог любить во мне?» — думает Таня. А рука тянется к листу бумаги, берет его и мнет, мнет, мнет, пока не сминает в плотный ком.

— Его жена, конечно, красавица. Его жена... — Танины губы замирают на этом слове. Она сдергивает со стола скатерть.

Под скатертью старая клеенка. На клеенке бледные чернильные пятна и бледные чернильные чертики. Так и не отмылись с той поры, как они делали на этой клеенке уроки. А вот клеточки морского боя не сохранились. Интересно, почему? Таня внимательно рассматривает клеенку, ведет по ней пальцем и уходит вслед за ним далеко назад...

...Однажды под столом Митины колени случайно коснулись Таниных, как касались их много раз. Но в тот последний миг детства они неуверенно замерли, напряглись, отпрянули и вдруг вернулись, сжали Танины колени, сжали крепко, властным захватом, а потом, ослабнув вдруг, отпустили... Целовались они стоя и молча...

Таня подходит к выключателю. Темнота бьет ее наотмашь. Таня почти падает в кресло, не в силах устоять на ногах. Синие, красные, фиолетовые, перемежаясь с зелеными вспышками, вертятся перед глазами резкие круги гулкого света. Дождь, как водопад, ворвался в слух, в сознание.

Да, за окном дождь. Под дождем люди. Где-то там, далеко за дождем — Танины друзья. Захоти она, они сейчас же будут здесь.

Таня не хочет плакать, не хочет видеть добрых участливых глаз, не хочет слышать никакого голоса.

«Но почему же он даже не написал мне? Почему же он *мне* не сказал ничего? Когда любил, говорил... А теперь? Он же письма писал: «Конопушка, здравствуй!..»

Таня бросается к секретеру. Вот... Тридцатого июля... «Я жив, здоров. Служба подходит к концу, и в мои мысли все властней вторгаются прежние планы, только теперь еще более точные и более нетерпеливые оттого, что служба, хоть и дала мне многое для моей будущей специальности, все-таки два года отняла. Задача — кончить институт в три года. Предпосылки — есть».

Таня тянет руку к телефону:

— Софья Андроновна? Нет, не зовите. Я приду сейчас — пусть спустится.

Она бросает трубку. Не попадая в рукава пальто, выскакивает на лестницу и уже на ходу, поймав несколько холодных капель запекшимися вдруг губами, натягивает его. А платок забыт. Бежит, гулко шлепая домашними туфлями без задников по лужам. Мокрые волосы, мокрые ноги, удивленные взгляды прохожих. Мимо! При чем тут взгляды, шлепанцы, волосы? Таня почти смеется. Сейчас, сейчас она увидит Митю. Все объяснится. Здесь близко, совсем близко. Вот и подъезд со знакомыми тетками-кариатидами. У первой все так же отбита кисть. Как же она держит навес? Тяжелый! Что за чушь... Митя!.. Сейчас выйдет Митя и все объяснит ей. Что? Таня останавливается, словно налетев на препятствие. Что же он объяснит ей?

Теперь дождь схватил Таню в тугие и холодные объятия, обвил скользкими веревками, велел втянуть голову в плечи, полез под пальто, смял и отогнул ворот кофточки, и вот уже нахальные струйки выбрали себе русло в ложбинке между грудями.

Таня встряхнулась, вначале головой, потом всем корпусом, и медленно побрела домой.

— Таня!

«Как хорошо было бы идти и идти дальше. И не слышать этого голоса. Никогда. Никогда больше не слышать его». Таня останавливается и поднимает на Митю глаза, полные надежды и страха.

— Таня, — говорит он и тихонько обнимает ее за плечи. — Ты совсем промокла.

Таня мотает головой. А слезы? Вот они — полились из глаз ноябрьским дождем.

Митя еще сильнее сжимает Танины плечи и как бы отталкивает.

— Понимаешь? Ты прости меня, Таня. То было детское. Понимаешь?

Таня кивает...

На сером веревочном ковре просыхают темные следы-лужицы. Таня, завернувшись в плед, сидит в кресле. Она давно уже спит, хотя в руке у нее все еще подрагивает Митино письмо от тридцатого июля.

«...Я еще в апреле отослал все контрольные работы за первый курс. Почти половина контрольных за второй у меня уже готова. К ноябрю же, когда вернусь, будут сделаны все. Разрешение сдать экзамены экстерном за первый и половину второго курса я, наверное, получу без труда. Тем более что из подразделения, где я служу, перешлют в наш деканат отдельную характеристику по проделанной мной работе. Так что, сама понимаешь, я бодр, а вот времени, естественно, не хватает. Хотя сейчас лето...»

Хм! Вот уже год, как Таня — штатный художник парфюмерной фабрики. Мнила себя монументалисткой. На диплом расписывала стену. И вот тебе — рисуй этикетки, придумывай фасоны бутылочек, коробочек, баночек для лосьонов, пудр, духов, шампуней и прочего, прочего, прочего.

Но что же тут можно придумать? Впервые в жизни Таня задумалась над тем, что все, безусловно, кончено. Разглядывая свою потешную армию юрких, неповоротливых, тонкобедрых и толстозадых, квадратных, треугольных, круглых, эллиптических, перевитых и скрученных, синих, красных и прочих бутылочек, она пришла к решительному выводу: что-либо новое привнести в подобную коллекцию форм невозможно!

— Нет! — Она повернулась к угрюмому человеку с длинным носом, который венчали толстые сильнолинзовые очки в изящной золотой оправе. — Нет, нет и нет.

Угрюмый человек пожал плечами, а тонкие губы его произнесли тихую равнодушную фразу:

— Стерпится — слюбится.

— Нет!

Главный художник протянул руку и неожиданно ласково погладил острое Танино плечо.

— Это совсем не такая уж безнравственная поговорка, как вам кажется. Она просто очень мудрая. — Он потянул Таню за собой. — Вот, — порылся в своем столе и протянул ей пачку журналов. — Посмотрите. Вы английский или французский знаете?

Таня растерянно то ли кивнула, то ли покачала головой.

— Подучите, вспомните, выучите, наконец. Почитайте эти журналы. Достаньте другие. — Он подтолкнул Таню к двери. — Вникните. Отвергайте только то, что знаете, — сказал он, стоя на пороге. — Хорошо знаете и посему считаете для себя неприемлемым.

Он закрыл дверь...

Мыть бутылочки Таня научилась хорошо. Наклеивать этикетки еще лучше. В конце каждого квартала все вставали к конвейеру.

Между авралами Таня училась. На курсы французского языка пришлось пойти. Английский вспоминала. Целыми вечерами в Публичке или дома сидела, обложившись словарями, читала журналы мод. Иногда вдруг начинала смеяться — неистово, неудержимо: она, Таня, которая всю жизнь покупала мыло «Русский лес» и зубную пасту «Детская» в киоске «Союзпечать», что рядом с домом, она — в центре и гуще парфюмерной моды, можно сказать, законодательница, вернее, может стать ею, уже готовится к этому.

Шурка сказал:

— Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Из рейса он привез ей десять журналов.

— На, я не жадный! — сказал он и немного посопел. — Но учти, ты могла бы иметь две кофточки и одну пару туфель фирмы «Аннет».

Тетя Ляля сказала и говорила это каждый раз, когда встречала Таню на улице или звонила ей по телефону:

— У тебя очень, очень женственная специальность. Надеюсь, что это пойдет тебе на пользу.

Ленка разливала в бутылочки, которые ей приносила Таня, цветочный одеколон и дарила своей бабушке и бабушке свекрови на день рождения и день ангела.

Однако белые листочки мелованной бумаги, как растерянные птички с перебитым крылом, слетали с Таниного стола на пол. Коснувшись ковра, они умирали. Через два-три дня, а иногда через неделю Таня собирала и выносила эскизы на помойку.

— Ну вот что, — заявила она однажды в обеденный перерыв, — предлагаю создать ликбез. Русское общество любителей искусственной природы и парфюмерных достижений. Тема первая — что есть новое вообще, в парфюмерии в частности. Как искать это новое, а главное — где. И нужно ли его искать.

— Я — за, — сказал главный художник. — Давайте создадим фонд. Мой вклад — пятьдесят журналов.

— Мой, — сказала Таня, — сорок.

Лидия Семеновна поколебалась и вдруг тоненьким от волнения голоском сказала:

— Двадцать пять.

— Не знаю, сколько их у Галки, но заберу все, — Гена встал. — Первой будет докладывать Татьяна.

Бюллетень общества, выпускаемый к каждой первой среде месяца, то есть ко дню заседания, скоро приобрел всефабричную известность под ехидной кличкой «Запашок». И тем не менее Таня отметила, что уже на третьем заседании народу было втрое больше, чем на первом. На четвертое пришли даже три продавщицы из парфюмерных магазинов.

А потом случилось...

— Я не буду это подписывать!

Станислав Сергеевич встал из-за стола.

— Поздравляю вас, Татьяна Григорьевна, с большим праздником. Настоящим! — он протянул Тане руку. — Спасибо.

Станислав Сергеевич сел.

— Садитесь, Татьяна Григорьевна.

Таня села напротив директора и стала смотреть на его кинематографические виски с проседью.

— Самое первое произведение, получившее признание, всегда самый большой праздник в жизни.

Таня согласно кивнула.

Станислав Сергеевич взял со стола изящную бледно-голубую коробочку с мраморным размывом книзу, на котором одиноко и ярко лежала красная гвоздика. Осторожно открыл ее, и на бледном шелке подстилки алыми каплями сверкнули два флакона.

— Казалось вычурным, оказалось простым, лаконичным, изящным.

— Ту бумажку, — Таня ткнула под локоть Станислава Сергеевича, — я не подпишу.

— Позвольте спросить, почему?

— Вот поэтому, — Таня вынула из полиэтиленового мешочка грязно-голубую коробочку, по краям которой, как из подтаявшего сугроба растекаются грязные потоки снега, расползались серого цвета разводы. На разводах лежала гвоздика. Определение цвета было оставлено на волю смотрящего.

В кабинете воцарилось молчание.

— Видите ли, Таня, — осторожно и тихо начал Станислав Сергеевич.

— Станислав Сергеевич, вы женаты?

— Нет. Вдовствую.

— А-а... А у вас есть... любовница?

— Н-нет.

— Может быть, вы влюблены в кого-нибудь?
— Что вы хотите?
— Я хочу, чтобы вы влюбились. — Танин взгляд оторвался от директорских висков, и теперь она смотрела ему в глаза своими круглыми ярко-синими незабудками.
— И что же прозойдет, когда я влюблюсь?
— Вы ответите мне на один вопрос тогда: вы бы подарили своей возлюбленной духи в такой упаковке?
Станислав Сергеевич устало потер переносицу.
— Эту бумажку надо подписать, Таня. Продукция пускается в серию.
— Я не подпишу эту бумажку, — Таня вновь перевела взгляд на директорские виски.
— Тогда мы обойдемся без вашей подписи.
— Правда? — Таня очень удивилась. — А разве можно? Это ведь будет противозаконно.
— Иногда можно.
— Не-ет. Я буду протестовать.
— Тогда я вас уволю.
— Но я же молодой специалист.
— Через месяц исполнится три года, как вы у нас работаете.
Таня задумалась.
— Я устроюсь на другую фабрику.
— Не устроитесь, — твердо сказал Станислав Сергеевич.
— Станислав Сергеевич, — сказала Таня вкрадчиво. — Поставьте за художника свою подпись.
— Нет, — сказал Станислав Сергеевич и заставил перевести Танин взгляд со своих висков на свои глаза.
— Тогда я не знаю, что делать, — Таня развела руками. — Станислав Сергеевич, — она потянулась к нему через стол. — Пожалуйста... придумайте что-нибудь... Вы же старый...
— Я не старый!.. — вспылил вдруг директор.
— Я хотела сказать — работник, — голос Тани дрогнул. — Вы обиделись?
— Нет.
— Конечно же, вы не старый, — горячо сказала Таня.
Санислав Сергеевич улыбнулся.
— Поезжайте к полиграфистам. Я сейчас напишу записку, — он потянулся к блокноту, — Васильеву. Скажете, пусть повторят опытную партию.
Он взял ручку и крупным четким почерком написал на листке три ровные короткие фразы. Подумал секунду и написал четвертую. Расписался. Сложил листок вдвое и протянул Тане че-

рез стол. Таня встала, обошла стол, обняла Станислава Сергеевича за шею и крепко поцеловала в щеку.

— Вы самый чудный и самый нестарый человек на свете.

...За три дня до Нового года Тане приснился сон.

Ей снилось, что она спит в кресле и видит сон. И в том сне она уже не спит, а смотрит в окно. За окном ночь, и она, как всегда, немножко подсвечена фонарем, что рыжеет рядом. И окно поэтому не черное, а серовато-золотистое, и даже неясно видны ветви дерева, которое тоже растет под окном. Во всем доме очень тихо, и даже лифт не жужжит, но в кране на кухне булькает, осторожно и редко капает вода, и по какому-то поводу ворчит холодильник.

«Наверное, потому, что он совсем пустой, — подумала Таня. — И вообще, зачем холодильник, когда есть зима?»

И вдруг Таня поняла, что она не просто так сидит, а во что-то очень напряженно вслушивается. И на сердце стало беспокойно, тревожно... Шаги! Ну конечно же, она их давно слышит, от них-то она и проснулась. Шаги миновали второй этаж, и теперь стало ясно, что сейчас, вот сию минуту они замрут у Таниной двери. Таня напряглась и в звонкой, ясной тишине ночи услышала звонок — его звонок: два длинных и два коротких.

Таня соскочила с кресла, запуталась в пледе, больно стукнулась коленкой о косяк двери, выскочила в прихожую и тяжелой, непослушной рукой повернула ключ. На пороге в тусклом ореоле лестничного света стоит Митя. Весь в снегу, раскрасневшийся, улыбающийся. От него пахнет морозом и снегом, а от полушубка — влажной овчиной.

— Таня. На дворе снег.

Таня рассмеялась.

— Пойдем, — Митя потянул ее за руку. — Погуляем.

И Таня, как была в халате и шлепанцах, шагнула через порог. И снова засмеялась. И Митя засмеялся тоже. И они побежали, перепрыгивая через две ступеньки, а перед последним маршем Митя посадил ее на перила, сам сел сзади, и они съехали вниз, спрыгнув, взялись за руки и, давясь от смеха, выбежали на улицу. Шел снег...

Таня открыла глаза.

— Митенька, ты мне снишься? — тихо спросила она.

В квартире было темно и гулко от тишины. На кухне из крана осторожно и редко капала вода, урчал пустой холодильник, а за окном шел снег. Долгожданный предновогодний снег. В золотисто-сером свете фонаря его полет был торжествен и пла-

вен. Его было много. И черные панели ночи, и влажные крыши рассвета всё плотнее и прочнее укутывались в его нежное белое тепло. И Танино дерево, трагически воздевшее ветви к небу, забыло, о чем молило небо. Ветви, как электрические провода в своих рубашках-изоляциях, спали в белом коконе снега, и зов весны должен был их разбудить теперь только через очень-очень много долгих дней.

«Как жаль, — подумала Таня. — Как грустно, что мне Митя никогда раньше не снился. Как странно...»

...Когда утром Таня шла на работу, снег тоже шел. Он шел и вечером, когда Таня возвращалась. Он шел весь следующий день.

И когда тридцать первого утром Таня открыла глаза и увидела снег, она поняла, что и сегодня, и ночью он тоже будет идти. И леса, и поля, и даже искусственные городские скверы утонут в глубочайших сугробах, и будет весело, и будет радостно. Будет настоящий Новый год, а потом зима...

Днем она встретила Митю. Они столкнулись прямо носом к носу и остановились пораженные. Потому что спокон веку их дома стоят почти рядом, и раньше они встречались на этом углу каждый день, а за эти пять лет встретились в первый раз.

— Здравствуй, — сказал Митя.

— Ты мне третьего дня снился, — сказала Таня.

— Правда? — Митя обрадовался. — А что снилось?

— Ты, — улыбнулась Таня.

— Нет, правда, что? — Митя потянул ее за руку. — Что?

— Ночь, тишина, а потом пришел ты...

— И что?

— Сказал, что идет снег.

— А потом?

— Позвал меня гулять.

— И ты пошла?

Таня кивнула.

— Мы еще съехали по перилам с последнего марша.

— Да? Как всегда?!

— Ага.

— А помнишь, как мы налетели на Зубочистку? Ох и орала же она.

— Мы ей сбили парик. Заорешь тут.

— Ага.

— Ну, я пошла, — сказала Таня.

— Ты куда? — растерялся Митя.

Таня пожала плечами.

Кончался день, кончался старый год. Таня зашла в магазин,

в котором уже не было суеты, и купила бутылку шампанского. Пришла домой, открыла холодильник и торжественно водрузила бутылку туда.

— Вот, мой милый. Поработай-ка!

Без трех минут двенадцать, твердо решив больше телефонную трубку не поднимать, Таня вынула бутылку, открыла и точно с первым ударом курантов налила в мамин любимый хрустальный бокал пенистую желтоватую влагу, быстро оторвала маленький кусочек бумаги, написала на нем корявыми торопящимися буквами желание, подожгла бумажку, обжигая пальцы, дождалась, когда последние серенькие пепелинки слетели на все еще шипящую поверхность и с последним ударом поднесла бокал к губам...

Потом был звонок... На пороге стоял Митя.

— Боже мой! Ты? Который час?

— Десять.

— Ну, ты даешь! — Таня потерла непроснувшиеся глаза. — Ну, заходи.

— Поздно легла?

— В полпервого.

— И не выспалась до десяти часов?!

— Не-а. Я бы еще часика два поспала, если бы ты меня не разбудил.

— Что ты сегодня делаешь?

Таня уставилась на Митю. Сон, как весенний снег, растаял в ее синих глазах, и в них загорелось любопытство.

— Ты что?

— А что?

Таня подошла к секретеру, открыла, взяла с полки бледно-голубую коробочку. На миг обняла ее ладонями и даже вдруг прижала к себе, а потом тяжело, с трудом отвела руку в сторону.

— На.

Митя взял коробочку и вопросительно посмотрел на Таню.

— Ну что ты смотришь? — рассердилась Таня. — Подаришь жене. Когда мирятся, мужчина должен подарить женщине что-нибудь красивое. Разве непонятно?

— А это тоже произведение вашей фабрики? — Митина рука потянулась к другому — дымчатому — футляру, на ровное чистое поле которого была кинута пригоршня снежно-розовых жемчужин.

— Нет, — Таня спиной загородила полку.

— А что это?

— Франция. Фирма «Шанель».

Митины глаза стали злыми и одновременно ироничными.

— С тобой кто-нибудь ссорился и мирился?

Таня рассмеялась и отошла от секретера.

— Почти так... Это мне привез директор из Франции. Как наглядное пособие, понимаешь?

Митя промолчал.

— Хочешь шампанского?

Он подошел к столу и заглянул на донышко бокала. Таня заглянула туда вместе с Митей, и они оба увидели на стенках черно-серые следы пепла.

Митя перевел взгляд на Таню. У него в глазах загорелся огонек, который в другое время она назвала бы надеждой. Таня покачала головой.

— Нет, Митя, — сказала она тихо, — это было совсем другое желание.

Наталия Никитайская

МОНОЛОГ О СВЕКРОВИ

Могу поспорить, ни у кого нет такой свекрови, как у меня. Прихожу на дежурство, девчонки ахают: «Какая кофточка — блеск! Сама вязала или опять свекровь?» — «Конечно, свекровь», — отвечаю. А девчонки снова ахают: «Вот нам бы такую!» — «Да берите, — говорю, — с кофточкой в придачу!» Улыбаются — не верят, что такую свекровь отдать можно.

Все же видят, как она меня от всего освободила. По магазинам за продуктами я не бегаю, обедов не варю. Живу барыней.

Свекровь мне очень понравилась, когда я ее первый раз увидела. Никита, муж мой будущий, привел меня знакомиться с родителями. Приняли меня замечательно. На столе даже семга была, я ее до этого и не пробовала. А разговор за столом — да мне и не снилось такое, очень я боялась, когда шла, как меня примут, — так вот, разговор дружелюбный, ласковый. Сразу видно, семья дружная и все в семье добрые, особенно она, свекровь будущая. «Я, — говорит, — не придерживаюсь сословных различий. Это неважно, что ты дочка медсестры и сама медсестра, а Никита — сын профессора и сам будущий профессор. Важно, что вы любите друг друга. А уж я поперек счастья сына вставать не буду, я его счастье буду охранять, как верный сторожевой пес». Весело так сказала, и все рассмеялись радостно, и я тоже засмеялась.

У нас дома мы редко собирались вместе за столом — кто пришел голодный, тот и садится есть, не дожидаясь остальных. Семья у нас большая и, наверное, тоже дружная, но каждый живет как бы самостоятельно.

А у свекрови все — любой пустяк, не говоря уже о важном — обсуждается на семейном совете. Где летом отдыхать свекру,

кому оставить собаку, когда нам с Никитой взять отпуска, рожать ли мне в этом году или подождать пару лет, пока Никита защитится. И обычно выясняется, что у свекрови есть по каждому поводу соображение, и это соображение самое стоящее, и не прислушаться к ее советам невозможно. Никита, во всяком случае, всегда ее слушается. Никита говорит, что не помнит ни одного вечера из своего детства, чтобы мамы не было с ним, — всю себя свекровь посвятила сыну и мужу. Из-за них и с работы ушла, стала домохозяйкой. А работала она контролером в сберегательной кассе. Там и с будущим свекром познакомилась.

Нет, конечно, свекровь у меня редкая женщина. Скажем, придут гости ко мне. Она ни за что меня на кухню не пустит. Сама бежит. Наготовит, нажарит-напарит. Стол накроет, накормит гостей, поговорит с ними, обо всем расспросит. И гости довольны — обычно это девчонки мои с работы. Профессор придет, не чинясь за столом посидит, профессорша такая внимательная. Потом на дежурстве обсуждают и мне завидуют: «Ну, Катька, — говорят, — привалило тебе счастье с такой свекровью». А потом одна из них отведет меня в сторонку да и скажет: «Знаешь, я чего к тебе вчера приходила? Хотела пожаловаться: Вовка запил опять. Такая тоска! Да при твоих постеснялась».

Но, видно, правду говорят, что мало человеку всего. Уж как мне у свекрови хорошо, а чего-то еще хочется. И не просто хочется, а так, что плакать тянет. Как-то пришла ко мне Маргарита, сестра моя старшая. И, на счастье, дома никого не было, так я хотела по душам с сестрой поговорить.

«Не знаю, — говорю, — что со мной делается. Только чем мне здесь лучше, тем мне хуже». — «Это, — сестра отвечает, —заелась ты, милая. Тебя бы к моей свекрухе на выучку: ведь и живем отдельно, а как заявится — так настроение испорчено на месяц вперед. А подарки! Смех сказать: кило яблок принесла, так весь вечер сидела расхваливала, какой сорт прекрасный!» Я говорю: «Да не о том я, Маргарита. Она у тебя пришла и ушла. А ты в доме хозяйка. А я? Шагу не могу без спросу ступить. Что, как и когда мне делать — все свекровь распределяет, причем на себя всегда больше берет, так что мне даже и возникать неудобно». — «Ну, не думала я, что ты такая дура. Тебе что, самой стирать и готовить охота? Да ты просто неблагодарная, вот ты кто!» Мне и сказать нечего. Сама чувствую, как неубедительно то, что я говорю. К тому же Маргарита в точку попала: сама уж я себя в неблагодарности подозревала.

И такое чувство вины и обязанности перед свекровью во мне выросло, что я уж и в глаза ей посмотреть стесняюсь. И что она мне скажет, я на все: «Да, мама. Хорошо, мама». И не хочу

иногда, и не согласна, а не возражаю. Думаю, она ради меня с Никитой убивается, а я из-за пустяка спорить буду — этого еще не хватало. А Никита, дурачок, радуется: «Как это хорошо, Катенька, что вы с мамой так легко общий язык нашли. Умница ты у меня, почти как мама». Радуется и не замечает, что этот общий язык не только у меня — у всей семьи один: язык свекрови.

Но это я и сама-то недавно поняла, куда уж ему, для него слово мамы закон, тем более что дар такой у моей свекрови — умеет она человека обязать.

Меня, во всяком случае, не то что обязала — связала по рукам, по ногам. Чувствую себя в доме скованно, без указания уж и не делаю ничего — обязательно не так окажется. А по указке делать не хочется.

Тут дочки у меня родились, двойняшки. Принесли мне их первый раз кормить, я с такой надеждой в личики их маленькие заглядывала: вот, думаю, с вами все изменится, вы-то и вернете мне устойчивость. Но не тут-то было. Молоко у меня быстро кончилось. Месяца два грудью кормила, не больше. Никита меня орехами грецкими, изюмом завалил, чай заставлял пить литрами. Ничего не помогло. Свекровь даже консультацию у какого-то светилы организовала. За большие деньги. Светило посмотрел, покачал головой: «Поздно, — говорит, — пришли. Ничем помочь не могу». И денег не взял.

А для свекрови этот случай обернулся еще одной возможностью собой семье пожертвовать. «Иди, — говорит, — Катенька, на работу. С девочками я и без тебя управлюсь». Я хоть и отговаривалась, но возможности пойти на работу обрадовалась. Работаю я операционной сестрой, еще до замужества на внутрибольничном конкурсе завоевала звание лучшей молодой специалистки. Больные меня любят, считают, что у меня легкая рука. А может, и правда легкая: я когда иглу ввожу, каждый нерв больного, как свой, чувствую. Девчонки говорят: «Ерунда. Мистика». А я знаю — не ерунда. Когда человеку сочувствуешь, как будто немного им становишься. А я больных жалею. С врачами у меня тоже отношения хорошие, им нравится моя «аккуратность и высокая степень самостоятельности» — это так мне заведующая отделением написала в характеристике.

На работе мне легко. Распрямляюсь я на работе. Но о семейных делах мне тут посоветоваться не с кем. В свободную минутку начнут девчонки свои горести изливать да приговаривать: «Ты этого не знаешь, тебе трудно понять». А уж горести так горести, не чета моим. Я и заикнуться не могу, как мне дома не по себе, как я от зависимости, от несамостоятельности, от ненужности

своей устаю. Не поймут меня девчонки, решат, что прибедняюсь, а этого у нас в коллективе не любят.

Уставать я стала дома немилосердно. Еще только до звонка дотрагиваюсь, а меня уже сковывает, как реку льдом: ходи по мне, топчи меня — все приму, любую заботу о себе, ни от чего отказаться не смогу.

Лежу после дежурства на диване, уставлюсь глазами в цветной телевизор, жду, когда ужинать позовут, и тошно, хоть вой. Думаю, и что у меня за характер скверный? Другая бы на моем месте радовалась, что ничего решать не надо, делай, как скажут, а мне тошно. И не хватает чего-то. А спроси, чего? — назвать не могу. И слышу я с дивана, как свекровь доченек кашу есть уговаривает, и думаю: как же это получилось, что я и дочкам своим не хозяйка, и в доме у своего же мужа на птичьих правах?

Нет, думаю, хватит, дудки! И хоть деревяшка деревяшкой — дома я другой и не бываю в последнее время, — а иду на кухню. Иду, хотя знаю, что свекрови это неприятно будет, не любит она, когда к ней на кухню без зова приходят. Иду и волнуюсь — хоть и мелочь, а все-таки поперек.

Дочки мне радуются, а свекровь виду не подает, что нечто необычное происходит, а сама, обращаясь к внучкам, говорит: «Смотрите, внученьки, ма-а-ама пришла. Ма-а-ама устала на работе. Скажите мамочке: иди, мамочка, полежи, пока мы тут с ужином справимся». А я напряженно так отвечаю: «Да ничего, — говорю, — я посуду за дочками вымою». Начинаю посуду мыть и так нервничаю, что разбиваю тарелку. А свекровь еще ласковее, так что чуть сироп не льется: «Ну вот видите, внученьки. Говорили же мы мамочке — отдохни. У мамочки руки от усталости дрожат — шутка сказать, столько уколов сделать да столько часов у операционного стола простоять!»

И начинает мне казаться, что отлично свекровь понимает, из-за чего у меня тарелка из рук вывалилась, что это она нарочно надо мной насмехается. И почему бы не насмехаться: вылезла я со своим протестом и сразу носом в лужу. Слезы у меня на глаза навернулись, забралась я опять к себе на диван, коленки к животу подтянула, голову руками закрыла и плачу про себя, чтобы никто не услышал. А тут Никита пришел из библиотеки, заглянул в комнату, увидел меня, шепотом сказал сам себе: «Спит», — и, видно, хотел уйти уже.

Вскинулась я. Никита вздрогнул даже, подбежал ко мне: «Что с тобой? Ты не заболела?» — «Нет, — говорю, — но скоро заболею. — Заплакала тихонечко, уткнулась в любимую Никитину жилетку. — Давай, — говорю, — уедем отсюда. Комнату снимем. Поживем самостоятельно». — «Это, — говорит, — дело серьезное.

Как же мы... Куда же мы...» — растерялся Никита. «Но я-то больше так не могу, не могу! Не могу!»

Тут нас ужинать позвали. И Никита, святой человек, привык, что в этой семье секретов нет, — продолжил разговор о переезде за столом: «Катенька считает, что нам было бы неплохо комнату снять, пожить одним». Что тут поднялось! Свекровь в слезы: «Как это — комнату? Как это?.. Чем тебе дома плохо?.. Кто тебя здесь обидел?.. А если ты так из-за разбитой тарелки, то нашла из-за чего...» — глаза у свекрови испуганные. Я на свекра посмотрела, и свекор начал говорить, что я не права, что с девчонками по углам мыкаться не дело, будут болеть, а это уже не шутки. Говорит одно, может и справедливое, а думает наверняка что-то другое, потому что таких глаз при взгляде на меня я еще у свекра не видела: глаза сочувственные. Да потом я и речь обдумала: он же единственный всерьез принял мое желание и обсуждал вслух возможные препятствия. А про Никиту и сказать нечего, сидит мямлит: «Катенька считает, мама думает...» Между двух огней. И твердости не хватает один какой-нибудь выбрать. К тому же я очень на него рассердилась, что он взял и вот так запросто мою просьбу к нему, еще не продуманную до конца, еще только желание, вынес на обсуждение мамы и папы.

Так все ничем и кончилось. Про себя я этот случай назвала в шутку «плач по разбитой тарелке», хотя тарелка была, конечно, ни при чем. А самым страшным результатом «плача» стало то, что Никита начал вызывать во мне раздражение: доброта добротой, но не суметь понять и поддержать любимого человека в решительный момент, практически выдать его — это уже не доброта, а так, расплывчатость какая-то.

И стало мне в доме еще тяжелее. Свекровь делает вид обиженной, но смирившейся с моей неблагодарностью. Семейную жизнь строит по-старому, только меня еще меньше нагружает, сама все старается сделать. А во мне уже черствость появилась: и вижу дело — пройду мимо него, не нагнусь игрушки с пола поднять, пока свекровь не скажет.

А свекор мне при каждом удобном случае стал подарки делать: дорогие медицинские атласы. Вот, мол, есть еще и большая медицина, откуси от краешка, может на всю жизнь к этому караваю пристрастишься. Хороший человек у меня свекор, только времени у него нет в домашние дела вникать.

А Никита подлизывается, боится мне слово сказать, потому что видит, как меня каждое его слово сердит.

И как-то так получилось, что время идти на работу стало для меня счастливым, а время возвращаться домой — тяжелым, неприятным. И столько во мне усталости накопилось, как будто

я дома не на диване лежу, а вместо подъемного крана блоки на высоту девятого этажа поднимаю.

Тут как раз и представилась мне возможность отдохнуть. Утром прихожу на дежурство, а старшая мне и говорит: «Катерина! Я тебе давно отгул должна — взяла бы ты его сегодня, а то у меня с часами у Кузьминишны не вытанцовывается». Слушаю я старшую и думаю: отгул это хорошо, да ведь надо домой идти. Свекровью заведено: каждую свободную минуту все должны проводить дома, а тем более я — мать и жена. Но так захотелось по улицам побродить, кино посмотреть — одной побыть, скинуть хотя бы на время напряжение, в котором я дома, подумать обо всем спокойно. А почему бы и нет, думаю. Свекровь об этом отгуле не знает, и неужели я не имею права сама им распорядиться? И так мне захотелось отдохнуть от дружной семейки, что я на совесть свою прикрикнула — было у меня все-таки ощущение, что делаю я не совсем хорошо, — и пошла гулять.

Кино посмотрела — настолько дурацкое, что оно мне не мешало о своем думать. В мороженице посидела, в сквере напротив Казанского собора. Полюбовалась толпой. И все думала, думала. И мысли были такие грустные. Думала о любви к Никите, как всегда раньше с ним тепло было. Думала о подарках свекра. Хорошо бы, конечно, пойти дальше учиться. Но ведь тогда обязанность моя свекрови сразу ого как вырастет! А так не хочется еще за что-то ей благодарной быть. Мелькнула мысль о том, что не стоит быть такой щепетильной, — если человек на себя роль жертвы сам взял, пусть и дальше жертвует. От этой мысли стало стыдно. И потом жертва жертвой, но ведь забота о других со стороны свекрови только видимость, а на самом деле она о себе заботится — чтобы ее слушались, чтобы все по ее выходило, чтобы вся жизнь ее домочадцев была у нее на виду. Потом я подумала, что меня свекровь никогда не любила, только прикидывалась. Никиту она любит, дочек моих любит, а меня нет. Этого не докажешь, конечно, потому что даже не любя свекровь все для меня сделает: я теперь *ее* невестка, жена *ее* сына, мать *ее* внучек.

Очень здорово было бы уехать от нее. Хотя бы и комнату снимать. Но если вдуматься — об этом речи не было тогда за столом просто потому, что это само собою разумелось, — на что нам с Никитой отдельно жить да еще за комнату платить, на какие шиши? Странно все-таки получается, что два работающих человека, из них один с высшим образованием, не могут жить без поддержки со стороны, если у них двое детей. Скорей бы Никита защитился!.. А пока... пока нашли себе кормушку, пользуемся всеми благами жизни, да еще и недовольны, что от

нас благодарности требуют. Ну что мешает лишний раз сказать: «Ах, мама, как много вы для нас делаете! Я всем хорошим в своей жизни только вам и обязана. Вы у нас, мамочка, замечательная!» Ей этого хочется, а я пересилить себя не могу. Можно было бы, конечно, к моим уйти — да тесно у нас, и помогать мне будут хоть и от души, но из последнего.

Мысли о зависимости, о безвыходности были такими тяжелыми, что захотелось успокоить себя примерами другой, еще более тяжелой жизни. Все принимают помощь: Инку родители одевают, обувают; Людмила любовника богатого завела и всем говорит, что терпеть его не может, но уж очень он щедрый; Галинке с Вовкой свекровь посылки чуть не каждый месяц посылает, кто знает, может, Галинка и выпивки Володькины потому терпит, что от свекровиных подачек жалко отказываться. Тут я сама себя одернула. Это же надо, до какой черноты додумалась! Да и Людка и Галка любят своих мужиков до беспамятства, а всякое плохое о них так, в минуты усталости говорят.

Мысли меня одолевали тяжелые, да сознание, что гуляю я по собственной воле, а не потому, что свекровь сказала: «Все-то дома сидишь, цвет лица портишь, — иди погуляй, пока дочки спят, заодно Никиту встретишь», — одно это сознание меня успокаивало. И когда я в положенный час домой возвращалась, почувствовала в себе примиренность. Раз, думаю, нет у меня сил изменить что-либо, нечего воду мутить — надо подчиниться и не нарушать ни чужого, ни своего покоя.

Прихожу домой, смотрю, лица у всех хмурые, а самое хмурое у свекрови. Со мной сквозь зубы разговаривают. Сели ужинать — все молчат. А я за собой вину чувствую, на душе у меня кошки скребут, ну я и не выдержала: «Что это, — говорю, — вы молчите? Что случилось?»

Тут свекровь и заголосила — в первый раз я ее крики услышала, и, конечно, ничего приятного в этом не было: «Мы у тебя должны спросить, что происходит?! Где ты была?»

Я поняла, что свекровь узнала о моем отгуле — звонила, наверное, — и по наивности честно брякнула: «Да так, нигде. Я, — говорю, — отдохнуть хотела...» — «Отдохнуть?! — Свекровь прямо взбеленилась. — От чего отдохнуть? От детей, от мужа?! Да что ты дома делаешь?! Кто тебя здесь заездил?! Скажи лучше, что такого лопуха, как мой сын, обвести вокруг пальца ничего не стоит. Конечно, мы тут тебе верим, каждому твоему слову, а за тобой-то, оказывается, глаз да глаз нужен! Отдохнуть она, видите ли, захотела. А может, и отдыхала не одна. Да, может, уже и не первый раз — мы ведь тебя не проверяем, когда ты на

дежурство уходишь в ночь... А у тебя, может, любовник давно?!.»

Прокричала она это слово и сама испугалась. Муж весь побелел, но не от обиды за меня, раз не вступился, а от подозрения. Свекор поморщился. А меня это слово встряхнуться заставило. Никакой вины я уже за собой не чувствовала, видела только, что меня унижают, что ко мне несправедливы и что такое стерпеть нельзя. И я заорала в ответ: «Да! — кричу.— Да! Я плохая жена! А вы хорошая мать! Вы и вправду для счастья своего сына — сторожевой пес. Только вы так здорово это счастье сторожите, что из-за вас и сыну до него не добраться. И оттого, что вы хорошая такая, от вас не то что любовника... в петлю полезешь...»

Пальто схватила и на улицу. Бегу, слезы по щекам катятся, как у психопатки. Бегу, ничего не вижу! Ну и, разумеется, прохожего с ног сбила. А прохожий меня за плечи прихватил да как заговорит: «Катюша! Вы ли это? Что с вами? Что стряслось?» Смотрю, а это преподаватель наш из училища. Виталий Викторович. Я как увидела лицо его, доброе, сочувственное — всегда мне лицо его нравилось, — уткнулась в пальто его серое и заплакала.

Виталий Викторович меня к себе прижал, вокруг уже народ собирается, а он как прикрикнет: «Вы что, плачущей женщины не видели? А ну, расходитесь! А вы, Катя, не плачьте! Успокойтесь! Пойдемте ко мне, я тут неподалеку живу. Попьем кофе. Все мне расскажете. Вам будет легче».

И правда. Пришли мы к нему. Квартира коммунальная, комната небольшая и вся стеллажами заставлена. Виталий Викторович кофе приготовил прямо в комнате, в электрокофеварке. И пока готовил, все говорил, чтобы я не обращала внимания на хаос, что он живет по-холостяцки и его можно простить, что если бы он знал, что гостья придет, так подмел бы пол и тортик купил, а так к кофе есть только сушки.

Потом мы с ним кофе с сушками пили и я о своей жизни рассказывала. А Виталий Викторович внимательно слушал и смотрел понимающе, а иногда слово вставлял: «Нет, Катенька, не вините себя. Вы еще молоды и не можете всему дать точные названия, но интуитивно фальшивость своего положения вы верно почувствовали». Или: «Нет, Катюша, а тут вы не правы. Ваша свекровь любит и сына, и мужа, и внучек, и вас — вас тоже любит, только любовь ее особенная. В науке даже определение есть для такой любви: собственническая. И вы знаете, ваша свекровь — случай классический. Ведь почему у вас скандал разразился? Не такое уж событие, чтобы так бурно реагировать: подумаешь, невестка без спросу в кино сходила. Дело не в этом,

а в том, что вы о переезде заговорили. Скорее всего, свекровь ваша делает то, что делает, неосознанно, но механизм ее действий таков: сын, внучки, вы — могут отдалиться; неважно, что это будет, возможно, лучше для молодой семьи, — важно, что таким образом разрушается счастье свекрови. Вот и реакция: попытка очернить вас перед сыном. Не самый благородный способ, но... а вы дали вполне подходящий повод». Или: «Борьба за самостоятельность — это, как видите, не всегда слова. Зачастую мы и сами не понимаем, что боремся, а борьба идет не на жизнь, а на смерть».

А в заключение сказал: «Трудное у вас положение, Катюша. Ведь в любом случае вам предстоит воевать с любовью, какой бы она ни была. А это потруднее, чем воевать с ненавистью. Во-первых, на стороне любви всегда симпатия, традиционно; во-вторых, у вас плохие союзники, а в-третьих, ваш муж...» — «Нет у меня больше мужа!.. Предатель он!..» — «Это в вас сейчас обида говорит! Вы сейчас, в отчаянии, каких угодно ошибок наделать можете. Это, пожалуй, счастье, что вы именно меня сегодня встретили. А то, чего доброго, попали бы в беду».

А голос у него мягкий, густой — всегда мне его голос нравился. Я его слушаю, и так мне мирно становится, как в детстве, когда просыпалась по утрам.

А Виталий Викторович кофе мне подливает и говорит: «Вы ведь, Катюша, лучшей ученицей у меня были. Да и другие педагоги часто вас вспоминают. Вы прирожденный медик. Вам бы в институт надо». — «Куда уж мне», — говорю. И так жалко себя стало — я опять в слезы.

«Ну что это вы? Зачем вы себя хороните? И с детьми учатся. Трудно, не спорю. Но вам будет легче других: у вас база есть. И потом... такая свекровь! Она ведь для вас все сделает, пользуйтесь. — Виталий Викторович усмехнулся горько и мудро, как будто угадал мои мысли про это. — Впрочем, вы не из тех, кто пользуется. Вам надо в другую сторону отношения менять: заставьте свекровь с вами считаться, докажите, что вы личность самостоятельная, что мелочная опека не для вас».

Я его слушаю и представляю все, о чем он говорит. Смешно, ей-богу! И больно! Уважающая меня свекровь! Идеалист он, учитель мой хороший. Я еще пуще заплакала да как обняла Виталия Викторовича: «Какой вы хороший! Умный! Добрый какой! Как я вас люблю! Вы и раньше, в училище, всегда мне нравились». — «И вы мне, Катенька, всегда нравились, — ровно так говорит, как родственник, а сам дрожит весь. — Но успокойтесь, родная! Все пройдет. — И грустно так добавляет: — И любовь ваша ко мне — тоже». — И пытается от рук моих освободиться.

А я не знаю, что на меня нашло. Увидела я близко глаза его — перепуганные, серые. «Вот, — думаю, — прошла мимо своего счастья!» — и еще крепче к нему прижалась. И таким сильным показался он мне вдруг, несмотря на испуг его, таким непохожим на Никиту, — все бы на свете отдала, чтобы вернуть тот день на практике, когда сидели мы с ним рядом и он мне о себе рассказывал, — и не было ничего вроде бы, а ведь что-то уже было — стоило откликнуться... Прижалась я губами к рубашке на плече Виталия Викторовича и почувствовала, как он дернулся и сам уже щеки, шею, пальцы мне целует. А я его обнимаю и шепчу:

«Милый вы мой! Милый!» А он только: «Катя моя! Катя!»

И чувствую, момент такой наступил, что оба мы уже плохо соображаем, на каком свете находимся. Знаем только, что лучше, чем сейчас, быть не может. Он голову мою к груди прижал, рука его в волосах моих заблудилась, а мне в щеку пуговица от его рубашки впилась, и от этого неудобства особая какая-то острота появилась, сильная нежность.

Да и с Виталием Викторовичем, видно, похожее происходило. Только он отстранился вдруг резко: «Нет, — прошептал. — Нет! Не хочу, чтобы вам потом стыдно было! Давайте я вас лучше домой провожу, поздно уже».

Я посмотрела машинально на часы — стрелок не вижу, вообще не понимаю, что происходит.

А Виталий Викторович говорит почти спокойно: «Вот видите, двенадцатый уж», — и с вешалки пальто мое снимает.

Ко мне тоже стало возвращаться ощущение реальности — и вместе с ним чувство обиды, теперь уже на Виталия Викторовича. Смотрю я на него и всем своим молчанием сказать хочу: «Как же вы так? Зачем же вы меня бросаете?!»

Подавая мне пальто, Виталий Викторович отцовским таким пожатием плечи мне сдавил и печально сказал: «Все у вас, Катюша, наладится. Все у вас будет хорошо», — говорит и сам не верит. Я повернулась к нему резко, он еще не успел выражения лица переменить — а на лице Виталия Викторовича участие, и любовь, и полная безнадежность, — лучше бы я и не видела этого.

Дошли мы до моей улицы. Я Виталию Викторовичу говорю: «Не провожайте меня дальше, наверняка ждут. — И добавила после паузы: — Спасибо вам. — И подчеркнуто так: — За все».

А он мне говорит: «Это вам спасибо. Я, Катенька, вечера этого не забуду».

И вижу, что правда, — не забудет. И так мне горько стало,

что он такой добродетельный, я даже рассердилась на него. «Идите уж, — говорю, — не травите душу».

Он и пошел. А я стою на углу. Все во мне перемешалось. Ничего не знаю: ни как жила, ни как дальше жить. Любила ли я Никиту и люблю ли я его сейчас? Хочу ли я увидеть, как он меня встретит, и угадать по этому, как он ко мне относится, или мне все равно?

А уходящий медленно Виталий Викторович? Кто он мне? Еще не поздно догнать и спросить — и переменить всю жизнь. Нет, поздно. И прав он, разные у нас дороги. Я вот дочек своих сегодня не видела с утра. Мать! Бегаю неизвестно где и неизвестно зачем, а дочки одни... Не одни — со свекровью. Выплыло в памяти ее лицо. Не люблю, и нет во мне другого чувства к ней. Давит она меня. Я с ней как под прессом. Но второго Никиту она из меня не отштампует.

Борьба. Хорошо говорил Виталий Викторович о борьбе. Но я не умею. Никогда меня не учили бороться. Но, наверное, надо попробовать — пойти на какие-то лишения, не испугаться считать копейки после того, как вообще отвыкла думать о деньгах, и уставать не от безделья, а оттого, что слишком много приходится делать самой. И в институт поступить... И если Никита не решится... взять девочек...

Нужны перемены, очень нужны. Я должна что-то сделать, изменить все к лучшему. Я взрослый человек: жена, мать.

У дома меня встретил Никита. Мы молча поднялись с ним по лестнице. Я видела, что он напряжен, но до смерти рад моему появлению. Вот он искоса взглянул на меня, и как будто слеза блеснула у него в глазах. И мне так стыдно перед ним стало за то, что еще час тому назад я от него отреклась, так захотелось обнять его. Но в этот момент мы остановились у дверей в нашу квартиру и я услышала, как за дверью свекровь кричит кому-то по телефону: «Ну да! Скоро двенадцать! Бегает где-то! Нахалка неблагодарная!.. Никита?.. Никита — тряпка! Он уже все простил...»

Никита поспешно открыл дверь. Свекровь увидела нас, сказала в трубку: «Я тебе завтра позвоню. Пока».

И, обращаясь ко мне: «Катенька! Ну, наконец-то! Ужин горячий».

Елена Матвеева

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Еще в самолете, на пути в экспедицию, сосед говорил Вале, что город должен ей понравиться, потому что напоминает Ленинград, самый настоящий «Заполярный Ленинград». Потом она слышала это от многих, хотя сама ничего похожего не находила.

И город ей не понравился. Ранней весной он был грязен и тосклив. Грязны были тротуары, стены домов, автобусы и машины, особенно же собаки, будто ими улицы подмели. Беспрерывно шел полудождь-полуснег. Магазины без вывесок и витрин. Тройные двери и неизменная табличка: «Береги тепло! Закрывай дверь!» Товары плохие, залежавшиеся. Правда, местные говорили, что после открытия навигации все переменится.

Теперь, в августе, Валя возвращалась из экспедиции снова через этот город. Он уже не казался ей грязным и угрюмым, да и не был таким ранней осенью. Он даже стал ей нравиться, как старый добрый знакомый.

Валя радовалась возвращению домой. В экспедиции ей пришлось несладко, и значения не имело, что потом, дома, она, может, будет считать это время чуть ли не лучшим в жизни. Именно теперь, пока свежи были впечатления, она старалась об экспедиции не думать.

Дел в городе у нее не было, но билет на самолет оказалось трудно достать, и она уже подумывала добираться теплоходом, а потом поездом. Путь был окольный, но зато, хоть и с борта теплохода, позволял увидеть Сибирь.

Вале было под сорок. Она преподавала английский язык, свой предмет знала много лучше, чем нужно для школьного учителя. Ребята ее уважали и побаивались, но не любили. Она была далека от них, а дети этого не прощают. Всегда в строгом анг-

лийском костюме, суховато-корректна, педантична, лицо непроницаемое, повадка учительская — размеренное прохаживание между парт, монотонная, но четкая речь, будто идет бесконечная читка диктанта, в котором очень много вопросительных предложений. Для коллег она была «женщиной без возраста». Знали, что она не замужем, живет в коммунальной квартире.

Наверно, все были бы удивлены, увидев, как она с тихим, мягким выражением лица сидит за швейной машинкой, а потом в новом голубеньком халатике с кружевами жарит себе яичницу, варит кофе. Движения женственные, пугливо-вкрадчивые. А еще через день скомканный халатик валяется в платяном шкафу, на кухне она не появляется, лицо приобретает жесткое и брезгливое выражение.

Англоязычную литературу Валя читала в подлиннике. Делала поэтические переводы и складывала в стол, никому их не показывая, просто работала себе в удовольствие — коротала вечера. Переводила она и прозу, а потом построчно сравнивала с работой лучших переводчиков. Ей нравились поиски нужного слова, попытки передать то, что хорошо чувствуешь и что так трудно выразить на бумаге.

Всю жизнь Валя прожила с матерью в небольшой комнате на Петроградской. Отец погиб в первый день войны. Лет пятнадцать назад Валя чуть было не вышла замуж за военного. А это значило уехать с ним на Север и оставить стареющую больную мать. Та не уговаривала Валю остаться, но тихо и беспомощно плакала. И Валя никуда не поехала.

К старости мать стала капризной и ворчливой. Они с Валей постоянно ругались, а иногда и не разговаривали по нескольку дней. Часто мать недовольно бросала: «Ты стала совсем несносной. Лучше бы вышла замуж и освободила меня от своего присутствия». Валя стискивала зубы, чтобы не сорваться.

Четыре года назад мать умерла. Валя наконец могла полностью располагать собой и своим временем, но это уже не было нужно. Она закостенела, заледенела, не хотела ни новых дружб, ни романов. Она скучала по своей старухе и часто разговаривала вслух, обращаясь к ней.

Может быть, оттого, что она не была обременена семьей и хозяйством, постоянной спешкой и всякими мелочами, время и не тронуло ее. Стройная спортивная фигура. В лице моложавость. Не в гладкой коже, а в выражении — беззаботном, немного рассеянном и, казалось, счастливом.

Было у нее несколько друзей со школьных и институтских времен, люди оседлые, давно семейные и благополучные, которые считали ее неудачницей и по-своему любили. Валя ходила

к ним в гости, удивляла и заражала бодростью и жизнелюбием, а оставшись одна, сникала, ей не хотелось никого видеть. Но наедине с собой она тоже не могла долго находиться, мучилась и снова звонила друзьям. Если друзья были заняты, усаживалась за переводы.

Было в ней что-то и странное, и детское; было что-то, за что друзья называли ее «авантюристкой»... Конечно, было, иначе она не сорвалась бы с работы и не поехала в экспедицию на край земли поварихой, почти не умея готовить. Дома она питалась полуфабрикатами. Друзья считали ее поездку глупостью, даже те, которые восхищались. Впрочем, по их понятиям, она была заядлой путешественницей, потому что каждый год ездила отдыхать по туристическим путевкам, потом проявляла фотопленки и печатала фотографии, а на книжной полке появлялись очередные путеводители.

Сейчас в Валином рюкзаке лежала книга о Заполярье. Валя жила в той же гостинице, что и на пути в экспедицию. И было одно обстоятельство, которое удерживало ее здесь...

С Володей она познакомилась несколько дней назад, но ей казалось, что знакомы они уже давно. Володя был из тех, с кем уже через десять минут переходишь на «ты». У него хорошая улыбка и тридцать два года за плечами. Работал Володя в руднике, денег у него было много, и распоряжался он ими легко. Носил дорогие солидные вещи, но при этом все же выглядел не солидным мужчиной, а парнем, обаяние которого безотказно действует на всех, особенно же на девушек и детей. О таких говорят — легкий человек. Может быть, в другое время он просто испугал бы Валю. Она сторонилась таких людей и сама была не очень-то им по вкусу. Но в дороге все проще. Они познакомились и свободно разговорились. Ей было хорошо с этим человеком, как никогда ни с кем. Три дня они бродили по городу и сидели в садике перед гостиницей.

Валя рассказывала о своих друзьях и отпускных путешествиях. Рассказывала чистую правду. Но почему-то друзья выглядели куда умнее, чем на самом деле, и жизнь их была намного интереснее, а путешествия ее получались яркими и веселыми. Да и сама она в рассказах была другим человеком. Может быть, Валя ничего и не преукрашивала, а просто ей было хорошо, и она забыла о своих одиноких тоскливых вечерах, друзьях, которые думали о покупке «стенки» или смене очередного телевизора и ждали, когда она уйдет, чтобы успеть сделать еще что-то по хозяйству. Наверно, она вспомнила в них и в себе лучшее и значительное, и пусть этого было немного, но все-таки это было главным.

Валя говорила оживленно, часто смеялась. В своей рабочей одежде она чувствовала себя ловкой и подтянутой. Иногда ей казалось, что все это неспроста. «Не кокетничаю ли я?» — думала она и тут же забывала, уж очень естественно и без натяжек жила эти дни. Хорошо жила.

Вечером третьего дня Володя пригласил ее в ресторан. Она отнекивалась и наконец призналась, что у нее нет ничего, кроме брюк и свитера. Володя стал горячиться:

— Мы сейчас же идем в магазин и покупаем платье, туфли, чулки, пальто — все, что нужно. И идем в ресторан.

Пока Валя упорствовала, магазин закрыли, и она успокоилась.

— Мы все равно идем в ресторан, — сказал Володя. — Главное, не волнуйся. Ты со мной вообще никогда не волнуйся, не стесняйся и не бойся.

В одном ресторане не было мест. В другом Володя сходил куда-то и все устроил. Гардеробщик принял его пальто и сказал Вале: «Пройдите, повесьте ваш ватник. Без номерка». Володя взял ее ватник, повесил сам, и они прошли в зал, где играла эстрадная группа — совсем молоденькие мальчики. Стены зала были грязно-белые и пупырчатые, будто под краской присыпанные гречкой. С потолка свешивались кустистые люстры. Между окон стояли зеленые кадки с деревцами декоративной березки.

Валя села за столик. Володя что-то говорил ей, а она не слышала, оглушенная музыкой, ослепленная переливающимися полупрозрачными занавесями и белизной стен. Она не замечала, что стены были не такими уж чистыми, а эстрадная группа посредственной. Все слилось в одно белое сверкающее пятно. Она перевела взгляд на скатерть и вдруг увидела свои руки с заусенцами, кругло и коротко подстриженными ногтями, — руки, за которыми в Ленинграде она тщательно следила. И сейчас же возникло мамино: «Пусть у тебя будет скромненькое платье, но обязательно хорошие туфли, чулки без зацепки и руки в порядке». Валя поспешно переложила руки со стола на колени.

Меню на столике не было, и официант перечислял названия каких-то блюд, которые она тут же забывала, а потому сказала, что съела бы вареники с мясом.

Перед ней появилась бутылка грузинского вина, перед ним графинчик с водкой, а официант побежал узнавать, нельзя ли в виде исключения приготовить вареники с мясом. Валя совсем смутилась, но тут Володя пригласил ее танцевать.

Валя не помнила, когда танцевала в последний раз. Во всяком случае лет десять не танцевала уж точно. Когда они шли по проходу между столиками, ей невольно представилось, что

она идет между парт к доске, совершенно не зная урока, и ее охватил детский ужас перед тем, что должно произойти. Она боялась, что будет наступать ему на ноги.

Через несколько минут Валя приободрилась, услышала музыку, которая оказалась не такой уж новомодной, и это ее утешило. Внутри у нее что-то отпустило, она увереннее пошла за Володей. Но вдруг ослабла, обмякла, музыка опять исчезла. Валя понимала: все это оттого, что ее обнимал мужчина, который ей нравился. Затем она снова очнулась, и ей стало легко. Ей уже казалось, что под эту музыку она танцевала когда-то давно, а сама музыка из какого-то старого кинофильма, только из какого, не могла вспомнить. Неожиданно Валя запела, но услышав себя, застеснялась.

— Давно не танцевала, а это, оказывается, довольно приятно.

— Я хочу, чтобы ты осталась здесь, — сказал Володя.

— Как же это понимать?

Он потерся щекой о ее висок. Музыка кончилась. Володя отвел ее к столику.

— Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

— Но это невозможно!

— Ты же говорила, что не замужем.

— Есть другие обстоятельства.

— Тебя кто-нибудь ждет?

Она помедлила.

— Нет, никто.

Он налил рюмку водки и залпом выпил. Вале хотелось танцевать еще, но он больше не приглашал, да, пожалуй, и прошло то настроение — и испуг, и возбуждение, и нежность. Она досадовала на Володю за этот разговор, хотя, может быть, только это и было важно.

За соседним столиком сидели двое мужчин и женщина. Они принесли с собой красную свечку и поставили, горящую, в бокал на середину стола. Наверно, женщина много выпила, она то и дело истерически смеялась. Володя опустил голову на руки, сложенные на столе, и уронил нож.

— Придет мужчина, — сказал он, поднимая к ней лицо, и неожиданно улыбнулся. — Можно, я к тебе завтра приду в гости?

— Можно.

Значит, ее отъезд откладывался еще на один день, а может, на два, на три, на пять, какое это могло иметь значение. Конечно, она в конце концов поплывет на теплоходе, а потом поездом до Ленинграда.

— Валюша, — попросил Володя, — можно, я приду с другом?

Я тебе все объясню. Друг у меня отличный, Леха. Он приехал в командировку. Мы, вообще-то, редко с ним видимся, раз в сто лет.

— Приходи с другом, — согласилась Валя, — о чем речь.

— Он тебе понравится, он на гитаре играет.

— Конечно, понравится, — сказала Валя и тоже улыбнулась. — Откуда ты родом?

— Из маленькой деревушки, ее даже на карте нет. Недалеко от озера Балонь. Представляешь, Балонь называется. Не во Франции где-нибудь, а в Хабаровском крае. У нас там много разных странных названий: Эврон, Анюй, Эльбан, а есть река Горюн, озеро Удыль, только это уж совсем от нас далеко. Вот такая картина. Тебе, наверно, неинтересно?

— Мне про тебя все интересно, — сказала Валя.

— Совсем затерянная деревушка, ты не представляешь какая. В шести километрах железная дорога. Я пацаном бегал туда и подбирал у насыпи папиросные коробки, обертки от печенья, пробки — все, что выбрасывали из окон поездов. Вертел в руках, рассматривал, нюхал. Это был для меня большой мир с городами, улицами, огнями, красивыми мужчинами и женщинами. Все это волновало.

Он подозвал официанта и попросил принести еще водки.

— Ну, а дальше?

— Дальше? Дальше Леха у меня был. Школа от дома в четырех километрах. Утром меня затемно выставляли из дому, чтобы, не дай бог, не опоздал, и я на лыжах шел по тайге. Приходил рано, школа на запоре, а назавтра меня опять отправляли затемно. Вот и стал я захаживать к Лехе, потому что он жил поближе. Леха обычно еще спал, они вместе с бабкой спали на перине. Перина вся комьями, будто чурками набита, и такой же накрывались. Бабка жутко костлявая старуха была. Добрая. Кряхтела, вылезала из перин и топила печку, а меня гнала к Лехе погреться. Одетого, как есть, подталкивает и приговаривает: «Иди-тко, остыл весь». Представляешь? Сейчас не верится. А я ведь до сих пор помню, что здорово очень было. Помню даже, как та перина пахла. Сеном и курами. Вот такая картина. Потом Леха в Москву поехал, художником хотел стать, а стал инженером. А я, когда мать умерла, уехал с отцом в Красноярск.

— А мы с мамой первую блокадную зиму в Ленинграде прожили. Помню, как плакала, просила хлеба. А еще, как меня во двор не пускали. На втором этаже, прямо под нами, была аптека, люди туда шли и не доходили, от слабости падали. А бывало, и мертвые лежали. У меня страхи потом надолго остались. Уже

повзрослевшей возвращаюсь поздно вечером, а по лестнице жутко подниматься. Вообще-то, я плохо помню себя маленькой. Эвакуацию лучше... К тому времени я уж была не ребенком, а какой-то старушкой. А детство — это когда не было войны. Детство — я вечно теряю галоши в автобусах и трамваях, а взрослые разыскивают их.

— А потом?

— Потом не было ничего интересного. С матерью жила. Последнее время она стала совсем невозможной. И жалко, и сил нет терпеть. У нее был тяжелый характер, она много пережила. А сама я человек скучный.

— Нет, ты совсем не скучный человек, — серьезно сказал Володя. — Ничуть не скучный.

Валя ласково, благодарно смотрела на него и улыбалась. Ее лицо, живое и искреннее, было милым, — не красивым, а милым, что важнее красоты. И Валя чувствовала себя совсем молодой, только намного разумнее, чем в молодости, и интереснее. Сама удивлялась — она, как искорка, жившая под валежником: подул ветерок и вспыхнул костер.

— Я бы хотела ездить, путешествовать, — сказала она. — С экспедицией не очень удачно получилось. Ты знаешь, я же готовить не умею, а поехала поварихой.

Володя засмеялся:

— Что же ты им стряпала?

— Приспособилась, немного подучилась.

— Из нас хорошая пара получится, — неожиданно проговорил Володя. — Готовить я тебя обучу, а потом будем путешествовать. Кстати, у меня много географических книг.

— Как у тебя в комнате? Ну, что стоит, на стенах что?

— Ничего особенного нет. Стол, кровать и табуретка. На стене карта и фотография отца. Полку все собираюсь смастерить. Книги некуда складывать, на подоконнике, на полу лежат. Ты когда ко мне придешь?

— Не знаю, там видно будет.

На другой день вечером Валя спустилась в вестибюль, украшенный декоративной березкой, и увидела Володю. Он подошел к ней. С ним был невысокий человек, толстый, румяный, с бородой, похожий на гнома. Леха нес портфель.

Потом они втроем поднялись на Валин этаж.

Валя жила в номере с женщиной, которая целыми днями вышивала штопкой скатерть. Соседки не было, только на столе в салатнице лежали цветные моточки, похожие на уродливые морщинистые яблочки: розовые, вишневые, коричневые, серые, лиловые. Володя отодвинул салатницу, достал из портфеля кон-

сервы, хлеб, компот, бутылку коньяка. Наконец осторожно вынул странную бутылку цвета йода, формой напоминавшую инжир.

— Это наливка. Леха делал, — с гордостью сказал Володя. — Вечно что-нибудь выдумает. Художническая натура...

Что-то в этот вечер у них не клеилось. Ели мало, почти не пили. Леха пытался рассказывать что-то веселое, но почему-то все чувствовали себя скованно, ожидали прихода Валиной соседки, на гитаре не играли. Володя сказал:

— Я тебе не говорил, что был женат. У меня есть сын. Только теперь не мой, у него отчим.

— Почему же ты разошелся с женой?

— Молодой был, дурак. Поженились в восемнадцать, а мне тогда ездить хотелось. Съездил на одну стройку, устроился на другую, хотел жену выписать, а она уже сама устроилась.

— Тебе по-прежнему хочется ездить?

— Хочется. Но по-другому. Менять место жительства неохота. Я приехал сюда простым работягой, теперь уже мастер, затянуло, присох к руднику. Я ведь заочно учусь на инженера по горным машинам. Поздно я определился.

— А я рано определилась, зато сейчас в каком-то тупике. Наверно, и в экспедицию поэтому уехала, будь она неладна. Впрочем, это только оттяжка времени. Работу хочу менять, а куда себя деть — не знаю. Все мои соученицы в школах, одна вышла замуж за финна, одна в «Интуристе». Имя у нее экзотическое — Чалита. И вся она экзотическая, на западный образец. Предлагала поговорить обо мне в «Интуристе», а я испугалась. Не по мне это. Подумала, уж лучше в родном школьном болоте. Хотелось бы мне заниматься переводом, хотя бы подстрочники делать. Про талант я не знаю, но я работоспособна и добросовестна. Мое представление о счастье — сидеть тихими вечерами под абажуром и работать, копаться в словарях. А за окном снег.

— Почему же ты не займешься этим? — удивился Володя.

— А я и занимаюсь, для себя.

— Значит, это хобби?

— К сожалению. Я бы хотела, чтобы это было делом жизни.

— Ничего не понимаю, — настаивал Володя. — Если ты знаешь, в чем счастье, добивайся его.

— Смешной ты, Володя. Это невозможно. Если бы я знала какой-нибудь редкий язык — финский, шведский... А «англичан» — как собак нерезаных. Спроса никакого...

Валя нервничала, разбила тарелку, застыла над ней в горестном испуге, будто эта тарелка была предвестницей беды.

— К счастью, — утешал Володя, собирая осколки.

— Со мной такого не случается. Я посуду не бью, — сказала Валя.

— Не расстраивайся, — сказал Володя. — Нужно же когда-то начинать.

Валя так и не повеселела. В ушах у нее стоял звук бьющейся тарелки. В одиннадцать наконец пришла соседка, и они с облегчением расстались.

Уже потом, когда Валя легла спать, в дверь постучали, и коридорная сказала ей:

— Ваш там стоит. Просит позвать.

Валя оделась, вышла. Володя сидел на скамейке, курил. После теплой комнаты Валю познабливало. Она села рядом.

— Знаешь что, — сказал он, — оставайся-ка ты. Я тебя ничем не обижу. Захочешь работать — будешь, не захочешь — не будешь. Сиди себе под абажуром и переводи.

— Володя, — недоуменно сказала она, — у меня же в Ленинграде комната, книги.

— Заберешь книги.

— Ленинград просто так не бросают. У меня с ним вся жизнь связана.

— Значит, не хочешь...

— И еще одно. Я ведь старше тебя. Сейчас разница не бросается в глаза, а потом?

— Ты не старше меня, потому что я этого ни разу не заметил. Ну, а в ресторане ты вела себя как школьница. Я даже удивился, честное слово.

Она придумывала все новые и новые отговорки, чтобы слышать снова и снова, что ее любят, и именно такой, какая есть.

— Театры, музеи, библиотеки... Сам город... Я его каждой жилочкой чувствую, я без него не могу.

Валю уже не знобило. Она все еще сидела на краешке скамейки, потом села глубже и попросила:

— Дай закурить.

— Я не знал, что ты куришь, — он протянул ей сигарету.

— В экспедиции последний месяц курила. Втихаря. Стеснялась почему-то... — Она вздохнула, прикурила, держа сигарету за фильтр, а огонек прятала в ладони, словно боялась, что кто-то увидит этот огонек или задует его ветром.

— Володя, я детей не люблю, — сказала она и посмотрела на него печально и прямо.

— Я не предлагаю тебе работать в детском саду. Своих будешь любить.

Только сейчас Валя заметила, что он очень устал, и для этого даже не нужно смотреть на него, это чувствовалось по голосу.

— Глупости, Володенька. Встретишь молоденькую девушку, женишься.

— Наверно, встречу. Только не скоро. До сих пор вот не встретил. Видишь, у меня ведь по-разному бывало за эти годы. А жениться не собирался. А тут вот... Такая картина. Я ведь даже ни разу тебя по-настоящему не поцеловал. А чувствую, что у нас должна получиться складная жизнь, дружная. Валь, ты же... Не любишь меня. А мне показалось... Когда ты едешь?

— Завтра и еду, — сказала Валя неожиданно для себя самой.

— В котором часу?

— Не знаю еще.

— Я приду тебя проводить. Позвонишь?

Он прикоснулся к ее щеке дрогнувшими губами, встал и ушел. А Валя продолжала сидеть на скамейке, зная, что теперь все равно долго не уснет. Она улыбалась, представляя, что все еще только начинается, опять ей будут говорить, что любят. Когда она сидела весь день в номере и пыталась читать, ей больше всего на свете хотелось увидеть Володю, броситься ему навстречу, так крепко прижать к себе, чтобы заныли плечи, целовать, а потом просыпаться по утрам в его комнате, где книги свалены на полу и подоконнике, а на стене географическая карта и фотография отца, где она ни разу не была, и жить там очень долго, может быть всю жизнь, ни о чем не сожалея. Впрочем, остаться здесь было бы безумием, да и не девочка она, чтобы выкидывать такие штуки. Нужно возвращаться и срочно устраиваться на работу.

И все-таки ее не оставляло чувство, что случилось что-то хорошее. Потом кольнуло другое: все это уже было с ней когда-то. Когда? Не с женихом-военным. О том она не жалела, решила свою судьбу, как ножом отрезала. Что-то другое.

В памяти всплыло, как лет десять назад в Севастополе она познакомилась с парнем, который ей как-то сразу и очень понравился. Легко познакомились, легко говорилось, смеялось. Условились, что встретятся на Графской пристани, он должен был подойти с Северной стороны на катере. Валя ждала его в назначенное время и еще пять минут — дольше ждать ей казалось унизительным для девушки. И она ушла и плакала. Ее подхватили соседи, постояльцы хозяйки, у которой она жила, муж и жена, люди добрые и веселые. Они гуляли и пили шампанское прямо на набережной. Когда возвращались, Валя увидела того парня, он побежал к ней, позвал, но Валя отвернулась и прошла мимо, подхватив под руки своих соседей. Позже догадалась: катер-то с Северной стороны просто опоздал, а с ним и парень...

Парня этого она больше никогда не видела. Тем вечером она забралась на чердачную площадку, упала на продавленный диван, бог знает как и для чего оказавшийся здесь, и плакала, закрывая рот руками, чтобы никто не услышал. От той истории осталась грусть, но эта, нынешняя, сбывалась, склеивалась, складывалась.

На другой день Валя взяла билет до речного порта. Володя с Лехой подошли к электричке. Леха сидел невдалеке на скамейке, Валя с Володей стояли у вагона. Она все еще не верила, что уезжает, ей не хотелось уезжать, но ее не удерживали, никакого повода, зацепки, чтобы остаться, не было.

— Я тебе адрес оставлю, напишешь?

— Нет, писать не буду, — твердо сказал Володя.

— Как хочешь, — сухо ответила Валя и с тоской подумала, что сама ему тоже не напишет.

— У нас в детстве был один секрет, — сказал Володя. — Чтобы исполнилось главное желание, нужно было поймать черного кота, в мешке, ночью, отнести к Ореховому броду и на костре варить до тех пор, пока одни косточки останутся. Вот если среди них отыскать одну, желание исполнится. Представляешь, как просто. Было такое место, и мы знали, что нужно делать.

— И что же, кота вы варили?

— Не помню.

— Ну, если бы варили, помнил бы.

— Конечно, не варили, но мы часто так говорили об этом, что кажется, будто и впрямь ходили туда ночью с котом. А вот как бы стали искать ту единственную косточку, не знаю. Мы об этом не задумывались.

— У тебя, наверно, было хорошее детство, — сказала Валя. — Ты часто о нем вспоминаешь и совсем иначе, чем я.

— Это только с тобой почему-то. Вот с Лехой встретились и не вспоминаем.

— У тебя был Ореховый брод. Неважно, ходил ты туда или нет, но он был. У меня никогда ничего такого не было.

Валя чувствовала, что сейчас заплачет, взглянула вверх, делая вид, что рассматривает кружащих птиц.

— Иди в вагон, — сказал Володя, — пора.

Она послушно направилась к лесенке и вдруг тихо, не обернувшись, попросила:

— Забери меня, пожалуйста, с собой.

На минуту наступила тишина, застыли пассажиры, тащившие чемоданы, прилипла к вагонному стеклу детская мордашка с расплющенным носом, остановились облака и птицы над электричкой...

Они прошли мимо Лехи, а тот встал и долго смотрел им вслед, и на лице у него блуждала печальная улыбка.

У Володи была однокомнатная квартира, пустоватая, но очень опрятная, даже пепельницы чистые. Обстановка холостяцкого жилья.

Валя села на табуретку. У нее подергивался уголок рта, и она прижала его, подперев щеку рукой.

Четыре дня они говорили, а теперь будто и говорить стало не о чем.

— Вот так... — сказала Валя. — Сегодня я бы выпила вина, только хорошего.

Он пошел в магазин, а она стала рассматривать фотографию отца в ореховой рамке, потом книги: что-то по горным машинам, географическая энциклопедия, словарь русского языка, рассказы Чехова.

Вернулся Володя, и они стали сосредоточенно готовить еду: за делом говорить было не нужно. Володя принес тарелки, вилки, разлил вино по стаканам.

— Да, быт у тебя холостяцкий, — сказала Валя.

— Рюмки купишь на свой вкус. Я в посуде ничего не понимаю.

Валя пожала плечами, улыбнулась. Она выпила, зная, что сейчас только вино может принести ей спасительную легкость, унять нервную дрожь, от которой она пыталась избавиться, сжимая кулаки и задерживая дыхание.

— Расскажи мне, что у тебя произошло в экспедиции, — попросил Володя.

— Ничего особенного. Было тяжело. Просто я переоценила себя. Ребята совсем молодые, на равных с ними я быть не могла. Старшим другом тоже не стала. Не получилось. Всех восстановила против себя пересоленной кашей и жидким супом. Потом посмеивались, когда с готовкой наладилось, а мне уже было не смешно. Я и в школе поставила себя так — ко мне никаких претензий, это единственное, что дает право вести себя независимо. А немного оступился, сплоховал — все, попрощайся с чувством собственного достоинства и прочее, прочее. Нужно быть осмотрительной. С экспедицией была глупая затея. Вот тебе и бесплатное путешествие.

— Видишь, Валя, какая ты... — задумчиво сказал Володя.

— Какая?

— Заледенелая. Растапливать тебя нужно.

Валя засмеялась и в который раз подумала, что рассказывает ему о себе то, что никому другому не рассказала бы, слетела с нее наследственная материнская гордыня, гордость — на-

выворот. И осталась Валя без этой гордости сама по себе — живая, свободная. И беспомощная...

Утром Володя уходил. Она схватила его лицо обеими руками, прижалась к нему, смотрела просящими глазами, и он сказал:

— Ну что ты, моя хорошая? Я ненадолго. Не могу больше просить отгулов, я уж и так за последнюю неделю нагулял. Но я очень скоро вернусь.

Она закрыла за ним, постояла у окна. Вид не радовал: голый прямоугольник двора да серые каменные стены. И комната Володи утром не казалась славной, а может, только без него она выглядела серой и пустой. И так будет начинаться каждое новое утро.

А в Ленинграде за окном стоят липы с кругло подстриженными головами и солнце — если день солнечный. Если нет — комнату освещает что-то другое: корешки книг, весело толпящиеся на полках, ее стол, заваленный тетрадками и бумагами, — душа жилья, где она выросла, где жили родители, где все так, как нравится ей, ее крепость, укрытие...

Валя сложила свои тряпки в рюкзак, захлопнула дверь, ключ подложила под коврик.

Она чувствовала себя разбитой, больной, с трудом шла, пошатываясь.

С электричкой повезло, и в порту не прошло часа, как села на теплоход. Ехала в просторной каюте второго класса, с широкими светлыми лаковыми койками и зеркалом от пола до потолка. За все время к ней в каюту так никого и не подселили.

Днем она спала, а после обеда выходила на палубу, где постоянно сидел художник и делал из меняющегося пейзажа неизменный. Зеркальная у берегов вода и темный лес, который обволакивал солнечную, нежно-зеленую поляну, а на ней маленькое селеньице дворов на шесть-восемь. И сама поляна, и селеньице были такими лучезарными и приветливыми, и так на картине было уютно, что хотелось войти в нее и пожить там.

К вечеру краски менялись. Художник уносил с палубы мольберт, а Валя встречала закат, потом дожидалась луны, зрелой, желтой, как сыр, и смотрела на лунную дорожку.

На второй день Валя затосковала. Она уже жалела, что не полетела самолетом.

«У нас в детстве с Лехой был один секрет. Чтобы исполнилось главное желание...» — вспоминала она. Ей хотелось плакать навзрыд, а слез не было. Она сидела и раскачивалась вперед-назад, потом легла на койку. «Ведь плыло же в руки, плыло, — говорила она себе, и слова просились некрасивые, про-

стые, бабьи. — Почему было не взять? Идиотка. Свободу потеряю! Постарею! Ленинградка... А кто у меня там есть? Кто меня ждет?!»

Она закурила и вдруг заплакала. Все лицо у нее было мокро. Судорожное дыхание не давало курить. Она бросила сигарету и промокнула лицо полотенцем. «Вот и все, — решила она, — я ему не напишу, не подам вести... И адреса-то не знаю, даже на номер квартиры не посмотрела. Но я же его люблю...»

Вернувшись в Ленинград, Валя тяжело заболела гриппом. Она лежала в своей маленькой комнате, окном во двор, где росли липы, с широким подоконником, уставленным банками и сверточками, которые приносила старушка соседка. Она думала о Володе, о том, что поступила правильно, потому что там она не смогла бы жить, а здесь Володя чужой. Он из другой жизни, где был ей нужен, как воздух, где она держалась за его руку, как маленькая девочка, и замирала от счастья. Здесь она другая, взрослая, и жизнь другая. Она была права, когда сбежала от него.

Поправляясь, Валя бродила по комнате, рассматривала и перекладывала свои книги. Немного окрепнув, печатала фотографии, а потом показывала друзьям снимок самого большого дерева в Заполярье, ростом с приземистый кустик, фотографии улиц того города и мест, где была в экспедиции, рассказывала, как стреляла уток, готовила уху из сигов, и намекала на какую-то романтическую историю с мужчиной, которая у нее произошла.

Валя устроилась преподавать на курсы английского языка, стала заниматься французским и испанским. Однажды она встретила Чалиту, та обещала поговорить о какой-то работе — то ли в архиве, то ли в музее.

Валя чувствовала себя неплохо, потому что знала: отмылась от экспедиционной грязи, руки у нее в порядке, туфли отличные, чулки без зацепочки. И только иногда она вдруг останавливалась посреди тротуара, рассеянно и беспомощно оглядываясь по сторонам.

На привезенные из экспедиции деньги Валя купила демисезонное пальто, стереорадиолу и пластинки. Хотя свободного времени у нее теперь было больше, чем в школе, к вечеру она совершенно выдыхалась. Клевала носом над переводами и вдруг видела его лицо: глаза, рот, мягкие волосы, на своей щеке ощущала его губы. Чтобы прогнать тоскливое наваждение, трясла головой, закуривала, ставила пластинку и ложилась на кровать, закрыв глаза...

А потом выпал первый снег. Он шел частыми большими

хлопьями, но полежал недолго, затоптали. Задержался пушистыми островками в траве газонов, на круглых, почти не пожелтевших головах лип, лежал на крыше вишневого «запорожца». Увидев снег, соседка сказала Вале:

— Вот и сосчитай, первый снег выпадает за сорок ден до зимы.

В тот день раздался звонок в дверь. Открыла старушка.

— Тебя, — постучала к Вале.

Вошел Володя — в плаще, без шапки, без вещей. Встал, прислонившись к дверному косяку. А Валя сидела, не в силах подняться.

— Ты приехал? — наконец спросила, глупо и счастливо улыбаясь.

— А по-твоему, я мог не приехать? — Смотрел он чуть укоризненно, но спокойно и даже весело.

За открытой дверью замешкалась соседка, забубнила, боком продвигаясь к кухне:

— Вот недаром этот снег, я говорила, что недаром... Но не полежит, голубчик, не полежит, потому что денный, а надежный тот, который ночью выпадает... А ждать уже недолго, а там и зима придет, в этом году снежная будет, богатая...

Олег Сердобольский

САД

Почти человечна печаль
В трудах постаревшего сада,
Которому жаль и не жаль,
Что осень пришла, как пощада.

Уже он почти облетел,
И вновь обозначились ясно
Громады морщинистых тел,
Стоящих по-юному праздно.

А в ветках на каждом стволе —
Прислушайтесь — тихие стоны:
Так больно их гнули к земле
Плодов краснощекие тонны.

Расслабились мышцы корней,
Устав перекачивать воды,
И сад стал ограды черней —
Так тяжко дались ему роды.

Он бремя покорно носил,
С апреля не зная покоя, —
И кажется, нет больше сил
Решиться еще на такое...

* * *

Спят Айболит и лекарства,
Радио спит на стене,
Спит мое женское царство
В чуткой ночной тишине.

Две самых маленьких феи
В снах продолжают игру,
Словно боясь, что затеи
Все разбегутся к утру.

И, обнимая девчонок,
Руки смыкая кольцом,
Ты и сама, как ребенок,
Спишь с удивленным лицом.

Так вы доверчивы к миру
В этом своем забытьи,
Будто несчастьям в квартиру
Он не позволит войти.

В этом бесстрашия полном
Нежном спокойствии сна
Жизнь торжествует безмолвно,
Хрупкостью вашей сильна.

ВОРОБЬИ

Двор уже неделю не мели —
То-то радость, то-то повезло им!
Воробьи купаются в пыли,
Перед тем как встретиться со зноем.

Не поймешь — юнцы или в летах,
Все шустры на птичьи прибаутки,
Оседают, крылья разметав,
Трут хвосты, взъерошивают грудки.

Больно пыль сегодня хороша!
Отряхнулись... Бодро тело дышит.
Так и прет из этих горожан
Озорство бессмертных ребятишек.

Настроенье чудное у них,
Полетели дальше славить утро.
На щеках у модниц воробьих
Чуть заметна матовая пудра.

Александр Комаров

* * *

В лесу глубокий снег,
метель скребет по полю.
И ни дорог, ни вех.
Все отдано раздолью.
Стоят в снегу стога.
А тропка к ним — пропала:
еще ничья нога
по снегу не ступала.

Но встрепенется мир,
освободясь от ночи:
там — заячий пунктир,
здесь — легкий птичий росчерк,
тяжелый санный след,
лыжни тесьма двойная...
Законченности нет...

Вот так и мы, не зная,
с чего начать стихи,
не буквенные знаки —
пунктиры да штрихи
выводим на бумаге,
и мнем бумажный ком,
и он летит в корзину...

Мне этот миг знаком,
напоминает зиму.

Вот так зима на лед,
пургой ночною воя,
вновь чистый лист кладет
с утра перед тобою.

* * *

Сад оживает каждой веткой.
Набухли почки и поля.
И под трепещущею сеткой
ветвей — задвигалась земля.

И купол неба обновленный
светлее ото дня ко дню,
и тянет к солнцу лук зеленый
младенческую пятерню.

Ирина Знаменская

* * *

У машин поливальных, левее собора,
Кто стоит под дождем и простится не скоро?
Долго ль будет маячить видение это?
Разорвать бы застывшие два силуэта!

Не хочу я их видеть... Какое мне дело,
Что небрит он с утра, а она — похудела.
Но встречаю опять как залог неудачи
Этот памятник ныне живущим иначе.

КИНО

...Всё.
Конца перекресты и прочие штуки:
Звезды, странные буквы, смыкаясь, мелькают...
Но механик хмельной веселится от скуки —
И в обратную сторону ленту пускает,

Заставляя меня пробежаться спиною
От великой любви — до случайного взгляда,
Повториться гневливой, счастливой, смешною,
До названья, начала, где плакать не надо.

Где еще не могли догадаться — не знаться
Героиня с героем, что гибнут в итоге,
Где едва ли им — тридцать,

Едва ли им двадцать...
И весна...
И беспечность пичуг на дороге...

* * *

Эстония. Чистая дача.
Четыре оплаченных дня.
Никто ни о чем не судачит,
Поскольку не знают меня.

Черемуха разве встревожит —
Но это под вечер, во тьме...
А солнышко — кожей о кожу.
А сторож — себе на уме.

И лошадь живет в сараюшке.
И можно потрогать ее.
Журчат не по-русски старушки,
Наследникам чинят белье.

И море хватает за пятки,
И ландыш озвучил траву...
И надо бежать без оглядки
Туда, где я плохо живу.

Александр Скоков

ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ

Туристы гуськом втянулись через маленькую дверь внутрь собора. Белоголовый мальчик лет семи в красной курточке, не обращая внимания на плиты, под которыми покоился прах знаменитых людей древнего города, метнулся через весь собор к стене с ветхими знаменами на черных древках.

Кузьма и Полина Макаровна вошли в собор первыми. Она держалась ближе к гиду и все обстоятельно записывала в блокнот. Мать белоголового мальчика тоже записывала. Обе женщины неотступно следовали за гидом, как секретари. Кузьма потихоньку отставал от них и через несколько минут отирался уже в самом хвосте процессии. Потом, тоскливо озираясь вокруг, побрел вдоль стены со знаменами и хоругвями. Могильная тишина, затхлый воздух, сумрак давили на него, он чувствовал себя будто замурованным в склепе; посмотрел на часы: одиннадцатый... Сейчас Махоркин уже в аэропорту на регистрации или взлетает. Может, и зря не полетел с ним в Магадан? Получилось, что Полина Макаровна с умыслом увезла его сюда, подальше от соблазна...

Белоголовый мальчик, обежав весь собор, запыхавшись, подошел к Кузьме:

— Дяденька, а что такое «по тарифу»?

— Чего? — угрюмо покосился на него Кузьма.

— Это я в аэропорту прочитал: мелких птиц разрешается перевозить по тарифу. А попугай мелкая птица.

— Мелкая, — буркнул Кузьма. — Ну как тебе здесь?

— В зоопарке лучше, там и попугаи, и кобра, и марабу. А вообще я люблю бульдозеры, все равно я в «Комигаз» работать пойду. А вы кем работаете?

— Трактористом, — сказал Кузьма.

Он выбрался с мальчиком во дворик, заваленный желтой листвой. Поднялся ветер, накрапывал дождик...

Гид между тем выговорился, умолк, подал знак, и тотчас зазвучал орган, туристы повернулись к мерцающим в вышине серебряным трубам.

Полина Макаровна, стряхнув оцепенение, огляделась — Кузьмы в соборе не было, она заторопилась к двери.

Его рослую, в черном синтетическом пальто фигуру она увидела недалеко от собора на площади, на стоянке легковых машин. Иностранец, финн или швед, одного с ним роста, только худощавый и в светлом реглане, распахнув дверцу «форда», жестом предлагал ему сесть за руль. Там же около них крутился и белоголовый мальчик, сын туристки из Сыктывкара.

Полина Макаровна подоспела вовремя.

— Кузьма! — размахивая сумочкой, издали крикнула она.

Кузьма, набычившись, с минуту сверлил ее рассерженными глазами, но повиновался.

Группа уже вышла из собора, мать позвала мальчика. Полина Макаровна и Кузьма пристроились в хвост и пошли вниз по узкой, как желоб, скользкой от дождя улочке. Поскальзываясь, она цепко держалась за Кузьму и просвещала его относительно собора. Она чувствовала за собой маленькую вину. Дождь брызгал помалу, не усиливался, из водосточных труб на углах, как из плохо закрытых кранов, назойливо сочилась вода.

Она первой сделала шаг к примирению.

— Кузьма, ей-богу, ты как этот мальчик из Сыктывкара. Не разрешили ему в «форде» посидеть. Что-нибудь скрутил бы, а отвечать мне. Что бы дали тебе пять минут?

— Ничего, — обиженно огрызнулся Кузьма. — Ты вон откуда тащилась, чтобы посмотреть монастырек.

Никогда еще в таком тоне он не говорил с ней, и это ее озадачило. Конечно, тут не обошлось без Махоркина, но самое опасное было позади.

— В этом соборе я была три раза, — желая замять ссору, уступчиво сказала она, — я ведь хотела показать тебе...

Кузьма шел быстро, вразвалку, засунув руки в карманы пальто. Дождь, не переставая, долбил в его чудовищно широкую спину, похожую на обитую черным дерматином дверь. Полина Макаровна семенила рядом с ним, она была на две головы ниже Кузьмы, и ей никак не удавалось пристроить свой зонтик.

— До театра есть еще время, — тяготясь молчанием, заговорила она. — Куда бы ты хотел сходить?

Они уже оторвались от экскурсии, шли сами по себе; Кузьма

угрюмо молчал. То, что произошло на стоянке, задело его, — обида не обида, но какое-то упрямство засело в нем...

Полина Макаровна увидела Кузьму полтора года назад, весной, возле шумного магазина стройматериалов. Он стоял с ведерком и малярной кистью на длинной палке. Ее поразил запущенный вид Кузьмы, его кургузая, затрапезная одежонка, заляпанные известкой ботинки и просительное, жалкое лицо. Сгоряча она даже пристыдила его:

— Труболетом стал! А ведь был человеком, койку имел в общежитии, из двухсот рублей не вылезал...

Кузьма, моргая белыми ресницами, покорно молчал. Что он мог сказать? Когда-то все так и было — и койка в общежитии, и приличный заработок; он работал на «Русском дизеле», развозил на тракторе с прицепом заготовки по цехам. Осенью с ним стряслось несчастье. Перед ноябрьскими праздниками, на пару с Махоркиным, он полез на крышу заводоуправления крепить панно. Его всегда просили в таких случаях. Он не переносил высоты, голова кружилась, шатало, но первый раз постеснялся признаться, а потом уже и неловко было отказываться...

Хирург, когда выписывал, откровенно объяснил ему:

— Шов грубый, но внутри чисто, не переживай. Вообще-то, когда привезли, я считал тебя *кандидатом*... Почку подшил, селезенку выкинул, но свое поживешь, сердце у тебя в порядке.

Получив третью группу, Кузьма не придумал ничего лучше, как устроиться в охрану на семьдесят рублей; ночь через две спал на кожаном диване в коридоре одной строительной конторы на Мытнинской. А днем, томясь от безделья, с кистью, ведерком приходил к магазину стройматериалов. Той весной его друг и пастырь Махоркин неожиданно улетел в Магадан. Кузьма осиротел. Заводить друзей он не умел, плыл, пока не прибьет к какой-нибудь отмели. Махоркин опекал его лет двадцать, с ФЗО, с «фазанки». Их сроднило пережитое — блокада, безотцовщина, нужда. Махоркин часто менял работу, и Кузьма безропотно, как нитка за иголкой, таскался за ним; и вот остался один как перст.

С Полиной Макаровной он был знаком по заводу, в то время она работала в машбюро.

— А вы все на «Дизеле»? — выслушав ее упреки, спросил он.

Нет, ответила она, с завода ушла, устроилась на полставки в ясли делопроизводителем; до полного стажа ей не хватает трех лет; зарплата для нее роли не играет — после войны работала в Мурманске и для расчета пенсии может взять те годы.

— С жильем как у тебя? — спросила Полина Макаровна.

— На очереди стою, дадут что-нибудь из старого фонда. Живу пока у Махоркина, комната у него на броне, оставил мне ключ...

— За городом тебе пожить надо, быстрее окрепнешь. Что тебе здесь глотать пыль?

— Я сам об этом подумывал, — признался Кузьма. — Может, пойду на лето в пионерлагерь сантехником.

— На два месяца? Ерунда... Переезжай ко мне, — вдруг предложила она, цепко взяв его за локоть. — Вырица, прекрасное место, сосна... Дом у меня свой, что мне одной в трех комнатах аукать? Дом на два хода, живи, как тебе хочется... Переезжай!

Как хочется, Кузьма жил недолго, до майских праздников. На майские устроили гулянку, открыли дверь, стали жить вместе.

Весной и летом основной доход Полине Макаровне приносили цветы, при доме у нее был участок, тепличка. Кузьма подремонтировал ее, сменил дверь, прогнившие рамы, остеклил. Зимой же, когда в парниках не было работы, сидел в сарае и, сложив стопкой бумагу на чурбаке, вырубал пробойчиком лепестки. Полина Макаровна вощила, красила и возила венки на Южное кладбище.

Прошлой осенью Кузьму вызвали на ВТЭК, осмотрели, признали здоровым и сняли с группы. Он пошел в кадры на свой завод. Его не забыли, пиши заявление и хоть завтра выходи; предложили общежитие.

Заявление он написал, но больше на завод не показывался. Полина Макаровна, узнав его намерения, разрыдалась:

— Надоела я тебе? Чего тебе у меня не хватает? Ухожен, сыт, одет, три газеты выписываю, сиди, телевизор смотри...

Зимой, томясь от безделья, Кузьма поработал на одном заводишке. Полина Макаровна устроила его туда с прицелом: можно было таскать обрезки, стальные уголки. Потом с этими уголками он ходил в гараж, к знакомым шоферам, где была сварка, и варил аквариумы, — на рынке на них был спрос.

Полина Макаровна усердно опекала его, во все вникала, решала за него, и Кузьма всецело вверился ей. Особенно после случая на платформе. Однажды в воскресенье, когда он ехал на рынок со своими аквариумами, к нему привязался какой-то подвыпивший тип, толкнул, Кузьма ударил его. Сержант-милиционер предложил обоим проехать в отделение. Кузьма сперва заартачился, но Полина Макаровна — она тоже ехала с ним в город — вовремя подмигнула: поезжай, я следом. Кузьма сра-

зу успокоился, смело полез в машину со своим стеклом, — Полина Макаровна знает, с ней не пропадешь. И точно, она все прекрасно уладила.

За полтора года он привык жить с ней как за каменной стеной. Раньше за него решал и думал Махоркин, теперь она. В любой обстановке Полина Макаровна знала ходы, не терялась. «Кузьма, — говорила она, — твое дело телячье, сама разберусь, что к чему». И с ее голоса он стал беспечно повторять за ней: «Мое дело телячье, обмочился и стой».

Потихоньку Полина Макаровна обтесывала его, чтобы он не торчал белой вороной среди ее культурных знакомых и родни. Его книги по дизелям, слесарному делу, обработке металлов она незаметно перетаскала на чердак. Пыталась приучить Кузьму читать по вечерам толстые романы, но часов в восемь его уже клонило в сон. Сама она бродила ночью по комнатам часов до двух, раскладывала пасьянсы, слушала пластинки — оперу, орган — и спала потом до девяти. А Кузьма был жаворонком, вставал в шесть, жарил себе из мороженой картошки котлеты, чинил обувь или уходил в сарай, где у него стоял слесарный верстак. С котлетами сначала были недоразумения, — Полина Макаровна никак не могла понять его вкус.

— Зачем картошку в холодильнике морозишь? Из свежей нажарь.

— Из свежей они как трава...

Она смеялась:

— Кто это тебя приучил?

— Матка в блокаду жарила.

С питанием кое-как утряслось, оставался еще бедлам в квартире. Кузьма возмущался: никакого порядка, все вверх дном, носки полдня ищешь.

— Еще раз увижу днем на кресле ночную сорочку — топором порублю на лоскуты!

Однажды так и сделал. Полина Макаровна только посмеялась. Жадности к деньгам она не питала, да и не переводились как-то они у нее.

— Кузьма, Кузьма, — смеялась она над ним. — Ничего ты, чудак, не понимаешь. На эту ли чепуху человек должен тратить свою жизнь?

Да он и сам понимал, что дело совсем не в этом хламе, беспорядке, просто иногда вспыхивала в нем свирепая потребность хоть в чем-то настоять на своем, а потом опять жилось и привычно и спокойно. Что ему еще надо?

По субботам Полина Макаровна возила его в театр, несколько раз и балет смотрели. Молодым Кузьма занимался боксом,

имел разряд, бегал по утрам в парке, обливался холодной водой. Болезнь выбила его из колеи, но зарядку все же делал, раз в неделю выбирался на пробежку в парк. В Вырице через год его увлечение спортом сошло на нет. Зарядку забросил, ложился рано, вставал попозже и наконец стал, как и Полина Макаровна, блаженно валяться в постели до девяти.

В августе в Вырицу внезапно нагрянул Махоркин. Эти годы он пропадал где-то на прииске, на Колыме, и вот прилетел в отпуск, в шляпе, с золотым зубом, разодетый в пух, с польским чемоданом в ремнях и бляхах.

— О! — выпучился он на Кузьму, узнав, что к чему. — Нашел себе подругу. Моложе нет? Вчера метусь по Загородному часов так в шесть утра, со второго этажа с балкона девица на веревке майнается, прямо мне на руки. Блондиночка, глазенки во! Я ее цоп! А ты такой видный, амбалистый и связался с какой-то пенсионеркой.

Кузьма, помаргивая, как бы оправдываясь, бормотал:

— А что? Она человек хороший...

— Любишь, что ль? — с ухмылкой спросил Махоркин.

Кузьма покраснел. Он не умел лгать, и если не хотел чего-то говорить — отмалчивался.

— Живем... Заботится она обо мне, комнату в городе выхлопотала, с телефоном...

— О, только тебе телефона не хватало. Кому звонить?

— Это точно, некому. Всех в блокаду потерял.

— Работать чего бросил?

— Стажа хватает, работаю с четырнадцати лет.

— Что же ты делаешь целый день? — настырно допытывался Махоркин.

— Так, в основном по хозяйству. Вечером в гости ходим или в театр.

Махоркин смотрел на Кузьму как на зачумленного.

— У тебя все дома? Ты же специалист, механизатор широкого профиля. Поедешь со мной в Магадан?

— А Полина Макаровна?

— Катись с ней к едрене фене! Все! — заорал, взбеленясь, Махоркин.

И сгинул куда-то, несколько недель пропадал, потом снова появился и даже приехал проводить их вечером на вокзал, когда Кузьма с Полиной Макаровной собрались в Таллин.

Полина Макаровна устраивалась на ночлег в купе, мужчины стояли около вагона на перроне среди галдежа, суматохи, беготни. Махоркин улетал восвояси на прииск, на руках у него на завтра был билет.

Кузьма отказался лететь с ним, и теперь в последнюю минуту на перроне его вдруг взяло сомнение. Почему всю жизнь его преследовал страх остаться одному, всю жизнь он жался, лепился к кому-то? Почему он не может, как Махоркин, лететь куда-то один на свой страх и риск, куда ему вздумается?

...Ветер трепал деревья, метался, подгоняя толчками в спину, зонтик опрокинулся. Полина Макаровна еле свернула его.

Со стороны порта несло над черепичными крышами лохмотья туч. Как будто там выжигали нефть, и это будило забытое прошлое... За всю дорогу он не открыл рта, дождь упорно колотил его в кепку, в окаменевшее лицо.

Вечером они смотрели спектакль, и в антракте Полина Макаровна мягко корила его:

— Нельзя, Кузьма, жить так. Ничего, кроме тракторов, железок, не интересует тебя, как будто на них свет клином сошелся...

— Ага, — буркнул он, — одна ты знаешь, что мне надо.

Он дерзил, но она крепилась и вслух только пожалела его:

— Ах, Кузьма, Кузьма...

До ночлега они добрались глубокой ночью. Остановились не в гостинице, так как не были расписаны, а на брандвахте, ошвартованной недалеко от центра, на Пальясааре. Накануне поездки знакомая Полины Макаровны позвонила багермейстеру, и им выделили здесь каюту.

Выходив за день полгорода, Полина Макаровна, не чуя ног, еле дотащилась до койки и сразу стала стелить постель. Она попросила его поднять ее завтра часов в восемь, чтобы пораньше выбраться в Пириту. Кузьма, не раздеваясь, завалился в угол дивана, уткнулся в «Футбол-хоккей» — газетенку, которую не переносила Полина Макаровна. Засыпая, она поглядывала на его насупленное лицо, чувство вины щемило. Уж надо было разрешить ему посидеть в «форде», думала она.

Убедившись, что она спит, Кузьма тихо выбрался из каюты и пошел на вокзал — ночной поезд на Ленинград уходил в половине второго...

Утром он был уже дома, в своей городской квартире, и сразу стал собирать чемодан. Из коридора посыпались частые телефонные звонки, он понял — междугородная.

— Але, квартира? Але! — бессвязно лепетал в трубке знакомый жалкий голос. — Вы слушаете? Але, Кузьма приехал? Позовите Кузьму!

Изменив свой голос под старика соседа, Кузьма заунывно спросил:

— Ка-во-о-о?

— Кузьму, Кузьму Александровича... — И вдруг голос ее задрожал, заметался: — Кузьма, Кузьма! Это ты?

— Его не-е-ту, он улетел в Сыктывкар...

— Кузьма, милый, не вздумай... Я не переживу... Я... — голос ее захлебнулся, пресекся. — Кузьма-а-а...

Минут через пять позвонили снова: такси, заказанное им в аэропорт, выехало от Сенной площади к его дому.

Акмурат Широв

ГОРСТЬ БАБУШКИНЫХ ДНЕЙ

Лирические миниатюры

КАЛЬЯН

По ночам бабушка сильно кашляла. Спали мы вместе в одной комнате. При свете керосиновой лампы, сидя на пестром ватном одеяле, я часто видел, как она заходилась от кашля, беспрерывно мотая головой, и в конце концов превращалась в бездыханный синий клубок. Я приносил ей воду в алюминиевой кружке, зачерпнув из ведра, стучал ладонью по спине — это, конечно, не помогало. Было одно средство — кальян, но я его не подавал, пока не протягивались, шаря, ее дрожащие руки. Только припав к кальяну, вдохнув целебный дым, она успокаивалась.

Курила бабушка с первых лет замужества. Я представлял себе молодых женщин, сидящих кругом и из рук в руки передающих медный гравированный кальян. Они брали его руками в браслетах, баловались дымом, перебрасывались прибаутками, хохотали, — словом, веселились.

В то время бабушка жила в отдаленной крепости. Внизу, под бой барабанов, отбивали шаг воины, громыхая щитами и штыками. Казалось, их строю не будет конца, шли и шли, серьезно, торжественно.

— Куда вы, воины? — спрашивали их.

— С германом сражаться!

В такое далекое время жила бабушка!

Туда ее увезли еще маленькой девочкой родители. На большом судне вниз по течению реки. Судно ждало их, слегка качаясь и тычась носом в ночной берег. Поспешно, бесшумно погрузились. Судно вместило семьи обоих братьев с пожитками и животными. Отчалили, и слабый ветерок спокойствия остудил жар братьев — они покидали родной дом, спасаясь от кровопролития.

Бабушкин дядя перелез через высокий дувал к чужой жене.

Их застали. Любовнику удалось бежать, таща раненую ногу, а изменницу утром публично зарубили на базарной площади. Теперь мщение ждало его, опасность угрожала и его близким мужского пола. С годами на сердце его легла тяжесть, он все сильнее мучился оттого, что стал причиной гибели женщины, причиной бегства родственников. И он добровольно ушел с теми, кто проходил, громыхая, под крепостью.

Бабушке удалось вернуться на родину уже с собственной семьей в советское время, когда беззаконию пришел конец. Тогда при переселении и исчез медный кальян. Теперь она курила особую тыкву в форме восьмерки, отполированную руками до медного блеска. Тыкву наполовину заполняли водой. Время от времени воду меняли. На верхушке сосуда восседала чугунная головка, где тлел табак, пуская в балки потолка клубы дыма. В груди у тыквы имелись две дырки. В одну вдевался чубук. Другую во время курения то закрывали, то открывали пальцем. И казалось, что бабушка играет на инструменте странной формы.

Однажды, когда дома никого не было, я решил поиграть на этом заманчивом инструменте. Вместо бабушки наказал меня кальян. Видимо, я не так воспользовался дырочкой: горькая, вонючая жидкость заполнила мне рот. С тех пор я исполнился брезгливостью к духовым инструментам.

Дым, проходя через воду, фильтровался, а вода в тыкве булькала — до чего же неприятен был этот звук!

Табак, похожий на темную капусту, рос у нас прямо во дворе. Высушенные и аккуратно нарезанные листики запихивали в кисет. От красивого мешочка с вышивкой, цвет которого нелегко было различить из-за пропитанности его табачной пылью, так пахло, что я чихал, даже когда приближал к носу пальцы.

Сколько раз пыталась бабушка бросить курить: то велела мне прятать кальян, то высыпать табак в помойную яму, то еще что-то — и все напрасно. После кратковременных перерывов она снова возвращалась к кальяну. Я уже не верил, что она бросит курить.

Как-то бабушка сидела во дворе на суфе и пряла шерсть весенней стрижки. Я рядом играл в альчики. Солнце уже сидело за дувалом, дневная жара спала, но бабушка, обычно курившая перед каждым намазом, с утра еще не брала в руки тыкву.

Внезапно она закашлялась: пыль с остропахнущей шерсти попала в горло. Когда приступ прошел, она, не прекращая крутить прялку, сказала:

— Верблюжонок, разбей эту тыкву-дьявола. Самой никогда не решиться.

Я не удивился, не переспросил; я тотчас с радостью побежал к нише в стене, где та стояла. Это было интересно, это было событие. Я не стал проявлять нерешительности, вроде бы разумной, которую обычно проявляли взрослые перед событием, заманчивым для детей. Взяв мучителя за узкое горло, ликуя перед расправой, я встал перед большим камнем у суфы:

— Бабушка, а как разбить? Может, топором...

— А тебе как хочется?

— Лучше о камень!

— Хорошо.

Я посчитал: раз, два, три — и, со всего размаха бросив, закричал: «Ура!» Тыква разлетелась, желтая, как желчь, пропитанная никотином вода растеклась по камню, распространив запах гари.

— Спасибо, джаным, избавил бабушку.

Я быстро взглянул на нее. Но она так же крутила прялку, словно ничего и не случилось, а мне хотелось встретить в ее глазах сожаление.

Я далеко швырнул бамбуковое горло кальяна, которое еще держал в руке.

Так она бросила курить и кашлять стала все реже. Но отвязаться от дурных привычек, наверное, было нелегко. Теперь бабушка «курила» нас — тоже табак, точнее смесь табака и извести, замешенную на хлопковом масле. У нее появилась другая тыква, маленькая, с гусиное яйцо, тоже отполированная до румяного блеска. Оттуда бабушка вытряхивала щепотку наса, клала под язык и через считанные минуты выплевывала.

— Нас хороший, не вредный, — утверждала она.

И я решил украдкой проверить это.

Нас обжег железы под языком и сразу ударил в голову. Мне показалось, что я лечу с развернутыми крыльями. Земля под ногами кренилась, голова кружилась, трещала от боли, тошнило. Кончилось тем, что я упал под мост, на котором попробовал эту гадость, и полдня пролежал у воды без сознания...

Бабушка потом часто вспоминала о моей «отваге». Не о той, разумеется, что «накурился» насом, — об этом она так и не узнала...

Когда мы бывали в гостях или гости у нас, если речь заходила о курении, бабушка, держа в руках свою маленькую тыкву, непременно рассказывала о том, как я ее спас. Женщины восхищались мной, угощая сластями. А я никак не мог понять: как можно называть это спасением, когда она одно зло заменила другим?

ВЕСНОЮ

За порогом вовсю хлестал дождь, вздувая пузыри. Я восхищался схожестью пузырей с нашим домиком и старался обратить на это внимание бабушки, которая возилась вокруг тлеющего очага:

— Бабушка, смотри, дождь делает домики!

Но ей, занятой промокшим хворостом, было не до моего сравнения. Так просто, из вежливости, кивала:

— Да, да, похоже.

Весной мы оставляли зимние дома и переселялись вместе с животными за городок, где было вдоволь воздуха и зелени. По длине всего арыка, куда осыпали цветы абрикосы, персики, алыча, возникали, как грибы, летние домики — купола из циновок. В домиках было много дырок. Они оставались между переплетениями тростниковых камышей. Я сравнивал дырки с печеньем.

— Дом полон печенья, а мне есть нечего, — поддразнивал я бабушку, когда сосало под ложечкой.

Благодаря дырам любой порыв ветра попадал к нам, а дождинки проникали в гости через крышу, покрытую широколистными растениями. На полу ставили таз, и капли монотонно тренькали по нему. Капли лезли и через дымоход, но, едва смешавшись с дымом, испарялись в языках пламени.

Сколько запахов жило в кибитке: копоти, весенней сырости, последождевой свежести, размякших прошлогодних стеблей, разбухших веток!

Очаг — яма в земляном полу — находился под центром кровли. Вокруг очага и ели и спали, в непогоду варили обед и кипятили чай, грели руки и лепешки. Черствую лепешку ставили ребром на пепел перед жаром, подперев палочкой. И лепешка становилась снова свежей, приятно хрустела, чуть пахла горелым и пеплом.

В углу хранилось зерно в домотканых полосатых мешках. Бабушка держала его как неприкосновенный запас. Каждый год содержимое мешков заменяли новым урожаем, а старое зерно отправляли в скрипучей арбе на мельницу — хараз. Хотя война давно кончилась и достаток все увеличивался, бабушка не забыла полных лишений и невзгод лет.

Под мешками празднично жили мыши. Продырявив мешки, безнаказанно, нагло таскали пшеницу в свои кладовые. Наша кошка часто гладила лапами нежные их тельца и с хрустом отправляла в рот. Но все же мышей было больше, чем требовал кошачий аппетит.

Рядом с мешками стоял жернов — два шероховатых камен-

ных круга. Одной рукой бабушка вертела верхний круг, другой — по горсти всыпала зерно в жерло. Из-под камня сыпался белый помол. Я макал в него палец и рисовал себе усы.

В долгие вечера она молола зерно и заодно баюкала меня. Я засыпал под жалобный скрип жернова. И каждое мое утро хранило отзвук этой грустной музыки.

Бабушке дел хватало: приходилось варить сыр, сбивать масло, печь лепешки — наливалась пшеница, поспевала джугара; телились коровы, ягнились овцы. Хорошо было смотреть, как корова лижет теленка, овца — ягненка, эти маленькие теплые существа, от которых шел пар. Хорошо было играть с ними, когда они немного подрастали, бегать вместе по лугу: теленок, ягненок, козочка, я и еще маленький осленок со связкой палочек на шее, которую вешали как украшение. Когда осленок ставил длинные уши торчком, загибал хвост и бежал, подпрыгивая, видно было, что он считает себя самым красивым среди нас: у других ведь не шелестели на шее такие подвесочки.

Я прибегал с улицы с засохшей в углах глаз пылью, голодный. У тамдыра мне отламывали большой ломоть хлеба с румяной горбушкой. Я дул на него, перебрасывал с руки в руку и бежал к бабушке, только закончившей сбивать масло в бурдюке и шлепающей по свежей массе, придавая ей округлость. Она мазала мне хлеб толстым слоем, а в придачу совала кусок сахара. Я снова убегал на улицу к шумной ораве детей из других кибиток, которые тоже держали такие ломти и щербатыми зубами грызли сахар, сдабривая его соплями.

Пока масло не таяло на теплом хлебе, на кромке оставались следы зубов. Я любовался этими зубчиками. Сахар у меня приглушенно хрустел. Я слышал, что у сестричек сахар иначе хрустит, как-то звонче, по-мышиному. Мне очень нравилось, как у них хрустит. Я пытался понять почему: может, у них зубы мельче, может иначе кусают, может потому, что они девочки?

Я проснулся и увидел, что после вчерашнего дождя воды в арыке прибыло. Худенькая сестренка уже стояла на берегу и неподвижно глядела в воду. Слабо подувший ветерок подтолкнул ее в спину и плавно опрокинул. Она растянулась мостиком на поверхности арыка, не утонув: лишь ротик, нос, глаза были в воде.

Меня сперва позабавила ее схожесть с чучелом, которое иногда ветер опрокидывал на грядки, где оно и лежало неподвижно, пока обратно не ставили. Затем рассмешила мысль, что ее как-нибудь может и смерч унести, как уносил, оторвав от земли, бабушкины циновки и бросал где-то за селением.

В своей мысли я ничего обидного для сестры не находил,

ведь сам всегда мечтал улететь и всегда делал усилие оторваться от земли, когда появлялся ветер-джинн. Но постепенно стало тревожно за сестру. Я стал тащить ее за ноги, звать бабушку на помощь.

Когда она ожила у теплого очага, растертая, укутанная, согретая чаем, я спросил: что она видела в воде? Она ответила: разные вышивки, расшитые бисером, они все время меняли цвет и рисунки. Я спросил: а чем дышала? Она ответила: запахом воды.

Тогда мне стало завидно. Мне тоже захотелось обнять, нюхать, пить эту утреннюю, мягкую воду арыка, душистую от лепестков фруктовых деревьев.

Однажды я остался один посреди поля. Почему очутился так далеко от дома — не знаю, то ли хотел открыть новые земли в окрестности, то ли унесло неизвестное чувство.

Небо гремело, будто где-то там выбивали ковры, небо било кремнем о кремень, метало молнии. Я замер в жути и ликовании, наблюдая движение туч, ловя губами первые свежие капли.

И пошел очень сильный, но по-весеннему легкий дождь. А потом крупные льдинки колотили меня по макушке, по плечам. Я обхватил голову руками, но градины теперь били по спине, обжигая тело через продырявленную рубашку.

Все кругом покрылось хрустальными леденцами, блестевшими под только что выглянувшим солнышком. Я поднял несколько градин, попробовал на вес, на вкус — они уже не обжигали. Скоро все растаяло, и от хрустальной сказки осталась одна омытая зелень. Я вспомнил слова бабушки о том, что вместе с градом падает с неба много непонятного.

Я побрел домой весь мокрый, продрогший, в разорванной рубашке. А бабушка всюду меня искала. Увидев меня, она улыбнулась. Я прижался к ее коленям. Я был счастлив, что она не заворчала, будто догадалась о пережитом мною...

РЕЧНОЙ И НЕБЕСНЫЙ ПАРУСА

Бабушкин брат жил за рекой на острове. На острове потому, что за островом была река — рукав той же Амударьи.

Острова были в белых сухих камышах. Обитали там утки, фазаны. На иные острова вброд переправлялись коровы — сами паслись, сами и возвращались. Часто на островах случались пожары. Языки пламени все слизывали начисто, и в реке оставались одни черные лоскуты. Иногда перед сном, выходя из дому, мы видали, как над рекой пылает небо.

Река часто меняла русло, будто скучно ей было течь по одному и тому же. Сжирала грунтовые берега жадно, ненасытно, большими кусками.

Мы часто переправлялись в гости к бабушкиному брату, и с нами несколько человек родственников. Считали, что так интереснее. Собираться начинали с утра. Тетки жарили в казане катламу: слоеную, большую, круглую, сверху посыпанную сахаром. С десяток лепешек катламы укладывали в огромное деревянное корыто и накрывали шерстяной скатертью, чтобы донести теплыми. К корыту я не приближался, от него несло жаром. Несли его по очереди на голове, пока не добирались до берега. Транспорта не было, разве что изредка кто-нибудь из своих провожал на ишаке, но вообще-то предпочитали не подвергать соблазну провожающего. Знали, что того, кто дойдет до реки, непременно потянет и за реку — не бросать же тогда ишака без присмотра? — так заманчиво выглядело своими пирамидальными тополями «гостевое» место.

В нашем путешествии была своя прелесть. По узеньким тропинкам, проложенным в сухих, высоких зарослях, мы один за другим пробирались на гул реки. Гул слышался за километр и, чем ближе подходили, тем громче становился.

Во главе вереницы шел кто-нибудь из старших, за ним следовали другие. Я восседал на спине бабушки. До семи лет она носила меня так — ей нравилось и мне.

Иногда дорогу нашу перебегали зайцы, иногда пугливо подымались фазаны с красивым оперением, редко, но слышали и вой шакалов, и хрюканье кабанов. Вот тигры никогда не встречались, хотя о них ходили слухи.

Когда наконец впереди открывалось огромное и пустое пространство, которое обдувало нас прохладой и запахом рыбы, я сползал вниз на свои отекшие ноги и бежал к берегу.

— Не подходи близко! — предостерегали вслед — слова еле различались в гуле.

Один из дядей подходил к берегу, складывая руки рупором и протяжным голосом отправлял весть через реку на другой берег:

— Га-за-ан а-а-га-а!

Раздавалось эхо, и казалось, Газан-ага-лодочник отвечает с того берега своим же именем.

Снова кричали. Пробовали свои голоса и другие, в том числе я. Через некоторое время на той стороне замечалось шевеление. Теперь проверяли зрение. Прикрываясь от солнца — кто козырьком, кто рукой, — зорко вглядывались: «Вижу!», «Не вижу!», «Тебе показалось!», «Да нет же!», «Вижу, вижу!», «Где?».

На реке появлялась черная точка, она все увеличивалась. Чтобы не жариться на солнцепеке, пока причалят лодочники (неизвестно было, когда они причалят: через час, через два), собирали верхушки камышей, связывали, накидывали охапками трав — получались неплохие шалаши. И по два-три человека прятались в этих шалашах.

Трудно было спускаться в лодку. Причала не было. Ноги вязли в топи, лодка кренилась. Я думал: вот сейчас дядя ступит в лодку своим бычьим весом и мы перевернемся. От веса садившихся людей лодка все больше и больше оседала, до воды становилось так близко — теперь я не сомневался, что утонем.

Один из лодочников, стоя на корме, отталкивался длинной жердью от берега, отплывающего куда-то косо, кружа голову.

— О, алла! — призывала бога на помощь бабушка, прижимая меня к себе.

И другие подхватывали: о, алла, — так все время, пока не ступали на сушу.

Распускали белый парус, он заполнялся откуда-то появившимся ветром — ведь вроде его не было! Лодку все быстрее уносило от берега. Хотя меня перед отплытием кормили, на реке разыгрывался аппетит. Бабушка отламывала катламу. После еды хотелось пить. Наклонясь, кружкой зачерпывали воду, потом отстаивали, чтобы осел ил. Все смаковали эту необыкновенно вкусную воду, святую воду, как все считали, кормилицу, дарительницу жизни, — мочили ею глаза, молились на нее.

Лодка протекала. Кому-то приходилось постоянно черпать консервной банкой лужу со дна...

Потом над городком появились аэропланы. Мы с бабушкой теперь в гости летали. Самолеты были транспортные, не имели даже сидений, но сам пятиминутный полет был для нас немалым удобством. Мы присаживались на корточки в багажнике. Над нами захлопывали застекленный люк, через который любовались небом, хотя уже были в небе. Потолок висел так низко, что взрослым приходилось сидеть, втянув головы в плечи.

Над рекой самолет словно останавливался и камнем падал вниз. У меня от испуга внутренности в горло лезли. Я ждал, когда врежемся в реку, но самолет стучался брюхом о что-то твердое, как мне казалось — о верхушку корявого тута, и не погружался в воду. Я удивлялся, что в реке может расти дерево. Потом внизу показывались спичечные коробки домов, и я успокаивался.

Бабушка носила большой марлевый платок. Это была ее собственная мода, она считала, что марлевый платок хорошо охлаждает в жару. В один из наших полетов, когда крышку захлоп-

нули, платок защемило и добрая его половина осталась за бортом. Летчики, большие шутники, и не подумали его вытащить. Во время полета они все время хохотали, вместо того чтобы бояться, подобно нам.

Потом выяснилось, что смеялись они над платком, реявшим над самолетом, как какой-то небесный парус. И жители на обоих берегах увидели это. Люди тогда любили смотреть в небо, услышав рев аэроплана, выбегали из дому, бросали кетмени, роняли тюбетейки. Все увидели белеющий над самолетом бабушкин платок, и всем стало смешно. Смеяться уже всем хотелось, тяжелые дни войны ушли в прошлое. Потом долго еще над бабушкой подшучивали. А я тогда думал: вот переправились на тот берег первый раз не в лодке, а вышло так, что все равно под парусом!

НАВОДНЕНИЕ

Нас встретили сыновья бабушкиного брата с ишаками. Меня с бабушкой и других гостей посадили верхом, а сами поехали вслед по проселку на велосипедах. На острове стояло всего несколько домов на порядочном расстоянии друг от друга. Занимались их обитатели частным хозяйством, вернее не совсем частным, но жили как частники.

Весною над островом разносился треск тракторов. Все жители от мала до велика пропадали на теплой пашне, собирая лекарственные корни лакрицы и сооружая из них горы. Затем, погрузив на баржу, отправляли в город на переработку, а вспаханное поле засевали бахчевыми, которые особого ухода не требовали. К середине лета всюду на острове валялись огромные арбузы в кроваво-красных трещинах, пахучие дыни и тыквы, подобные упавшим в ров быкам. Приезжали грузовики, загружались «сладкими водами» и мчались поить горожан.

У бабушкиного брата было двенадцать сыновей и дочерей. Но жили все одной семьей, вместе: зимою в мазанках, летом в таких же, как и мы, круглых тростниковых хижинах. У них были свои огороды, коровы, бараны, собаки, кошки, охотничьи ружья, крупные крючки для ловли больших сомов — маленьких речных китов.

По дороге нам пришлось несколько раз преодолевать крутые, воздвигнутые лопатами и бульдозерами, валы. Они были покрыты солончаковой коркой. В проезжих местах из насыпей струился песок.

— Что это? — решил я выяснить у велосипедиста.

— Дамбы, — ответил он.
— А для чего?
— От наводнений.
— Каких наводнений?
— Хм, а может, еще узнаешь, — сказал не очень любезно местный родственник.

К нам навстречу шел бородатый старик в хивинском халате, подпоясанном кушаком. Говорил он музыкально, звонко, словно горло смазал жиром, а руки, наоборот, у него были шершавые.

В доме поднялся переполох: объятия, сердечные восхищения: «Приехали, радость-то какая!», «Сват привет передал!», «Сами живы-здоровы, животные целы?», «Целый месяц уже снитесь!», «Проходите, дорогие, проходите!». Суфу застелили длинным рядом ярких цветастых ковров, раскидали бархатные пуфики. Принесли гору пиал, чайник с освежающим зеленым чаем, большие вазы с виноградом и персиками, вазы с кишмишем, урюком, орехами, вазы с халвой, рахат-лукумом, парварди. Дыни золотились, и арбузы темнели под рукой.

Барашек, которого увели за дом убивать, жалобно заблеял. Его освежевал сам старик. Закатав рукава, он стоял над животным, лежавшим со связанными ножками. Длинный нож играл на точильном камне.

— Напоил? — спросил старик того велосипедиста, который собирался помочь ему.
— Да.

Чего он печется: напоили — не напоили, все равно ведь убьет, какая разница, пить барашку воду перед смертью или не пить? — думал я, но спрашивать не решался.

— Бе-е-е!

Я закрыл глаза, а когда открыл, яма, над которой перерезали шею барашка, уже была полна застывшей багряной крови. Лохматый пес, истекая слюной, готовился ее лакать. Барашка подняли и повесили на крючок шеей вниз. Старик стал кулачищем подпарывать шкуру.

Разделанная туша парилась на подносах. К мясу я брезгливости не почувствовал, хотя ни жалость к барашку, ни неприязнь к старику, ни тошнота, ни жуть не забылись.

У очага тоже хлопотал брат бабушки, собираясь лично угостить нас пловом. Такое важное и ответственное дело он не доверял женщинам. В большом, черном, начисто протертом казане кипело хлопковое масло, шипя и брызжа. Младший брат засовывал хворост под казан. Хворост стрелял, с треском посылая в открытое небо дым, искорки, мелкие уголья.

Все уже было в казане, слоями: жареное мясо, кружочками нарезанный лук, соломкой нарезанная морковь, перебранный помытый рис, кишмиш. Все это накрыли крышкой, а крышку шерстяной скатертью и оставили тушиться.

Всем приятно было сидеть под открытым небом после духоты и хлопот дня, в прохладе вечера, неторопливо беседуя о знакомых, хозяйстве, предках, новостях. С нашими сидели местные гости, соседи по острову, которые вели себя по-хозяйски. Сами хозяева держались пока на ногах, хотя особых дел уже не было, но хороший тон этого требовал.

Дети были воспитанные. Каждый знал, что ему делать, как себя вести. Один из братьев с кувшином и тазиком в руках, с полотенцем на плече обошел по кругу сидевших, начиная со старшего, самого уважаемого.

До этого братья долго совещались, кого считать самым уважаемым. И, не решив спора, обратились к старику. Старик приказал начинать с соседа, друга дома. По обычаю, им должен быть мужчина, и потому бабушку обошли.

Принесли плоские деревянные чаши с дымящимся, ароматным пловом, с темно-красными, морковно-мясными вершинами.

Алый, как вино, круг солнца нырнул в реку. Трапеза кончилась. На дне чаш осталось одно масло.

— Алты, пей! — загалдели вдруг братья. Им хотелось, чтобы ужин завершился веселым домашним представлением.

Алты, средний сын, темнокожий, как негр, слил масло из всех чаш в одну, подержал ее всем напоказ — на дне темнело с четверть литра — обнажил зубы в довольной улыбке и опрокинул чашу.

— Выпил! Смотрите, выпил! — изумились вокруг.

— Плохо не будет? — спросил кто-то из наших.

— Наоборот, кишки смажутся, — ответил небрежно Алты и, как ни в чем не бывало, изменил тему разговора: — Сейчас нападут!

И в самом деле: над нашими головами появилась туча голодных комаров и набросилась на нас, упиваясь свежей кровью. Больше всего комары нападали на Алты. Вокруг расставили ведра с тлеющим кизяком. Едко-сладкий дым скоро унес их.

Расселились спать по хижинам. Хижина, которую выделили мне с бабушкой, стояла посредине. В дырки ее проникала свежесть ночи. От рогожи пахло сырой землей. Пахло близкой рекой. Кругом стрекотали цикады, издалека долетал лай шакалов. В неприкрытые двери заглядывало близкое южное небо с круп-

ными ясными звездами, которым бабушка давала интересные названия: Весы, Семерка, Путь Белой Верблюдицы.

Ночью я проснулся от мокроты под собой, шума воды, криков, плача, отчаянного воя собак, топота пустившихся прочь от берега зверей, запаха рыб и водорослей.

— Обмочился, что ли, верблюжонок? — спросила полусонная бабушка, ощупывая одеяло.

Мокрота становилась все обильнее — вода подымалась с невиданной быстротой.

— Бабушка, наводнение! — вскрикнул я, поняв вдруг, что это.

Перепуганная бабушка вцепилась в меня, словно когтями, и потащила к выходу. Хозяева, сыновья старика, забыв вчерашнюю любезность, по пояс в воде, в панике, каждый спасал свою жизнь, пробираясь к возвышению недалеко от дома.

Все произошло в считанные минуты. Малое промедление грозило бедой. Вода достигала подбородка. Бабушка держала меня на руках, и, чем выше подымалась вода, тем выше она подымала меня.

Шла наобум. Вели крики, шум, тени на воде под лунным светом.

Вода покрыла ее лоб. Уже ни криков, ни шума, ни шлепаний — гробовая тишина, будто заложило мне уши. Бабушка откидывала назад голову и приподымалась на цыпочки набрать воздуха. Держала меня над головой на вытянутых руках. Руки сильно дрожали, я видел ее перепуганные глаза. Скрылись глаза, остались одни седые волосы, плавающие на воде, как водоросли.

Чьи-то сильные руки вырывали меня, но я будто был прибит к чему-то под водой. ...

Я почувствовал под собой сухой, теплый песок. Со всех сторон ко мне прижимались чьи-то спины, груди, бока. Я боялся открыть глаза. В ушах шумело и шумело.

Утро поразило меня. Солнце невыносимо пекло. Окружала безбрежная, успокоенная вода. На ней плавали щепки, бревна, тряпки, бараньи шкурки, корыта, тыквы, — чего только не плавало! Купола хижин еле выступали из воды, как тюбетейки. На них сидели кошки и крысы.

Все в полном сборе сгрудились на клочке земли, словно робинзоны. Были тут и вчерашний пес, и ослы, привезшие нас, и козы с мокрыми бородками, и бабушка.

У меня ломило все тело — это давали себя знать ночные объятия бабушки.

НОСТАЛЬГИЯ

Когда я вернулся домой, отслужив четыре года на флоте, меня охватила скорее тоска, чем радость. В море я часто думал о доме, о городке. Я мечтал встретиться со своим детством, но, вернувшись, его не нашел.

От старинного шумного городка бабушкиной молодости уже ничего не осталось: ни улочек, петлявших меж глухих дувалов, ни айванов с резными столбами, ни двухэтажных амбаров, ни прокопченных дворов, разделенных на скотные и жилые дворы, а жилые — в свою очередь — на женские и мужские половины.

В разных городах я видел, как берегут старину, а у нас ее уже не было. Я знал, что в былые времена наш городок славился своими базарами, гремевшими по пятницам. Из дальних и близких кишлаков сюда стекались в тяжелых облаках пыли длинные вереницы пеших, вперемешку с арбами, навьюченными ослами, верблюдами. Верховые не подчинялись порядку верениц.

Продавалось все: ковры, расчески, гончарные изделия, одежда, кунжутное масло. Мальчишки зарабатывали деньги, работая водоносами. Здоровяки продавали мускулы, слабаки нанимали их мстить обидчику. Тут же совершались избиения. Выступали канатоходцы, масгарабазы, соревновались в острословии, состязались бахши.

Рядом с базаром стоял мавзолей святого, имя которого носил городок. Там приносились жертвоприношения и поэтому рядом всегда толпились оравы детей, нищих, дервишей и просто любителей бесплатно поесть. Бабушка рассказывала, как трактором снесли купол, скорее из соображений угождения начальству, чем с целью покончить с пережитками прошлого. Трактор почему-то сгорел, видимо это было предусмотрено раньше, чтобы мунджевир мог толковать это как наказание свыше.

А мечеть не тронули, может, боясь согрешить, а может, из практических соображений. Ее превратили в скотный двор с бойней. Теперь вместо пения муэдзина, раздававшегося там по вечерам, доносилось оттуда мычание коров.

Из недавней старины прочно стоял только железнодорожный вокзал в окружении двухэтажных краснокирпичных домов. Их построили военнопленные австрийцы, но бабушка тогда уже не жила тут.

Над городом возвышалась каменными неприступными стенами крепость. В ней когда-то располагался наместник бухарского эмира с подчиненным ему зинданом, с колодками, средневеко-

выми орудиями пыток. Колодки — два длинных бревна с отверстиями, одно бревно для ног, другое для шеи. Я помню, как мы рубили их на дрова. Закованные в них люди лежали на полу в один ряд. Надзиратели считали их носком сапога по бритым, бестуловищным головам, торчащим за бревном, как тыквы.

Говорили, что под крепостью проходила подземная дорога, соединяющая соседние укрепления. Вдоль всей Амударьи, по обоим берегам реки, еще с незапамятных времен тянулись крепости. При осаде одной из них соседи могли через подземный ход выслать подкрепление. Теперь, по рассказам, там обитала гигантская змея, ювха-проглотительница.

История родного города для меня была окрашена романтикой, бабушка же неохотно вспоминала о прошлом, отмахиваясь: ах, не спрашивай!

Она охотнее вспоминала о Великой Буре, пришедшей с севера и унесшей по разным причинам чуть ли не половину жителей, но принесшей счастливую жизнь; рассказывала и о Великой Войне, проглотившей еще треть населения — но войне священной.

В старом городе я находил заброшенные, полуразвалившиеся дома, заборы, пустую базарную площадь с магазином, где когда-то выдавали хлеб по карточкам, засохшие кусты в чарбагах — четырех садах. Родившись, я и застал таким место, где появился на свет. Я играл в развалинах, босиком бегал по колючкам, лазил на стены, искал клад, находил всякий хлам и кости. Наступал на змей — как много их было! Это были кофры, эфы, гюрзы — змеи с колокольчиками и с очками, с рогами и двухголовые, шипящие и сухие, большие и малые. Они жили на потолках домов, обвивая балки, под полом, иногда вылезая из щелей. Бабушка говорила: если мы их не тронем, они не тронут нас. И действительно, мы ладили. Змеи так сильно вжились в мое воображение, что редко мне снились потом сновидения без змей...

Бывало, дядя, едва проснувшись поутру, не умывшись, спрашивал, выйдя во двор:

— Поесть нечего?

— Нету, — отвечала бабушка.

Тогда он поворачивал в дом и выходил оттуда уже с ружьем. Через несколько минут недалеко от ворот раздавался выстрел, и дядя возвращался с фазаном или зайцем, оставляя за собой след крови.

Потом началась очистка полей под хлопковые, рисовые плантации. Исчезли руины, исчезли змеи, улетели фазаны, совы,

убежали шакалы, дикие кошки, не стало колючек, камышей. Под крепостью поставили кирпичный завод, оказавшийся той ювхой. Она и проглотила историю города. Всюду встали, как из инкубатора, новые дома. Грунтовые улицы, летом славившиеся бесплатной пудрой, а зимой смазкой для сапог, остались под покровом асфальта, вдоль них развели газоны! Средневековый городок превратился в районный центр нового типа.

Это произошло не вдруг, не за четыре года моего отсутствия. Началось все постепенно, на моих глазах, еще в годы, когда я ходил в школу. Тогда меня радовали изменения, даже мечтал, чтобы тут нашлось какое-нибудь полезное ископаемое. Появилась промышленность, и наш городок перерос в большой город.

Значительную перемену я заметил, когда вернулся. Я спрашивал бабушку:

— Скажи, где твой тамдыр, где твой очаг, казан, кумган, где ты жаришь катламу, где твой дом, старый, добрый, оставшийся от моего прадеда?

— Верблюжонок, я уже ничего не делаю, и дом мне уже ни к чему, а молодым нравится у себя. Разве плохо жить в таких дворцах, чистых, уютных? А газ? Никакого дыма! Разве твою бабушку ослепила не та проклятая копоть?

— А тебе не хочется поехать на ишаке к родственникам, посадив меня, как раньше, на крестец? — спрашивал я.

— Сейчас ходят хорошие автобусы, правда мне в них дурно от запаха бензина, здоровье уже не то, но молодым нравится! А сколько палок я переломила на упрямых ишаках, сколько нервов извела на понукания! Разве бабушку твою состарили не те ишаки?

— Бабушка, где запах тех непроходимых лесов, где лисицы, почему по ночам не поют сверчки? Где все то, что тебя помнит? Я сегодня ходил и искал, и ничего не нашел. И река не так течет, и не так пожирает берега — укротили ее, и цвет ее воды не мутный, и пить ее уже нельзя, зачерпнув пригоршнями. И острова не горят, как бывало... И у тебя не те платья...

Она улыбнулась, видя, наверное, во мне того маленького внука.

ГОРСТЬ ДНЕЙ

Бабушка имела трех сыновей и трех дочерей, помимо тех, которые не выжили или погибли на фронте. Сыновья были женаты, дочери замужем, и все жили самостоятельно в собственных дворах, в кругу своих детей.

Недавно она стала прабабушкой и по обычаю, как в старину, пила целебную воду с пухленькой ладошки правнучка, в которой еще даже не держалась вода, и потому она просто коснулась влаги: на счастье, на здоровье, на долгую жизнь.

Старушка ночевала в семье то у одного из своих детей, то у другого, постоянно кочуя из дома в дом, стоявшие на одной улице. Ей не хотелось надоедать одним постоянным пребыванием, обидеть остальных небрежением. Сама появлялась, сама исчезала. Никто не следил, пришла она или ушла, поела или нет, никто не ухаживал за нею. Снохи угощали ее тем, что отвергал какой-нибудь капризный внук. Если она занемогала, посещали — как бы чего люди не подумали.

Однажды она упала, споткнувшись на ровной земле. Это вызвало раздражение, ухмылки, хотя ей помогли подняться и справились участливо:

— Не ушиблись?

И упрекнули по-свойски: надо же быть осторожнее, под ноги глядеть!

И презрительно зашептали: вид имеет здоровый, а внутри пусто, как у источенной балки.

Не забыли посплетничать и о том, что старуха хорошо держалась, пока было целым содержимое шкатулки, оставленной ей дедом, а стало там пусто — сразу упала духом, опустилась. Выходило так, будто золото было ее талисманом, поддерживающим дух, будто бабушка как тот дэв из сказки, душа которого хранилась не в нем, а в кувшине!

Правда, у нас дома в сыром углу стоял сундучок, маленький, с деревянной ручкой, как у чемодана, и такой старый, что почти ровесник бабушки. Сундучок я знал с тех пор, как себя помню. Все это время он запирался одним и тем же бесхитростным замком (такие замки когда-то всюду встречались, а теперь стали редкостными), так что его запросто можно было отпереть проволокой. Бабушкин приемный сын так и делал. Он лазил туда и крал каждый раз из хозяйственных денег такую сумму, которая была мало заметна.

Я всегда заглядывал в сундучок, когда бабушка открывала: знал, что она хранит там старинную шкатулку со сбережениями, амулеты, какие-то благовонные зерна и всякие любопытные мелочи, и почему-то черный порох в мешке.

Старушка была очень привязана к своему сундучку, и уголок, где он стоял, считался ее уголком.

Недавно я застал ее там. Крышка была приподнята, я заглянул и не увидел ни шкатулки, ни бумажных денег, ни любопытных штучек. На дне, застеленном рваной газетой, лежало

смятое платье, несколько пуговиц и тот неизменный черный порох.

— А зачем тебе этот порох?

— Когда-то покойный дедушка велел припрятать, с тех пор и лежит.

— Порох может воспламениться, давай выбросим.

Я не знал, действительно ли может воспламениться.

— Но, верблюжонок, если так, уж давно бы воспламенился. Пусть теперь лежит.

Да, без пороха сундучок совсем бы опустел, тогда незачем было бы хранить и сам сундучок.

Тетки рассказывали такую историю.

В полдень, когда солнце над макушкой варит мозги, когда все ложатся спать в холодке, вплоть до пса, бабушка вытащила шкатулку с золотыми монетами эмирской, афганской, николаевской чеканки и начала перебирать. Внезапно в дверях появилась соседка, хитрая сладкословная Бибнур-апа. Это было в те времена, когда каждый подозревал и боялся другого. «Хи-хи-хи!» — засмеялась она характерным для нее смешком. С того дня монеты стали убывать. Использовала Бибнур-апа шантаж, или бабушка сама старалась ей угодить из боязни, или она неясно представляла себе их ценность, или по простоте своей не придавала им особого значения — неизвестно. Теперь не было ближе человека для Бибнур-апы, чем бабушка. И бабушка отвечала ей тем же.

Бибнур-апа доставала в теперешнем понятии никудышные, а в тогдашнем — дефицитные отрезы материи, приносила их в подарок и уносила монеты. Если бабушка болела, приносила какие-то таблетки, показывая, что больше печется о ней, чем ее дети, и уходила отплаченная золотом, а потом поддразнивала теток, что многие в городке стали фиксатыми благодаря их матери. А тетки упрекали мать, проворонившую зубы, которые могли блестеть у них во рту.

— Правда ли, бабушка, что ты имела горсть золотых монет? — спросил я ее однажды.

— Не помню, айналайн, имела ли я горсть монет золотых или горсть песка зыбучего.

И я подумал о горсти бабушкиных дней.

— А насчет монет — это все выдумки Бибнур-апы, — засмеялась она.

— А зачем ей это надо было?

— У нее было золото, верблюжонок, но она хотела это скрыть.

— И ты не думала уличить ее?

— Стоило рассеивать такую интересную выдумку о себе? — пошутила она. Немного погодя сказала: — Правда, было у меня немного серебра, украшений, я отдала их во время войны в казну, чтобы деду и детям легче было воевать там, в зимних странах.

ШАЛЬ С КИСТЯМИ

Несмотря на свои семьдесят пять лет, бабушка еще не была безразлична к красивой одежде. Я помнил, как она любила наряжаться в свои сравнительно лучшие годы. Теперь она зависела от детей, не имела возможности выбирать по вкусу, — что дарили, то и носила.

Я уезжал учиться. Родственники и их бесчисленное потомство всех возрастов и ростов пришли провожать. Заполнив двор, галдели, желали мне доехать целым и невредимым.

Последней меня обняла бабушка. Я ощутил ее маленькие, иссушенные кости. Она заплакала, я шутя ее поднял, чтобы приободрить, — весила она не больше куколки. Широкое платье и высокий головной убор, какие она носила еще в молодости, когда курила кальян с молодухами, делали ее моложе, и я этим обманывался.

Глядя на нее, не верилось, что это та бабушка, которая долго со мной возилась, носила на спине, спасала от наводнения; не верилось, что когда-то я был сильно привязан к ней, но с годами отошел, оставил в одиночестве, как и другие внуки в свою очередь.

Надо было сделать ей что-нибудь приятное.

— Закажи, что ты хочешь, я привезу, — сказал я.

Она еле вымолвила:

— Джан... — и снова расстроилась.

— Ты не стесняйся, говори!

— В больших благородных городах, наверное, много хороших красивых платков... — начала она нерешительно.

— Я привезу, только скажи какой?

— Хорошо бы шерстяной, с кистями, чтобы цвет имел зеленый или голубой, чтобы на нем были яркие алые цветы...

Она взахлеб перечислила все качества платка, одно за другим, даже представлять красивую вещь доставляло ей удовольствие. Глаза засветились, плечи выпрямились, появилось даже немного кокетства, но вдруг опомнилась и боязливо взглянула на меня опять постаревшими глазами: не далеко ли зашла?

— Ты особо не торопись, когда попадется, тогда и купишь.

— Хорошо.

— А деньги я потом, у дяди...

Я обиженно взглянул на нее.

— Хорошо, верблюжонок, поезжай с богом, — быстро согласилась она.

Но подарок я обещал под настроением, и, как только оказался в городе, у меня появились другие интересы, другие заботы, но все же обещание где-то во мне жило и время от времени давало знать о себе легким беспокойством.

Иногда мне случалось заходить в универмаги по разным причинам, но подняться этажом выше, в отдел платков, ленился. Купить было на что, но все же не решался, успокаивал себя тем, что до каникул далеко, еще успеется.

Зимой не поехал. Так отложил до лета. Когда началась беготня перед отъездом, обнаружил: если куплю шаль, на билет не останется. Я взял билет, занял денег у знакомого и поехал в универмаг. Такого платка, как просила бабушка, не оказалось.

Всю дорогу было неловко: как появлюсь перед ней?

Старушка спешила мне навстречу, опираясь на посох. Все время я чувствовал на себе ее ласковый взгляд и не мог прямо смотреть ей в глаза, боялся встретить в них радостное ожидание подарка, которое сменилось бы разочарованием.

Особенно неловко было открывать чемодан, раздавать гостинцы прибежавшим детям. Мне стало стыдно за свою мелочность, малодушие. Я подошел и вручил ей обыкновенный кошелек из кожзаменителя. Право, подарка более глупого нельзя было придумать. Да и купил я его, имея в виду вовсе не ее.

Она обрадовалась, слезы потекли по морщинам. Я пробубнил что-то насчет платка, оправдываясь и в то же время давая понять, что не забыл. Сперва она не поняла, потом догадалась, о чем я.

— Ну что ты, главный подарок для меня ты сам. Пока жива, еще раз увидела тебя, что старухе еще надо!

Я почувствовал обегчение: значит, не помнила, не думала все время о платке (все время думал о платке я), ведь она же и не просила непременно в этот раз!

Потом о своем обещании я вспоминал все реже, отвлеченнее.

Приближались каникулы. Как-то вечером вернулся в общежитие. Почему-то перед глазами стояла бабушка: видел

ее маленькой девочкой, невестой, старухой, идущей вдаль, горбясь...

Утром я обошел все магазины и достал точно такой, как она хотела: с длинными кистями, с алыми цветами на голубом фоне — большой шерстяной платок. Но не мог успокоиться, пока в тот же день не улетел домой. Я торопился, мысленно подгонял самолет, так не терпелось быстрее вручить. Шаль я держал на коленях, словно бабушка ее уже сто лет носила.

Вышла встречать меня, как обычно, вся улица, взрослые и дети, и вроде не все. Шли навстречу, как и прежде, и вроде не так. И улыбались мне так же и вроде не так.

Согнутая старушка не ковыляла среди них, опираясь на посох. И дети ее не обгоняли.

Александр Лисняк

СМЫШЛЕНЫШ

Маленькие рассказы

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛЫЙ ДВОР!

Сначала тяжело тянется узорная чугунная калитка с тоненьким вихляющим пением; на асфальте — прочерченная ею белая дуга.

Рядом из асфальта торчит широкое темное лезвие с истертым до серебряного блеска торцом — счищать грязь с обуви. Провел подошвой, и из-под носка высовывается жирный язык глины. Или тоненькая, ломкая, земляная стружка.

И в аллейку входишь в легких, чистых башмаках.

Аллейкой я называл короткий тоннель, весь оплетенный диким виноградом. Его каркас — из водопроводных труб, из переплетений проволоки, — но это теперь, летом, почти не заметно. Теперь здесь плотный сумрак, сырая прохлада. На асфальте чернильные пятна раздавленных виноградин. Ползущая волнами серебристая гусеница. В навесе листьев тысячи ослепительных дырочек, они колют глаза, как иголки. Сухие жилы винограда, шершавые, в трещинах, такие мощные у земли, истончаются к небу, и там все кружевное от цепких вихрастых усиков. Они румяные и кисленькие.

Выбегаю, и сразу — жаркий, просторный, ослепительный двор. Он весь выпуклый, словно вершина земного шара, от растений, прущих из-под земли.

Под алычой старики играют в домино. Поднимают голову, смотрят на меня, снова опускают головы.

Здравствуй, милый двор!

Есть еще один вход сюда... Гремучие ворота, которые всегда на замке. Если перелезть их, попадаешь в закоулок, мощенный разноцветным булыжником. С одной стороны — наш дом. С другой — слепая стена соседнего одноэтажного дома; рыхлую зелено-

вато-серую штукатурку стены можно крошить щепкой. Крыша завалена слипшимися листьями, мелкими ветками, кленовыми рожками, — их никто не счищал годами. У основания стены переплелись рыжие бурьяны. — Там жабьи норки. Жабы выползают в вечернюю прохладу и сидят у норок. Как старушки. Иные дают погладить белый дряблый подбородок. Глаза у них умные, карие — птичьи.

Это волшебные жабки, они сторожат мой двор.

У самых ворот растет старая алыча, устало положив на стены узловатые ветви. Цветет она трудно, скупо.

Я ее почему-то любил тайком гладить и норовил так пройти под ней, чтобы меня погладила ветка.

Были часы, когда весь двор — мой: немые полуденные часы с глянцевой тугой синевой неба, когда гладила меня по щеке лапа-царапка алычи...

И я не ощущал себя — я весь был ласковым беззвучием, светом, дребезжащим, но чистым пением калитки, тоненькой голубой стрекозой, не дающей себя коснуться, чующей прикосновение тени.

ДРУГ

У Вити было открытое скуластое лицо и большие, неподвижные, словно слепые, глаза. Он хорошо и безжалостно дрался. Не боялся кататься на колбасе трамвая. Однажды, когда он потерял свой ключ, он залез к себе на пятый этаж по ветхой водосточной трубе. Труба скрипела, со звоном и треском сыпалась из нее ржавчина. Один участок трубы с грохотом отвалился, когда он его миновал. Витя даже не обернулся.

Он не гнал меня от себя, хотя я был младше. Только один раз внимательно взглянул в лицо. В самом начале знакомства.

Однажды он пригласил меня на пироги.

Его отец был моряк. Как и все отцы в этом доме. Дом был ведомственный, от мореходного училища, которое стояло через улицу.

Витин отец был выше моего, толстый, с красным лицом, с рыжими бровями и бакенбардами. Он преподавал в училище навигацию.

Комнаты были по-южному сумрачные. Тускло лоснилась мебель, за окнами шевелилась ослепительно зеленая мозаика листьев, из которой вдруг то здесь, то там выскакивала любопытная птичка и глядела в комнату — зорк, зорк.

На стенах висели макеты старинных парусников. Некоторые

стояли под стеклянными колпаками на специальных тумбочках. Почти как в музее.

Мать Вити была высокая, молчаливая.

Мы ели пирог с абрикосовым нутром, пили чай, говорили о незначительном.

Вежливость мешала мне быть раскованным, разговор не получался.

— Какой воспитанный мальчик! — сказала его мать на кухне, как-то даже насмешливо.

По моей ноге шелковисто скользнул кот, мигнул виноградными глазами на запрокинутой мордочке, исчез.

«Лучше бы полезли драть вишневый клей», — подумал я.

ГОЛУБЯТНЯ

У Витиного отца на крыше нашего дома была голубятня. Однажды он позвал меня посмотреть на голубей. Мне было интересно увидеть вблизи, как живут голуби, и я полез по деревянной, растресканной, пружинисто раскачивающейся лестнице за Витиным отцом, и, когда лез, все пытался представить, как они там живут.

— Смотри, чтобы я тебе на пальцы не наступил, — сказал Витин отец.

Голубятня была тесным деревянным ящиком с окном, затянутым ржавой металлической сеткой, воздух в голубятне был приторно густой, раскаленный, наполненный голубиным гулом; по полу, засыпанному просом, ходили голуби, и, когда моя голова оказалась на уровне пола, несколько голубей испуганно вспорхнули с особым едва слышно воющим звуком крыльев, — в лицо колко пахнуло сором, перышки, прилипшие к стенам голубятни, затрепетали.

Витин отец сидел на корточках и улыбался. Два надутых, радужно лоснящихся голубя, туркая и кланяясь, ходили вокруг голубки у самых его ног. Голые голубята с выпученными глазами тянули шеи, разевали клювы. Они были похожи на орлят. Витин отец взял одного голубенка и поцеловал в клюв. Голубенок прикрыл глаза.

Потом Витин отец и я стояли на крыше. Витин отец взял из-за пазухи голубя и подбросил в небо. Голубь полетел вверх, как белый камень, раскрылся и кругами стал набирать высоту. Края его крыльев желтовато просвечивали. Он ярко белел в плотной синеве. Витин отец засвистел звонко и стал крутить над головою носовым платком, и голубь поднялся так высоко, что я едва различал его. Словно к синеве прилипла чешуйка.

Я посмотрел вниз. В цинковом желобе лежало просыпанное просо. Оно уже проросло.

— А зачем вам голуби? — вдруг спросил я.

— А так, — сказал Витин отец и хмыкнул. Потом он внимательно посмотрел на меня и сказал: — Знаешь, в каждом человеке очень много любви — и к людям, и к разным живым существам. Нужно ее расходовать. Если ее не расходовать, портится человек... Понимаешь?

Он говорил мне серьезно, как взрослому.

Тогда я не понял.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ

В глубине двора стоял маленький домик под красной черепицей, с белеными стенами. Домик был о двух окнах, имел крыльцо с навесом и резными почерневшими перильцами. Волнистые стекла окон отражали зубья заката.

Там жили моряк дальнего плавания, его жена и дочка.

Самого моряка я видел редко. А толстую тихую девочку, все время качавшуюся на визгливых качелях у своей хатки, с куклой на коленях, — часто. Она почти ни с кем не играла. Да и была младше всех во дворе.

Ее иногда и позовут играть, а она опустит глаза и опрометью в свой дом, — пустые качели болтаются, повизгивая, чуть дальше, под водостоком, лежит красная половина резинового мяча, наполненная дождевой водой. И вдруг сама собой половинка эта дрогнет, сморщится и выплеснет из себя часть воды на уже подсохшую, в сотах дождя, землю, — а вокруг все неподвижное, просветленное, деревья в сумрачном вечернем сиянии...

Приглядишься — а девочка смотрит в окно. По стеклу тяжко ползет пчела с облипшими крылышками — прибило дождем, наискось движется улитка, семенит вниз божья коровка — и вдруг срывается.

Девочка осторожно выходит на крыльцо.

— Ты кого любишь?

— Морковку...

ОДНО ИЗ ПРОБУЖДЕНИЙ

Желтоватое, дрожаще-зыбкое утро. Его латунный свет на моем лице.

Рябящая, вздрагивающая, вся в мелких оспинках стена то

растягивается, то сжимается — это ветер качает приоткрытое окно и тень стекла живет.

Вспышка — и на оконном стекле проступил глянцевый отпечаток улицы. Окно чуть скрипнуло, и снова пусто в стекле. Пустота в раме. Но вот в ней что-то дрогнуло, слабо засветилось, словно там надувается мыльный пузырь... и опять отпечаток улицы. Она уходит куда-то вверх, мучительно знакомая, вздрагивает...

Вот волокнистое отражение стекла снова растягивается на всю стену, стена извилисто течет вбок...

Только кувшин на столе блестит жестко, нерушимо. Острый блик на его боку — как язычок пламени.

Все вещи в комнате так блестят — жестко, остро.

Приоткрытые створки окна качает ветер.

Дальний зеленый гул закипающих под ветром деревьев; пространство наполнено тревогой, и вдруг все переливается в ласковый ровный шелест — дождь пошел. Шелковистый, вялый, нежный. Но вот уже треск, дребезжание струй о стекло, судорога света в окне. Тень дерева проступает на бледной поникшей занавеске — острый удар в центр дома, дрожь, сумерки, сочный хрустящий треск в небесах, словно кто-то резко скомкал лист плотной бумаги.

Привстаю на постели. Металлический, жирно сверкающий пузырящийся блеск улицы под задранной занавеской. На воде гаснет шрам от тележного колеса. Сырое дуновение.

Простыни, наволочки — сырые, ветхонькие, горьковато пахнут. Пуговки наволочек желтые, истертые, застегиваешь — крошатся...

Свежий треск грома!

Словно с мира сдирают шкуру.

Ничего, новая нарастет...

ЛУНА

Вечером детям с нашего двора разрешили посмотреть луну в телескоп. Телескоп рядом, в мореходном училище. Об этом прослышали все, и луну захотели посмотреть и молодые домохозяйки, и две старушки, и дворник Василь Павлович.

Вечер был холодным, пронзительно синим, над домом шмыгала, ныряла, беззвучно трепетала летучая мышь, а потом взошла луна и словно придавила все своим тяжелым блаженным светом.

Двор стал хрупким, похожим на театральную декорацию.

Шуршащей вереницей мы шли под полной свежей луной, отбрасывая неровные тени; женщины — в накинутых на плечи светлых плащах, с зелеными ветками сирени. Василь Павлович косился на небо и нервно щурился, курил в кулак. Мы растворились в темноте тоннеля, плотно увитого диким виноградом, пересекли улицу, — из-за теней казалось, что вся процессия идет на ходулях, — прошли проходную с непривычно ярким светом, дежурный улыбнулся в освещенном окошке, пересчитал нас.

Потом шли по каким-то пустым, лунно лоснящимся коридорам, потом попали словно в трубу и шли вверх по гудящей, сквозной, пронизанной лунным светом винтовой лестнице — словно ввинчивались в небо. Всех вел мой папа. Где-то вверху звучал его голос.

И вдруг — бледная крохотная площадка под несметным небом. Черный маленький телескоп. Все теснились.

— Осторожнее, осторожнее! Давайте-ка по очереди! Вначале старшие, — сказал мой папа.

Старушки по очереди посмотрели в телескоп, прикрывая рты сухонькими ладошками.

— Во сколько увеличивает? — сердито спросила первая.

— В десять раз.

— Мало увеличивает. Очень мало!

Другая старушка неодобрительно посмотрела на подругу, но та снова прильнула к объективу.

— Хватит, хватит, Матрена Игнатьевна, — сказал дворник, затягиваясь дряблым коричневым окурочком. — И что ты так в луну впилась? Ты что, ее не бачила, что ли?

— А сам-то, сам-то, — не отрываясь от объектива, запричитала старушка, — сам-то откуда пришел и еще в очереди стоит! Я луны-то этой, может, больше и не увижу! Ну прямо золотая!

— Очень преувеличивает? — спросил уважительно Василь Павлович.

— Да не, я уже на звезды! Звезды-то, батюшки! Они на нас смотрят, мы на них.

— На звезды договора не было! — зашумели в толпе домохозяйки. — Такие пожилые женщины, и зачем вам звезды, так можно и до утра стоять! Здесь все на луну пришли смотреть!

— Надо же, чего придумали, — сказала первая старушка, неохотно отстраняясь от объектива, — и зачем им луну увеличивать? Нет чтоб своими-то глазами-то на все, как оно есть, смотреть...

Василь Павлович вежливо оттеснил старушек.

— Различаю! — наконец сказал он и задумчиво отошел.

Что он различил?

Перед тем как заглянуть в телескоп, он снял свою кепку с пуговкой и прижал ее к груди.

Я протискивал голову сквозь чужие, горячие, раскаленные от любопытства. И вот мир расступился, и в холодном маслянистом пространстве я увидел луну, и всего меня словно залило ее бледным пыланием. Она тянула. Она то плавилась в объективе, то словно прилипала к нему одним боком. Я чуть поворачивал голову, и она неохотно отделялась от стенки поймавшего ее круга, вытягивая тоненькую ножку, и вдруг освобожденно повисала в самом центре этого черного круга.

Долго смотреть было трудно — луна выдалась яркая. В ней словно сквозило очертание грустного лица, отчетливее, чем всегда.

Я шел назад, и голова у меня кружилась. Я был переполнен луной.

Константин Мелихан

РЕЧЕВЫЕ ДЕФЕКТЫ

(Выведение из логопедии)

Дефекты речи могут быть врожденными, могут быть вызваны травмой, заболеванием, а могут возникуть и в процессе общения со страдающими дефектом речи. Я общался со страдающими дефектом речи много лет и накопил в этой области солидный опыт.

Один из распространенных дефектов речи — ЛАМБДАЦИЗМ, то есть непроизнесение звука «л». Чтобы научиться произносить звук «л», достаточно высунуть язык, широко распластать его, укусить и подать голос: в-в-в.

Дево быво вечером,
Девать быво нечего.

Сведующий распространенный дефект речи — РОТАЦИЗМ, то есть неправивное произнесение звука «р». Чтобы правивно произнести звук «р», достаточно сесть перед зеркалом, достать со дна рта язык, свегка загнуть его к небу и девать быстрые ковебания:

Ехав Гьека чеев еку.
Видит Гьека — в еке як.
Сунув юку Гьека в еку —
Як за юку Гьеку цап.

Чтобы пьявивно пьеизносить СВИСТЯЩИЕ, достаточно павьцами взять нижнюю губу стдядающего дефектом и, не давая ей подтягиваться к вейхним зубам, заставить его говоить:

Пвыва, качавать водочка
По Яуде-еке.

Чтобы пьявивно пьеиднотить ШИПЯЩИЕ, доттаточно вттазить ттьядающему между дубов вожку и давейнуть ему ядык:

Не ттьяфен мне моед, дьюдья,
И дофдь. Не дабовею:
Водой ховодной мою я
Гьюдь, юки, ноги, фею.

Фтобы уттъянить ГНУТАВОТТЬ, то етть аеиднетение двуков потъедтвом нота, доттатофно обыкновенное повоткание гойва:

Яно-яно
Два банана
Даттунфави в воота:
Тьян-та и тьян-та-та.

Фтонбы уннтьянить ДАИНКАНИЕ, донттатофно денвать дынхатевьную гимнанттику инви воонбфе монвфать:

На-нанфа Та-таня г-гьемко п-пванфет.
Уа-уа-уанинва в е-ентку м-мянфик.
Ти-тинфе, Та-таненфка, н-не п-пванфь.
Н-не у-унтонент в е-ентке м-мянф.

Ф-фтонбы у-унттьянить АФ-АФ-АФ-АФ-АФ-АФ-ФААНДИЮ, то-то е-ентть по-повную не-нентпотобнотть в-венти, д-доттатофно в-вгюнф э-энгух м-мгынфаб ю-юнгоут в-вныхменк п-пекенванхут ин б-бынх д-до т-тейх п-пынх п-пофанкт о-онт н-ненафенгунт д-декафан д-дыкденх г-гинфабдынкуф, и-ифинф в-вубхон м-монфэнк, б-бэн м-мун х-хын ф-ф к-к н-н п д у ы ! , — ? :

. . . .

Владимир Барсов
Виктор Дальский

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ...

Ну что вы заладили одно и то же: «Человек человеку — волк!»? Дружба во все времена была в почете! Так что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, чего ты стоишь. Кто такой друг в моем понимании? Друг — это... это такой человек, которому звонишь и он тебе помогает.

Предположим, мне нужна в спальню люстра времен Людовика XIV... Беру телефон, набираю номер 522-12-48. Ты зачем номер записываешь? Это же только для меня. По дружбе! А ты кто такой? Спрячь ручку, тебя там не ждут! Мы сейчас как живем? Не слышу? Правильно! Как прыгуны! У каждого своя высота! Напрягся, прыгнул выше — получи приз! В виде хорошего друга!

Вы знаете, что мне пришлось совершить, чтобы стать другом Петра Яхонтовича из комиссионного мебельного? А? Двенадцать подвигов Геракла? Тьфу, одно развлечение! Вы попробуйте выбить льготную туристскую путевку в Италию — с заездом на кинофестиваль в Венецию, с залетом на завод «ФИАТ» и покупкой четырех колес для «Жигулей»...

Подумаешь, Геракл! Конюшни от навоза очистил! Попробовал бы он бобра на воротник купить... Кишка тонка! А я смог, и стал другом Герасима Ивановича — специалиста по обмену жилплощади. Сами понимаете, что это значит в наше время. Но это пришло с годами... Я же столько раз ошибался, горел! Не на работе! В делах! Но я, как птица феникс, вставал из пепла, отряхивался и снова шел... на дела.

Что мне помогало? Дружба! И теперь... Скажем, нужен мне гараж... Набираю номер 32-50... Ну что ты опять пишешь? Чудак, это же тоже только для меня! По дружбе! А ты кто такой?

Что ты можешь? Ничего? Вот то-то и оно! А я дрался за дружбу, каждого друга с боем брал! Нет, я не стрелял, не кричал «ура!». Но я такое делал, такие подвиги совершал! Что ваш Одиссей? Подумаешь, проплыл мимо какой-то Сциллы с Харибдой! Это же смешно! Попробовал бы он выстроить дачу на Рижском взморье! Устлать ее коврами, притащить сюда цветной телевизор, меблировку из Финляндии привезти... Оборудовать бар, финскую баню, обложить все это японской плиткой... Ему бы и боги не помогли! Ушли бы в отставку всем кабинетом во главе с Зевсом! А я смог! И теперь принимаю нужных людей и пожинаю плоды!

Нужно мне вне очереди место в кооперативе... Снимаю трубку, набираю номер 352-13-38... Ну что, опять рот раскрыл, уши расправил?! Запомнить номер хочешь? Все равно не поможет! Тебя там не знают! А меня — от мала до велика! Вплоть до курьера! Поэтому мне — всегда пожалуйста!

Да, я прожил долгую жизнь! Я горел, но не сгорел! Спотыкался, но не падал! Я понял: дружба может все! Скажи мне, кто твой друг, и я, быть может, скажу тебе, кто мой... И он, может быть, когда-нибудь расскажет, как я стал его другом... Так что давайте дружить и никогда больше не говорите: «Человек человеку — волк!»

Борис Давыдов
Михаил Кононов

МИЛЛИОН СЕРЕБРЯНЫХ КАПЕЛЬ

— Ладоге надо помочь. — Суханов, председатель рыболовецкого колхоза имени Калинина, заговорил сразу о главном. — Природе нынче не только кормить человека приходится, но и от нас же, своих детей, обороняться. Очистные сооружения? На сегодняшний день стопроцентного эффекта не дает ни один вариант. А животноводческие комплексы? Засорение окружающей среды мы с вами не прекратим ни сегодня, ни завтра. Значит, главное сегодня — что? Воспроизводство природных ресурсов в широких масштабах. А для нас, рыбаков, — всемерное развитие рыбоводства. Вы поняли мою мысль?

Убеждать Алексей Николаевич умеет. «Вы поняли мою мысль?» — и сразу спохватишься, со всей ли ответственностью выслушал председателя.

В тот же день мы вышли в Ладогу на научном судне.

— Пора организовать действительно научное производство, — говорит Алексей Алексеевич Иванцов, главный рыбовод колхоза. — Сегодня у нас на первом плане воспроизводство сига и лосося, а остальные виды более выносливые, умеют сами о себе заботиться. Форель еще выращиваем — в Киришах, в Пашозере — в садках. Приезжайте снова, увидите сами...

Мы смотрели на Ладогу. Бурый цвет упрямой волны у горизонта уходил в лазурь. Не озеро северное — южное море. От ясного ли неба лазоревый отблеск, от прозрачного холода чистых вод? А может быть, это густое серебро сиговых стремительных стай отражает лазурь?

Когда над бортом повис тяжелый сверкающий шар, когда голубым металлом пролилась на палубу живая трепещущая река, когда полуметровый лещ, подпрыгнув по-кошачьи, пода-

рил нам по радужной перламутровой чешуинке, — участь наша была решена.

— Чешуя пристала — примета хорошая, — улыбнулся Иванцов. — Вернетесь, значит, к нам обязательно.

И осенью мы снова приехали в Новую Ладогу.

— Послезавтра в Пашозеро вездеход пойдет, повезет понтоны для новых садков, — пообещал Суханов. — Завтра в Кириши можете съездить. А сегодня обязательно в ПТУ наше сходите: открыли наконец в этом году. Первый набор, а ребята съехались со всей страны. И рыбаков, и рыбоводов собственных готовить будем...

Учебный корпус, мастерские и общежитие — современный семисотместный комплекс ПТУ-202 — высится над старыми строениями окраины. Из окон пятиэтажного учебного корпуса виден Волхов, Ладога, видны суда, на которых будущим механикам и матросам-мотористам предстоит нести вахту.

Многие ребята приехали сюда с мечтой о морях-океанах, о дальних рейсах. Ну что ж, как говорится, счастливого плавания! Колхоз имени Калинина ведет промысел рыбы и на Балтике. А кто прошел штормовую школу Ладоги и Балтийского моря, тому в океан путь не заказан.

— В Ленинграде есть только одно училище схожего профиля, ПТУ-128, — рассказывает завуч Тамара Дмитриевна Батова. — Но профессию рыбовода там не изучают. Только у нас. Так что наши девочки из группы номер пять — пока что единственные, так сказать, надежда всего Северо-Запада. По распределению они попадут и в Новую Ладогу, и в Кириши, и в Прибалтику, где рыбоводство развивается очень давно и успешно...

Была большая перемена, Тамара Дмитриевна провела нас в учебный кабинет.

Знакомясь с девушками, мы задавали им один и тот же вопрос: почему выбрали профессию рыбовода? Нам известно уже, что в ПТУ-202 съехалась молодежь из тридцати восьми краев и областей страны. Мальчишек привлекла романтика будущих одиссей и, разумеется, морская форма. А девушек?

— Мама у меня рыбоводом работает на Вилюйском рыбозаводе, — объяснила Лена Федорова, невысокая черноглазая девушка из Якутии. — Помогала я ей с детства, вот и привыкла к рыбе.

А вот у Любы Быковой из Киришей никто из родных к рыбоводству не причастен. Но целых пять лет Люба была председа-

телем школьного «зеленого патруля». О любви к природе не говорила: привыкла проявлять свое отношение в конкретном деле. Что ж, дело найдется.

Из Киргизии приехала Рита Походун. Вполне понятно, что развитие своих отношений с рыбоводством она пока представляет не очень ясно.

— У нас рыбоводством занимаются только в районе Иссык-Куля, — рассказала она. — Это от нашего поселка далеко. Так что полюбить рыбу мне пока не довелось. А в профессии рыбовода мне нравится то, что всегда с природой связана буду, с красотой...

Все начинается, как говорится, с дороги. Для девушек из группы номер пять судьба началась с дороги в Новую Ладогу. Можно позавидовать им: выбор пути пришелся на год, когда рыбоводство на Северо-Западе становится на прочные рельсы.

Открытие собственного ПТУ, организация группы рыбоводов — еще один шаг к переводу колхозного рыбоводства на промышленную основу. Недавнее постановление правительства о всемерном развитии пресноводного рыбоводства определило задачу: превратить рыбоводство в такую же полноправную отрасль хозяйства, как добыча рыбы и животноводство.

Долгие времена профессия рыбовода считалась у нас чуть ли не бросовой. Труд малоквалифицированный, да и тяжелый физически. В самом деле, на хозяйствах, не оборудованных механизированными кормораздатчиками, рыбовод трижды в день должен с мешком за плечами путешествовать от кормокухни к садкам, где прожорливая форель или карп мечется в ожидании обеда. В сутки рыба берет корма — треть своего веса.

Сегодня рыбоводству — самое пристальное внимание.

Мы ехали в Кириши. Здесь колхоз разворачивает экспериментальное рыбное хозяйство. От Ладоги к излучине Волхова, где стоит Киришская ГРЭС. От воды к воде. Неужели поближе места не нашлось? Семь верст киселя хлебать...

Над каналом отвода термальных вод ГРЭС поднимается пар.

— Искупаться не хотите? — улыбается встретивший нас Алексей Алексеевич Иванцов. — Водичка-то — девятнадцать градусов...

В этот ветреный октябрьский день, кутая подбородки в шарфы, о купании мы не помышляли. Тем более в термальных

водах ГРЭС. Вот она, в километре отсюда. Дымит, засоряет среду.

А радужная форель в садках на узком мысу, где канал ГРЭС впадает в Волхов, играла по-летнему, озаряя поверхность воды рассветным огнем.

— Все мы, рыбоводы, — говорит Иванцов, — склоняем постоянно ГЭС, ГРЭС и другую энергетику: реки засоряют, рыбу губят, дороги плотинами отрезают. А что, если заставить ГРЭС работать на нас, на нашу рыбу? ..

Термальные воды, охлаждая турбины ГРЭС, уносят в Волхов колоссальную энергию. Воды эти — чистые. И если установить садки с форелью прямо в канале или на мысу, где теплый поток смешивается с водами Волхова, можно даже перемещением садков выбирать оптимальный температурный режим.

Осенью семьдесят восьмого года с Пашозерского хозяйства привезли в Кириши тридцать две тысячи трехграммовых сеголеток форели. Через год, когда рыба, растущая в природных условиях, едва набрала двести граммов, киришские акселераты тянули вдвое больше.

— Это был только первый шаг, — объясняет Иванцов. — Боялись сбросовых вод, мазута. Но вот результат: больше пятнадцати тонн товарной форели. Десять сдадим в торговую сеть, пять — на формирование маточного стада. В восьмидесятом году в садки завезем с Пашозера сто тысяч штук, сдано будет тонн пятьдесят...

Теперь мы смотрели на дымящую ГРЭС иначе. Не то чтобы с благодарностью, но, во всяком случае, дружелюбно.

В самом деле, нельзя не оценить и воспитательного значения такого взрывчатого соседства: волей-неволей приходится энергетикам пристальнее следить за чистотой термальных вод, уже не избавишься от вредных отходов — рыба не даст.

Вот так форель, вооруженная лишь собственной беззащитностью, встает на охрану Волхова.

— А не обижаются энергетики, Алексей Алексеевич?

— Невыгодно им обижаться. Если не помешают нам расширяться из года в год, если пруды отстойные, уже не нужные нефтеперерабатывающему заводу, отдадут нам под карпа, то и Кириши с рыбой будут, и весь район. В этом году пять тонн уже сдали. В прошлом рыбы сдали тридцать одну тонну. А площадь отстойных прудов, уже почти готовых под рыбу, четыреста гектаров. Там в год можно до трехсот тонн взять, а при трехлетнем цикле и до пятисот дотянем. Если бы еще не тормозили дело строители! Видите — полторы стены? Это все, что выстроило за

лето СМУ ГРЭС. «Поважней, — говорят, — объекты есть, не разорваться нам». Вот и нет у нас фактически ни лаборатории, ни кормокухни. Нам разрываться не привыкать...

Сиротливо выглядит недостроенное здание. Да и самим строителям такая работа не по вкусу.

— Я в Киришах с шестьдесят первого года работаю, — рассказывает плотник СМУ Геннадий Анатольевич Шеклеев. — Сначала ГРЭС строил, теперь — рыбное хозяйство. А в этом году прямо руки опускаются. Нужно патерну бетонировать, пруды новые готовить, а у нас ни техники, ни материалов. Будто рыбное хозяйство — это вроде дело и не нужное. А ушицы-то неплохо бы, ох, неплохо...

Одними и теми же руками возводятся энергетические гиганты и поднимается рыбоводство. Руки эти любят работу, настоящее дело. И хозяин их, современный рабочий, — он же хозяин всего, что построено и строится, — не признает подобного разделения запланированных строительств на объекты важные и второстепенные.

— Геннадий Анатольевич абсолютно прав, — говорил Иванцов. — Сегодняшнее хозяйство — хозяйство комплексное. Пора кончать с практикой «нос вытащили — хвост увяз». Нет отраслей, существующих автономно, — ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Кстати, ведь и эти две отрасли народного хозяйства одна без другой немыслимы. А взять наше дело? Чтобы рыба росла, ее нужно кормить. Особенно трудно с молодью — ей нужен живой корм. Вот и приходится параллельно с разведением рыбы заниматься выращиванием живого корма. Есть идея использовать с этой целью активные илы — конечный продукт очистных сооружений. До сих пор этот продукт использовался лишь в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Наш гидробиолог Николай Николаевич Бессонов предложил выращивать на базе активных илов биологические культуры, идущие на корм рыбе. Уже есть договоренность с лабораторией очистных сооружений Киришского НПЗ. Так что и тут, как видите, проблему стремимся решить комплексно, по замкнутому циклу, чтобы хозяйство не было обузой ни колхозу, ни заводу, а всем приносило прибыль весомую...

Слушая Иванцова, мы вспоминали карпов в садках на Волхове. До пяти килограммов веса нагуляли они в термальных водах. Есть маточное стадо — уже двести тридцать голов — будет на будущий год икра. Решить проблему кормов — и поголовье карпа вырастет если не в геометрической прогрессии, то, во всяком случае... Стоп!

...Зловещими переливами мертвого ртутного блеска, ядовитой сиреневой пленкой по ясным волховским водам пришла беда. Кто сбросил в реку мазут? Поди узнай. Ночью это было, темной августовской ночью...

— Прибежали мы к садкам, а что поделать-то можем? — Рыбовод Евдокия Ивановна Качалова, рассказывая нам о происшествии, волновалась, будто случилось оно вчера. — Думали, конец всему хозяйству, всем нашим трудам. Уже и понтоны блестят от мазута, а вода так и горит, чистый керосин...

— Но рыбка у нас умная, — улыбнулась Венера Ивановна Янковская, заведующая хозяйством. — Пока не смыла вода всю химию вредную, ни одна форелька к поверхности не подошла. А все равно до сих пор отход есть. Уж сколько месяцев...

Единственное, чем может обороняться рыба, — приказ древнего инстинкта: на дно! Но ведь дно-то, с ямами, с фильтрующим илом, есть у реки, а садок — это сеть-корзинка глубиной метра полтора, не больше...

Природа щедра, но не бесконечно. Смертоносный удар отравляющих нефтяных отходов примут на себя донные водоросли и прибрежные камыши. Они погибнут, охраняя более организованную, более ценную для природы жизнь, и в первую очередь — жизнь человека. Но ничто не исчезнет в природе. Впитанный землей яд обратится худыми всходами, отравленная рыба не даст потомства.

— Теперь понятно, почему выгодно колхозу организовывать хозяйство за полтораста километров от основной базы, а сеголеток с Пашозера возить? — спросил Иванцов на обратном пути.

Нам было понятно.

В послевоенные годы промысел на Ладоге велся траловыми судами. К шестидесятому году рыбаки добывали всего восемь-девять тысяч центнеров рыбы в год. Это составляет примерно пятую часть сегодняшнего годового плана колхоза имени Калинина. Заработок средний рыбацкий составлял рублей тридцать — сорок в пересчете на сегодняшний день. Сам Суханов, став председателем, три месяца зарплату не получал: не давала истощенная Ладога.

Потом траловый флот увели на Балтику. Но это — только полдела. Ждать, покуда природа своими силами справится с уроном, нанесенным войной и послевоенными нашими трудностями? Но ведь ей помочь можно?

И прямо с рыбокомбината, из Дубенского пруда, по реке Дубенке стали выпускать в Ладогу малька, а с 1965 года сеголетку сига. Параллельно занялись разведением карпа — уже в 1960 году пятьдесят тонн сдали в торговую сеть.

На новый виток колхозное рыбоводство пошло с 1975 года. Тогда-то и были найдены термальные воды Киришской ГРЭС, родник на Урье, организовано Пашозерское хозяйство.

Волнами, накатами, рывками пробивало себе путь доброе начинание. Что ни возьми — все тут впервые. Что ни проект — свое инженерное решение. Но вот так и создается сегодня тот начальный необходимый потенциал, тот творческий капитал, с которым будут начинать у себя то же дело соседи северяне...

Занявшись воспроизводством рыбы, колхоз столкнулся с массой проблем. Помимо экономических — расходы на воспроизводство рыбы значительно превышают доходы, экологических — поиски чистых водоемов, важную роль играет проблема научная — ихтиологическая.

Рассказывая нам о Киришском хозяйстве на термальных водах, Иванцов говорит и о том, что дело это не только для Северо-Запада, но и для всего Союза новое, малоизученное.

— Здесь мы отрабатываем режимы выращивания форели и карпа в условиях термальных вод. А в будущем завезем сюда и северо-американского лосося, маточное стадо которого формируется сейчас в Пашозере. Посмотрим, придется ли ему по душе теплая водичка. Неясна нам пока плотность посадки рыбы на один кубический метр воды. Ищем оптимальные режимы кормления для разных пород. Определяем, как приспосабливается рыба к изменениям гидрологической среды. Определив основные закономерности развития вида, ихтиологи не могут пока дать точных рекомендаций по воспроизводству рыбы в тех или иных условиях. Если в центральных и южных районах уже накоплен солидный опыт, то у нас рыбоводство — отрасль новая, так что пашем, можно сказать, целину...

Вот как рассказывал Иванцов о первом этапе основной идеи возрождения рыбы:

— Как-то, года два назад, с приятелем пошел я на рыбалку. Закинули удочки, сидим в лодке, покуриваем. Таскаем потихоньку плотвичку, окушков. Напарник мой и говорит: «Что, Алексей Алексеевич, лудогу, говорят, в Черном разводить собираетесь?» — «Собираемся, — говорю. — Сига-то, сам знаешь, сколько осталось». — «Стоящее дело, — хвалит он. — Но зачем же лудогу? Взялись бы за волховского. Он же крупнее

вдвое». — «Да привередлив волховский, чистоту любит». — «Да, дела...»

Дома взвесили мы наш улов; покачал головой напарник и расстроился: «Это разве улов? — говорит. — Неделю назад в Дубенке нашей рыбинку поймал — всю бы кучу эту перевесила. До сих пор по утрам ушицей балуемся». — «Кита, никак, выволок?» — «Зачем кита? Нормальный сиг. Волховский, — обиделся напарник. — У кого хочешь спроси, — говорит, — мальчишки даже на Дубенке сига волховского тягают...»

На другой день рассказал я Суханову рыбацкую сказку.

«Дубенка? — заволновался Суханов. — Постой, постой, ну да, конечно. Знаю я, откуда там сиг. Ну, рыбовод?»

Я пожал плечами.

«Слушай меня внимательно. Нам рыбокомбинат в резервных прудах Староладожского канала лет десять назад сеголеток выращивал. По Дубенке в Ладогу сиг скатывался. А теперь рыба в Дубенку на нерест ломится. Вот так».

Походил Суханов по кабинету, стулья передвинул. «Ты мысль мою понял?» — спрашивает. «Понял, конечно. Но Дубенка занята. Где нам чистую речку взять?» — «Давай поищем», — говорит Суханов.

Стали мы искать. Одно расстройство: там — завод, здесь — комбинат, тут — птичник, что ни река — болото. Пошли по лососевым рекам. И нашли. Из Капши — в Пашу, а оттуда — в Ладогу.

«Ну что, попробуем?» — Суханов спрашивает. «Надо попробовать. У меня тут и своя корысть есть: посмотреть хочу, как с лососем сиг уживется».

Словом, строим мы сейчас на Капше инкубатор. В восьмидесятом году наша сеголетка скатится в Ладогу, а через пяток лет посмотрим, вернется ли она в Пашу, Капшу и Оять. Если вернется, то, стало быть, сиг волховский для нас не потерян.

— А если — нет? — спрашиваем мы Иванцова.

— Другие места искать будем. — И, помолчав, Иванцов добавил: — Найдем. Должны найти.

До Пашозера от Новой Ладоги не полтораста километров, а все двести пятьдесят. Но вопросов мы уже не задавали, знали: зазря Суханов такую длинную удочку не закинет.

— Я недавно книжку хорошую читал, — не отрывая взгляда от ухабистой дороги, рассказывал наш водитель Николай Крылов. — «Берестяная почта столетий» называется. Хороший

писатель — Янин. Так он там пишет, что Пашозеру, селу нашему, значит, уже шестьсот лет точно, седьмая сотня пошла. По грамоте новгородской берестяной высчитали. Я даже на память выучил, я еще в школе историю любил. Так, значит. «Поклон от староcте от Михаила и от все пашозерчев. . .» — от пашозерцев, значит: тут местные до сих пор «чекают», как вепсы, — «. . .от все пашозерчев к сотьским к Максиму и ко Онании, и к Кыстянтину. . .» Там после «ка» твердый знак стоит, а тогда его читали как «ы», понятно? Боярин-то этот новгородский, Максим Онциферович, сотским у них был, сотней усадеб распоряжался. Небось и клюкву ему посылали. Из этих мест клюква далеко разъезжается. . .

Да, места богатейшие. Вепсские заповедные леса — сказочные. Леса — грибные, болота — клюквенные, озера и реки — рыбные. . .

У правления Пашозерского рыбного хозяйства стояли мощные грузовики. Отгрузка рыбы еще не началась, шоферы курили, поругивая местные дороги. Старший рыбовод Владимир Карякин повел нас к садкам.

Рыбная плантация уходит в Пашозере метров на сто и метров на сорок тянется вдоль берега. Это целый рыбий город с населением сто тридцать тысяч форелей. Средний возраст жителей — два года.

Мы бродим по шатким мосткам, то и дело невольно вздрагивая от хлестких, как выстрелы, неожиданных всплесков воды.

— Попрошайничают, — говорит Володя. — Люди тут обычно не ходят. Только корма разносят и садки проверяют. Появление человека для форели — сигнал к кормлению.

— Ну что ж, покормим, — говорим мы, добывая из портфеля батон.

— Да что вы, не надо, — Володе явно неловко за разбушевавшихся питомцев. Те же без малейшего смущения бросаются на летящие в воду куски булки и хватают их прежде, чем они касаются воды.

— Совсем обнаглели, — комментирует Володя поведение своих подопечных. И уже серьезно добавляет:

— Тяжело нам с кормами. Не рыбе тяжело, а рабочим. Причем в буквальном смысле. Вон, видите кормосклад? Сколько до него? Метров триста. И вот оттуда мешками таскаем корма. Рыбы-то здесь тонн на сто — от стограммовой мелочи до четырехкилограммовых слонов. И все есть хотят. Со временем мы, конечно, это дело как-нибудь механизируем, а пока трудно.

Батон уже скормлен, а рыба по-прежнему мечется, сиреневыми молниями взмывая над водой...

— Вы в Лукино поезжайте, где инкубатор на родниковых водах стоит, где вся наша рыба начинается, — говорит Карякин. — Губенкова Лида проводит вас, техник-рыбовод. Она у нас с апреля семьдесят восьмого работает — кадровый специалист.

— Уж и кадровый! — высокая стройная девушка в модной клетчатой куртке иронически улыбнулась. — Говорила же, уеду я от вас, распределение отработаю — и уеду, увидите.

Карякин махнул рукой и отвернулся, и мы поняли, что разговор этот старый и при нас неуместный. Однако мы заинтересовались:

— Что так?

— Да так, — девушка пожала плечами. — Рассказывать долго. А вы же в Лукино хотите засветло успеть. Дорога-то непроезжая, не застрял бы вездеход.

— Четыре километра мы и прогуляться можем.

— Как по Невскому проспекту? — Лида усмехнулась. — Ну-ну. Вы не забудьте Крылову сказать, чтобы осторожнее ехал. Я его, лихача, знаю...

Когда наш вездеход вполз на взгорок перед глубокой ложбиной, Лида вдруг застучала кулаком по крыше кабины. Машина остановилась, Николай приоткрыл дверцу и крикнул:

— Эй, в кузове! Шутки в сторону! Не видите, место какое? Тут с ходу проскакивать нужно...

— В кабину без разговоров, — приказала Лида. — Я за вас отвечаю.

И мы покорно перегрузились в кабину.

Николай хлопнул дверцей, трехосный зиловский вездеход зарычал, напрягаясь, и медленно тронул под гору. Перемешанная с песком глина — будущая дорога — расходилась от колес бурой волной.

— Я говорил Суханову — этот растворчик цементом посыпать, морозцем его прихватит, а к весне в аккурат — автострада готовая, — Николай усмехнулся горько. — Сколько уже тянут строители тихвинские с этой дорогой! Была бы дорога, так мы бы давно уж...

Николай покачал головой и склонился над рулем. Мы чувствовали, как «водит» грузовик по расхлябанным колеям, как мощь двигателя тонет в месиве осенней дороги. Проскочим ли эту ложбину? Весной бы не проскочить. Весной Урья разольется и, если строители не спохватятся, недоделанную дорогу вода унесет на дно реки и дальше — в Пашозеро...

— Сейчас бы нам для устойчивости кирпичиков тонны четыре в кузов, а не девку курносую, — ворчал Николай. — Эта Лидка с рыбой своей — как чокнутая...

Не одолев подъема, вездеход вздрогнул в последнем непосильном рывке, и мотор заглох.

— Приехали! — Николай зло толкнул дверцу. — Мать честная! Вровень с подножкой! На мостах сидим. Неделю назад можно было проехать, честное слово! — Николай стукнул кулаком по рулю, и вездеход жалобно квакнул. — Вплавь теперь, что ли? Надо в Лукино идти, за трактором.

Он подтянул болотные сапоги до пояса и на закорках перенес на обочину нас двоих и Лиду, бурча себе под нос:

— В следующий раз к нам без сапог настоящих не приезжайте...

«Когда еще Ростовский институт проект закончит!» — сказал два года назад Алексей Николаевич Суханов и послал в Лукино на этом же вездеходе Николая Крылова. Вез Крылов в кузове бочку солярки, да бензопилу, да топор, да продовольствия на неделю. Так и началось строительство комплекса в Лукине, где для форели самой природой созданы условия идеальные. С крутого холма над Урьей течет мощный родник. Температура воды — постоянная, около шести градусов, то есть для форелевой икры, для выроста молоди можно создать режим оптимальный и поддерживать его круглый год.

Восемьдесят три гектара земли в долине Урьи займет заложенный комплекс. Пятидесятигектарное водохранилище, сто пятьдесят прудов, производственные и бытовые помещения, жилые здания — все это в целом новое хозяйство будет давать полтораста тонн товарной форели в год, что принесет колхозу валовый доход в шестьсот тысяч рублей. Но не звенят в Лукине пилы, не стучат молотки, не урчат грузовики с песком и цементом. Задерживает Ростов проект, и колхоз вынужден вести строительство контрабандой, своими силами возводя на родниковых водах форелевый инкубатор, строя пруды. Когда еще спохватятся ростовчане! Люди они, видать, занятые, а может, и забыли, что есть на карте Союза пятно зеленое — вепсские леса — и круглая точка: Лукино...

...В Лукино мы добрались под вечер и, чтобы успеть до темноты осмотреть здешнюю стройку, заторопились.

Живописна деревня, укрытая в долине, меж склонов пологих лесистых холмов. Дома ее, черные от времени, желтыми окнами смотрят на заходящее солнце. Из труб поднимается сизый дым, изредка нарушает тишину жалобный коровий бас или звонкий

собачий лай. Затерянность деревни, отдаленность ее от больших дорог оттеняет вековой лес, синей дымкой покрытый вдали. Вкусно пахнет воздух, впитавший прелую влажность осени, запах парного молока и ту чистоту, от которой мы, горожане, почти отвыкли.

Еще издали услышали мы шум падающей воды. Чем выше поднимались по тропинке, петляющей меж изгородей, зарослей кустарника, луж и канав, тем громче он становился. Наконец взгляду открылась картина лесного водопада. Серебристые его струи, синевато-крахмальная пена и рубиновые от заходящего солнца брызги так сочно и ярко проявились на фоне хвойной зелени, что казалось, будто вся чистота земли и воды собрана родником.

— Вот начало нашей форели, — сказала Лида. — Не будь этого ключа — и хозяйства бы не было.

Только теперь мы замечаем внизу большую бетонную ванну, переплетение стальных труб, незавершенные кирпичные строения.

Вспомнили мы слова Суханова о грядущем возрождении этой земли, о том, что рыба вернет сюда разметавшихся по тихвинской, вологодской и подпорожской земле вепсов, ибо форелевый комплекс, набрав силу, даст возможность построить здесь не избы курные, но современные дома, заасфальтировать дороги, покончить с осенне-весенней хлябью. Но, прежде чем это осуществится, нужно строить, — строить еще один инкубатор в дополнение к действующему, строить подсобные помещения, проводить водоводы.

— Ну, Лидочка, и заживете вы года через три-четыре, ударите форелью по бездорожью и отсутствию коммунальных услуг!

— Кто заживет, а кто и нет, — уклончиво отвечает она.

— И не жаль вам от красоты такой уезжать?

— Вам нравится?

— Очень.

— Что ж, приезжайте сюда насовсем. Домов пустых — полдеревни, любой выбирай. Приедете?

— Непременно, — бодро отвечаем мы.

Разговор начинает принимать неожиданно острый характер.

— Шутите? Конечно, вам и подумать смешно — здесь поселиться. А я уже скоро два года грязь эту мешу. И дело даже не в этом, что театров нет и магазин небогатый. К этому можно привыкнуть. Молодежи нет! Эта стройка,— Лида повела рукой,— она же еле дышит! Суханов бьется, как рыба об лед, чтобы

оживить ее, но что он может сделать, если строителям и проектировщикам до лампочки? Что им рыба? Они ее, видно, только в тарелке любят. Мне Иванцов говорил, что здесь работ на три миллиона рублей. А неделями ни одного строителя не видно.

Мы молчим. Можно сказать, что обо всем этом напишем. Но пока напишем, пока прочтут...

Из тупика выводит нас сама Лида:

— Вы ведь еще приедете?

— Разумеется. К строителям съездим, к проектировщикам, пошевелим их, а то ведь сейчас вашей рыбы — капля в море...

— Капли собрать — море будет! — с вызовом бросает нам Лида. — Возвращаться пора: темнеет уже...

И на обратном пути мы все вспоминали эти слова о каплях и море. Так может сказать только тот человек, который в дело свое верит упрямо.

В громадных рыбацких бахилах, в черном, видавшем виды пальто, в серой кепке, надвинутой на брови, Суханов появился на причале. Пока водитель амфибии копался в турбине, он, заложив руки за спину, разговаривал с подошедшими к нему людьми.

— Эти два перегоним на Балтику, — председатель указал на траулеры у причала. — А твой, — обернулся он к пожилому мужчине в морской фуражке, — в ремонт. И с твоей консервацией не тяни.

Тот кивает, но как-то нехотя.

— Рано консервироваться, — говорит он. — До шуги по такой погоде месяц, а то и полтора.

— А ты два на ремонте стоять будешь, — перебивает его Суханов.

— Ну уж?

— Что — меньше?

— По сухому за две недели управлюсь. Как поднимусь, так и начну. — Человек в фуражке говорит твердо, но на Суханова почему-то не смотрит, а смотрит на свой облупленный, выцветший, грязный какой-то кораблик.

— Ну, хитрец! — смеется Суханов. — В док захотел! Да ты знаешь, сколько мне до конца года еще судов спустить надо? Не знаешь! И думать забудь! У причала ремонтируйся. Вон у тебя ребята какие! Захотят — за месяц корытце твое до шпангоута разберут и соберут.

— А двигатель? — не сдается капитан.

— И двигатель тоже.

———

До поселка Черное от Новой Ладоги километров шестьдесят. Есть туда дорога, но по осени она раскисает, и тогда связь с Черным держат только водой, по каналу.

С утра густой туман закутал Новую Ладогу. Смутно проступали сквозь него дома, деревья и корабли у колхозного пирса.

— Канал-то, Алексей Николаевич, сами знаете, узкий, а скорость у меня узлов сорок. Вывернет из тумана катер — куда я денусь? — ворчал водитель амфибии.

— А ты не гони и смотри зорче, — наставляет его Суханов, оглядывая амфибию — корабельный нос и самолетный хвост с буквами «Ту», как у мощного лайнера.

— И «дворники» еще не поставлены, — наступает водитель.

— А ты не спеши, — успокаивает его Суханов.

Амфибия глиссирует, подпрыгивая на волнах. Ровный гул, наполняющий кабину, и белая пелена за стеклами полностью создают иллюзию полета.

— Поближе-то к дому нельзя местечко для сига найти? — спрашиваем мы, отчаявшись уже размять в тесной кабине затекшие ноги.

— Разве далеко — шестьдесят километров? Да за чистой водой хоть за пятьсот поеду. А Черное — это считай что рядом. И бригада там наша, колхозная. Собственно, сига разводить сами они решили, никто не подталкивал, не подхлестывал. — Суханов помолчал и спустя минуту добавил: — Скоро приедем.

Это «скоро» означало еще минут сорок тряской, слепой из-за тумана дороги.

В ногах у нас поскрипывало необычное сооружение. Наша пашозерская знакомая Лида Губенкова, узнав, что мы собираемся в Черное, попросила передать подруге своей Светлане Ларионовой подарок — детскую коляску и фрукты.

— Малыш у нее недавно родился, — объяснила Лида. — Не потеряйте, пожалуйста. . .

Едем. Или плывем? Может быть, летим? Мотор у амфибии самолетный, дорога — Новый канал.

Время от времени сидящий рядом с водителем Суханов открывает стеклянную боковину, протирает лобовое стекло. Тогда в кабину врывается влажный холодный воздух.

Показалась какая-то деревня. Нечеткие силуэты домов замелькали на берегу канала.

— Тоже наша деревня, — говорит Суханов. — Рыбацкая.

— Богаты вы, однако, Алексей Николаевич! Сколько же у вас деревень?

— Теперь много. По всей Ладоге, считай, два хозяина: колхоз имени Ленина, карельский, да мы.

— А Приозерск?

— И в Приозерске наши бригады есть...

Большая часть Ладоги, питающие ее реки, да еще строящиеся хозяйства по воспроизводству рыбы, да флот на Балтике — масштабы явно сибирские.

Историю своего колхоза председатель рассказал коротко, но емко:

— Было здесь, на Ладоге, к шестидесятым годам несколько рыбацких колхозов. Да в каждой приладожской деревне была своя артель либо бригада. Промысел велся — кто во что горазд. У кого снасти есть — карбасы гнилые. Где лодки крепкие — сети рваные. Главное, не было ремонтной базы. Каждое хозяйство латалось, штопалось как могло...

Потомственный рыбак, в войну — капитан одного из судов прославленной Ладожской флотилии, после — директор моторно-рыболовной станции, Суханов, став председателем колхоза, начал с главного — с материальной базы. Строил лодки, приводил в порядок старые снасти, на колхозные, куцые поначалу, деньги покупал новые. Выбрался колхоз из нужды, появились доходы, можно было расширять хозяйство. Много сил, много нервов потратил Суханов, добиваясь подчинения моторно-рыболовной станции колхозу. И добился своего. Сейчас на месте ее — завод, о котором мы уже говорили.

Как просто сейчас излагать эти факты. Даже не факты — штрихи биографии колхоза. И как трудно, порой мучительно трудно создавалась эта биография. Масса проблем стоит перед колхозом и сейчас. Но тогда не хватало не машин, а сетей, не судов, не тракторов, а гвоздей и веревок...

Деревня Черное проявилась в тумане запруженной лодками и катерами бухточкой. На берегу урчал автокран, только что поднявший с грузовика синий контейнер с надписью «Живая рыба» и теперь плавно несущий его на прочных стропах к палубе МРТ. Второй контейнер стоял в кузове, ждал своей очереди. Когда и он перекочевал на траулер, мы поехали туда, где контейнеры были заполнены сиговой молодью, готовой к выпуску в Ладогу.

Изнанка производства часто обескураживает новичка. Неужели здесь, в этом мелком пруду, возрождается сиг — королевская рыба?

— Пруд-то этот глубокий, просто мы воду сбросили, — объяснила техник-рыбовод Светлана Ларионова. — Для сеголетки — в самый раз. Все очень просто. Весной выпустили в пруд мальков, и все лето они прожили в пруду. Пищи достаточно, хищников нет. А сейчас они подросли, им тут не развернуться: всего пятнадцать гектаров. Видите эту сеть? Воду спускаем в канал, а рыба в улавливатель идет.

— А почему бы прямо в канал рыбу не выпускать? Шла бы себе в Ладогу...

— Во-первых, нет гарантии, что сеголетки в Ладогу пойдут. Маленькие еще, дороги не знают. Во-вторых, вода в канале не очень чистая. Вывозя рыбу в контейнерах, мы сохраняем ее.

Пока Света нас просвещала, рабочие подняли садок, и вода над ним заплескалась, забулькала, забурлила. Заметались по поверхности тысячи рыбешек. И пошла работа.

Сачком с длинной ручкой вычерпывают рыбу из улавливателя, два-три взмаха — и ведро, полное маленьких сигов, перекочевывает в контейнер, установленный в кузове грузовика. Все делается быстро, чтобы рыба не задохнулась. Мы тоже включились в работу. Подхватываем ведро с плещущей рыбой — и бегом к грузовику по шатким доскам, по скользкой глине. И страшно оступиться, расплескать бесценный груз.

Наконец контейнер полон, рабочие открывают кран кислородного баллона, убеждаются, что давление кислорода в норме, и задраивают крышку. Теперь — до пристани, на МРТ — и гуляй, рыбка сиг.

По дороге заезжаем на строящееся карповое хозяйство.

Как задумал Суханов, здесь, в Черном, закладываются основы большого карпового производства, связанного с киришской карповой базой. Суть дела такова. Карпы с весны до осени гуляют в глубоких прудах, нешироких, но достаточных для неторопливых прогулок степенной рыбы. Кормоцех, который будет построен здесь же, обеспечит карпа калорийной пищей, летом вода тепла, — чего еще желать увальню карпу! А к холодам рыбу выловят и отвезут в Кириши, где, зимуя в садках, она будет греться в грэсовских термальных водах. Таким образом резко сократится время, нужное рыбе для нагула. Строится здесь еще один пруд — зимовальный. В нем карпы будут жить неотлучно, подрастать и обзаводиться потомством. Отсюда можно будет брать мальков и пересаживать их в другие места, оживлять пруды и небольшие озера.

Все это рассказал нам Алексей Николаевич по дороге к строящимся прудам. Один из них был уже готов, проступали контуры и второго. В котловане первого жалобно урчал старенький буль-

дозер; наверху, бессильно свесив тонкую шею с большой головой-ковшом, отдыхал ветеран-экскаватор.

— Как старик, держится? — спросил Суханов подошедших рабочих, указывая на экскаватор.

— Держится пока. Видать, последний год доживает, бедняга. Слава богу, пятнадцать лет трудится.

— Вы поняли мою мысль? — обернулся к нам Суханов. — Бич наш — отсутствие техники. Деньги есть, хоть сейчас наличными расплачусь, а нужной машины не достать. Дали нам экскаваторы, бульдозеры дали, но узкогусеничные. А почва у нас — сами знаете: чуть подмочит, и завязли. Нужны нам позарез широкогусеничные машины. Вот один есть экскаватор, да и тот латаный-перелатаный.

Той же дорогой возвращаемся в Черное и выходим на траулере в Ладогу.

Облокотившись о контейнер, Алексей Николаевич говорит:

— Вопрос о строительстве рыбных прудов в прибрежье Ладоги сегодня на первом плане. То, что вы видели и видите, — это начало. Но и сейчас мы добиваемся сохранения рыбы от малька до товара почти на пятьдесят процентов, вместе с тем уменьшаются затраты на транспортировку. А теперь давайте считать. План колхоза по вылову сига — пятьсот тонн в год. Из вот этих сеголеток, — Суханов легонько похлопал по контейнеру, — а их мы в этом году выпустим миллион штук — через четыре года можно будет добыть около ста тонн сига. Так как вы думаете, есть смысл заниматься этим делом? Смеетесь? То-то. А если смотреть дальше? Соединить пруд с Ладогой — и рыба, по своим рыбьим законам, будет возвращаться в пруд на нерест. Вы поняли мою мысль?

Мы настолько захвачены оптимизмом Суханова, что легко представляем себе ломящиеся от рыбы прилавки наших магазинов и счастливые лица хозяек. Но Суханов живо возвращает нас с неба на землю, вернее — на воду.

— Урон, который мы нанесли озеру, если и восполним, то очень, очень нескоро. Сейчас самое важное — сохранить воду чистой там, где она еще чиста, и прежде всего сохранить вот эту воду, по которой мы сейчас идем, — ладожскую. Потому что это уникальная вода, и озеро необыкновенное...

— Алексей Николаевич, пора! — говорит бригадир черновской бригады Комотесов.

— Подальше бы надо отойти. Мели здесь. Да и грязновато у берега.

— Дальше нельзя. Туман, заблудимся.

— Ну что ж, начинайте.

Комотесов примостил деревянный желоб, открыл боковую крышку, и с потоком воды, вырвавшейся из контейнера, серебряными каплями полетела в Ладогу рыба. Бойкие рыбешки выскакивали из желоба на палубу, люди поднимали их и выпускали в озеро.

И каждый из нас осторожно, чтоб не обжечь теплом ладони, поднял дрожащую рыбку — серебристую, с лазоревым отблеском, каплю живой жизни. Рыбак, выпуская малька, по обычаю старому, загадывает желание — с надеждой на животворный закон матери-природы. И мы загадали. Чтобы новоладожцам удача была, чтобы не скудела, а богатела трудами их кормилица-Ладога...

Братство

В этой рубрике мы представляем читателю молодых поэтов Кубы и Германской Демократической Республики из городов-побратимов Ленинграда — Дрездена и Сантьяго-де-Куба. Переводы выполнены молодыми ленинградскими поэтами. В современной зарубежной лирике доминируют формы свободного и белого стиха. Переводчики стремились к сохранению всех, в том числе и ритмических, особенностей оригинала.

ЧЕТЫРЕ КУБИНСКИХ ПОЭТА

ХЕСУС КОС КАУССЕ родился в 1945 году в Сантьяго-де-Куба в бедной семье. С детства работал. После революции закончил среднюю школу. Участвовал в кампании за всеобщую грамотность. Служил в армии. Сейчас работает в отделе литературы Национального совета по культуре провинции Орьенте и руководит секцией молодых литераторов.

МИНЕРВА САЛАДО родилась в 1944 году в Гаване. В 1969 году закончила факультет журналистики Гаванского университета. В настоящее время работает в журнале «Куба интернасиональ». Ее книга «В конце радиопередачи», стихи из которой мы публикуем, получила высокую оценку на конкурсе молодых писателей и поэтов Кубы в 1972 году.

КАРЛОС МАРТИ БРЕНЕС родился в 1950 году в Гаване. Закончил факультет испанского языка и литературы Гаванского университета. Член Союза коммунистической молодежи Кубы. Работает советником в Национальном комитете по культуре.

ЭДУАРДО Э. ЛОПЕС закончил отделение испанской литературы филологического факультета Гаванского университета. Был журналистом газеты «Хувентуд Ревельде» — органа ЦК Союза молодых коммунистов Кубы. Сейчас работает директором центра документации издательства «Каса де лас Американас».

Стихи кубинских поэтов перевел с испанского Владимир Приходько.

Хесус Кос Каусcе

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ВЬЕТНАМСКОГО РЕБЕНКА

Родился он
В деревне
Под бомбардировкой.
И умер в тот же день
В деревне той же
Под тою же бомбардировкой.

УОЛТ УИТМЕН

Я только хочу сказать вам:
Поэзия — лампа мира.
Огромнейшее спасибо
За то, что ее зажгли.

РЫБАК

Рыбак уходит в море.
Берет с собою сети.
Берет воспоминанья.
Берет свои мечты.

В открытом море вечер
Похож на порт забытый.

Маяк с луною спутав,
Рыбак поет о звездах,
О девушке любимой,
О пене за кормой.

Ему давно знакомо,
Как веет грустью полночь,
Как море полыхает
Всю ночь огнем любви.

Он до того уставший
Вернется на рассвете,

Что вновь оставит сердце
Вдали на горизонте.

И в тот же самый вечер
Уйдет обратно в море.

Минерва Саладо

ЖЕНЩИНА

Пылает женщина.
Вздымается живот.
Ей двадцать лет.
И плоть ее пылает.
Охвачены конвульсиями
Бедра.
Она горит,
Прикрыв руками груди.
Как лотос,
В языках огня
Пылает женщина
По имени Ань Дай.
Не от любви пылает.
От напалма.

КОЛУМБИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Отлученные церковью
Десять монахов,
Как заговорщики,
Были подвергнуты пыткам.
И беспрерывно
Молился один, умирая:
— О, питекантропы...
Боже мой... Боже!..

Карлос Марти Бренес

ДИАЛЕКТИКА

Нет жизни
Без хлеба.
Нет хлеба
Без рук человека.
И нет человека
Без самой обычной работы,
Которая делает хлеб.

Эдуардо Э. Лопес

ПОЖАЛУЙСТА...

Давайте откроем двери,
Пошире откроем, настежь,
Чтобы ворвался ветер
И вымел даже возможность
Удушья, застоя, дыма —
Всего, что так или этак
Нас приближает к смерти,
И чтобы не было места
Сумрачной, тусклой тени,
Пачкающей улыбки
И не дающей видеть
Пышущие здоровьем
И силой
Лица людей!

Между Ленинградом и Дрезденом установились прочные литературные связи. Вехой традиционного содружества стал сборник прозаических произведений ленинградцев и дрезденцев «Сестра», изданный в 1979 году на немецком и русском языках. В настоящее время готовится к печати еще одна книга подобного рода.

Предлагаем читателю познакомиться со стихами двух молодых дрезденских поэтов.

ТОМАСУ РОЗЕНЛЕХЕРУ 31 год. Экономист по профессии, он закончил недавно Литературный институт им. И. Бехера в Лейпциге.

ГЕРТ ШТАЙНЕРТ только начинает свой творческий путь. Ему 19 лет. Он — победитель конкурса «Мы ищем юных поэтов», проведенного Культурбундом * ГДР среди учащихся средних школ и профессионально-технических училищ.

Стихи немецких поэтов перевел Владимир Фадеев.

Томас Розенлехер

* * *

Внесенный в мир, как сверток, на руках,
я долго и старательно учился
сидеть и ползать,
обходить маневром
колонны стульев и столов.

А ноги все несли меня вперед,
тянулись ввысь,
к надеждам возносили,
чтоб, встав на горизонт
рабочего стола,
шагнуть за горизонт эпохи.

ПОШЕВЕЛИСЬ

Пошевелись, и твоя мать
прикосновением руки успокоит твое тело.
Оно уже больше тыквы. Это кое-что значит.
Понимаешь, сколько тебе надо места.

Пошевелись, ты мудро чувствуешь,
как много тебе надо.
Смотри: и я забегал по комнатам,
стараясь их собой заполнить до предела.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснувшись, изумляемся тому,
что сберегли друг друга слишком просто,
и начинаются горячие упреки,
а по земле плывет воспоминанье
дрожанием литавр,

* Культурбунд — Союз культуры (*нем.*).

и оттого, что дышим мы все жарче,
земля распахивает поры.
Все живое тысяченого и зеленокрыло
стремится к свету.

Листвою вспомнились кусты,
и птицы всем неисчислимым хором
вместе со мной начинают гимн,
как будто ты повторима.

Герт Штайнерт

СТАРЫЙ ГОНЧАР

Его ладонь придумывает профиль
пузатым емкостям.
Он всеми четырьмя руками
выращивает их из глины,
способной к разным превращеньям.

Вся эта хрупкость
копится на полке,
сбитой из шершавых
досок.

Годы
мерно наматываются
на гончарный круг.
И только вечером
он чувствует,
как тяжелеют руки.

КОРЗИНЩИК В.

Сидя на циновке,
он пробует гибкость прутьев,
хранящих прибрежную свежесть.

Он в одиночку
плетет для нас корзины.
А за стеной в зарослях ивняка
дети играют
в космонавтов.

Николай Крыщук

ОБЕЩАНИЕ ЛЮБВИ...
И КАК ОНО ИСПОЛНЕНО В ЛИРИКЕ МОЛОДЫХ

Тема убывающего лиризма в современной любовной поэзии стала сегодня по парадоксу самой задушевной и лирической темой нашей критики. Закон сохранения лирической энергии, таким образом, как будто не нарушен.

Однако там, где чувство стремится к *счастью*, ум ищет *истину*. Не этим ли объясняется невольное высокомерие иных авторов, берущихся рассуждать о любви?

«К любви напрасно жизнь высокомерна...» — написал как-то Е. Евтушенко. И правда — быть может, мы вспугиваем ее своею непогрешимой серьезностью и поэтому вместо бабочки ловим воздух? И становимся «высоко брюзгливы» там, где требуется лишь доверие и понимание.

Передо мной несколько поэтических подборок и первых книжек стихов. Не берусь сказать, представляют ли они поэтическое поколение, но поводы для некоторых обобщений в них, безусловно, есть. Да и кому же, как не молодым, сказать о любви свое слово!

Оговорюсь сразу: в выборе поэтических цитат мною руководила не мера их художественного совершенства, а некая типичность, принадлежность к ряду. По этой же причине я не столько сужу о неповторимости того или иного поэта, сколько ищу в его стихах выражение общих тенденций и устремлений.

Первое, что бросается в глаза, — в сборниках молодых почти нет стихотворений о непосредственных любовных переживаниях: любовных признаний и посланий, выражений ревности и тоски, отчаяния, восторга или страсти. Знаменательно, что чуть ли

не единственное «любовное» стихотворение первого сборника А. Иванушкина «Совесть» названо «Стихи не о любви». И почти во всех стихах о любви какой-то необъяснимый налет старческой рассудочности. Чувство не выплеснуто в торопливой речи влюбленного, а словно сразу явлено в воспоминании, в сожалениях о прошедшем. Как у того же А. Иванушкина:

Наступила весна, отчего
Я прихода ее не заметил?
. . . .
Раньше ждал, раньше связывал с ней
Все надежды мои, все надежды.
Что случилось? Устала душа?
Ах душа, ах душа моя, где же ты?

Такое впечатление, что пишет это не молодой человек, а уже поживший и от всего уставший. Читаешь после этого стихи старого, больного Михаила Светлова и в который раз удивляешься их непосредственности и молодости:

Ты — любовь моя!
Ты — перевертень ума,
Ты — как лето на саночках,
Как в веснушках зима.

Впрочем, сегодня еще невозможно сказать точно, что означает это «старчество» молодых. Действительно ли это проявление нежизнеспособной рассудочности или просто рудимент романтического сознания, вполне объяснимый и простительный в этом возрасте? Вспомним, какими строчками открывается канонизированный трехтомник стихов А. Блока:

Пусть светит месяц —
Ночь темна,
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.

Однако, разумеется, этим категорически заявленным пессимизмом вовсе не исчерпывалось мироощущение молодого поэта. В перспективе же всего блоковского творчества это оказалось лишь одним из мотивов, который в сочетании с мотивами веры и любви дает нам представление о трагическом миросозерцании автора стихов (в противовес «голому» пессимизму или «голому» оптимизму).

Поэтому сегодня я вовсе не хочу прогнозировать судьбы поэтов, а только отмечаю этот недостаток непосредственности в стихах о любви и наличие элегически-рассудочного начала.

Если случается любовному чувству получить голос в стихах молодого лирика, то, как правило, он прорывается в какой-нибудь стилизации, часто фольклорной:

Эх, любовь — кольцо-колечко...
Я и добрый, я и злой.
Стыковалась моя печка
С облаками и землей.

(Юрий Красавин, «Емеля»)

Чаще всего любовное чувство выражается у молодых поэтов в формах опосредованных: стихотворных медитациях, обращениях к великим примерам прошлого, к классическим любовным сюжетам. Только у одной Натальи Галкиной в сборнике «Горожанка» целые стихотворные циклы и отдельные стихотворения посвящены Орфею и Эвридике, Лилит, Адаму, Еве, Золушке и т. д. Здесь есть и возвышенные чувства, и накал страстей, и игра, и философия любви, и диалектика любовных взаимоотношений. Поводом для такого рода стихотворений может послужить, например, вышивка на стенном коврике:

Дама в розовом халате,
Он с усами, без волос,
Подает цветы ей: «Нате,
Принимайте, раз принес».

А она, как по уставу
(Что ли, зря ходить ему?),
Руку влево, нос направо:
«Благодарствуйте, приму».

Он, сияя бритой кожей
(Метод — гладь и цвет пшена):
«Я сегодня стал вельможей,
Выходите за меня».

Без кокетства и коварства:
«В долгий ящик не кладу,
Если нужно государству,
Разумеется, пойду».

Чего больше в этом лубке: иронии над примитивом чувств барышни и ухажера или ностальгической любовной тоски, которая водила в скучные длинные вечера рукой тетки Лизы?

Мелодия любовной ностальгии часто звучит в стихах Натальи Галкиной. Героиня ее переносится мыслью не только в прошлый век или в стародавние времена, но и обращается к поре близкой, стоявшей у истоков ее собственной биографии:

Кровли зачинены, жены добры,
В тапочках легких, со стрижкой бессменной,
Где ты, любовь довоенной поры,
Не обретенная в послевоенной?!

Где же ты, где, Сулико? Почему
Не обрету я тебя, не оплачу?
В доме моем к очагу моему
Снег твой припал, весь твой снег, не иначе.

О Сулико! Стольких судеб рои
Пеплом летят над цветами, над былью,
И соловьи-патефоны твои
На чердаках покрываются пылью.

Все пережив, ты исчезла сама...
Только и жизнь не кончается с нами!
Как я упорствую. Снова грома.
Где ты, любовь? За какими горами?

Стихи о необретенной любви, о любовной тоске, разумеется, такая же (если не бо́льшая) принадлежность любовной лирики, как и любовные признания. В XX веке в начале этого ряда стихотворений стоит такой шедевр, как блоковская «Незнакомка».

Другое дело — недостаток непосредственности в передаче любовных переживаний. Но и это еще не свидетельствует впрямую о скудости любовной лирики. К тому же наши претензии к ней не столь уж новы. Ровно семьдесят лет назад в статье «О современном лиризме» Иннокентий Анненский жаловался на то, что в поэтических «строчках засело что-то серьезное, вяло-учебное». «...Мы уже не умеем быть дерзкими, — писал он. — В самом вызове мы стали равнодушны и педантичны...» Отмечая, что поэзия Ф. Сологуба чужда непосредственности, один из тончайших лириков нашего столетия восклицал: «Хотя где они и вообще у нас, Франсисы Жаммы? уж не лукавый ли Блок?»

Уверен — обратись мы к пушкинской эпохе или к временам европейского Ренессанса, мы и там нашли бы упреки подобного рода. Меняются критерии (сейчас Франсиса Жамма вряд ли кто назовет эталоном поэтической непосредственности), но упреки остаются. При этом было бы опрометчиво судить по ним о том, чем живет современное искусство. Просто наше чувство прекрасного, равно как и потребность в любви, ярких переживаниях, ни-

когда не сможет быть утолено. И прекрасно. Иначе чем бы питались поэзия и любовь? Ведь и то и другое больше выражение желаемого, чем сущего.

Однако кроме этого объяснения читательской неудовлетворенности, верного для всех времен, должны быть и другие — социально и психологически конкретные.

Сегодняшняя лирика молодых, как мне представляется, в большинстве своих проявлений замкнута на состоянии. Это какой-то огромный каталог состояний. Не реки, быстро текущие по миру событий и судеб, а лесные озера, разглядывающие в себе разнообразные перемены небесного пейзажа. Происходит как бы обучение души, фиксация ее возможностей, приноравливание к миру. Личность в этот момент малоконтактна, малоотзывчива, она боится фальшивого звука, поэтому старается без нужды не форсировать голос.

Любовь в стихах молодых — чувство сугубо интимное, нередко отгороженное от разнообразных явлений жизни сферой личного существования. Космические, природные, социальные силы как будто не участвуют в нем. То и дело встречаешь в сборниках молодых заклинания, вроде: «Любовь моя — тихая, любовь моя — тайная» (А. Гришин). Ахматовское требование к поэту быть настежь распахнутым перед современниками, думаю, мало у кого из молодых встретило бы сегодня сочувствие. Большинству современных молодых поэтов далеко и до того диапазона восприятия жизни, при котором Маяковский, адресуя «Письмо Татьяне Яковлевой» в Париж, мог заметить со счастливой прямотой:

...вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих;

или признаться в «Неоконченном»:

Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью,
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданью.

Любовная лирика молодых выявляет несколько замедленный процесс их духовного созревания. Обращенность внутрь себя нередко оборачивается эгоцентризмом, а любопытство к миру оказывается слишком потребительским, равнодушно-комфортным; разнообразные картины жизни уже не вызывают ожога радости

или боли, а лишь удовлетворяют эстетическое чувство, словно их рассматривают, как цветные слайды в детской комнате при свете волшебного фонаря.

Поэты и сами чувствуют опасность, которую несет эта поглощенность собой. У Юрия Герасимова есть на эту тему характерное четверостишие:

Покопался в себе — и хватит.
Продолжай каждодневный труд.
Если почву все время лопатить,
Семена никогда не взойдут.

Но все же эта замкнутость на состоянии должна иметь какое-нибудь объяснение. Думаю, что причина его в стремительном старении и разрушении всевозможных нравственных, философских и религиозных догм и абсолютов, свидетелем которых был истекший век. Открытия в области физики, астрономии, естествознания, социальные революции и войны, перекроившие политическую карту мира, — все это, сопряженное с тенденцией к ускоренному развитию, заставило современного человека, как героя пастернаковского «Марбурга», пережившего любовное потрясение, почувствовать себя «туземцем планеты на новой планиде». Стремительность перемен внесла смятение и в область интимных переживаний, отразилась на духовной жизни и искусстве.

Поэзия не призвана создавать абсолюты. Она — звуковое продолжение сознания, и при всех своих пророческих свойствах (известно, например, сколь часто поэты оказывались пророками революции) обладает способностью в некоторые исторические периоды запаздывать за лётом времени, как звук запаздывает за самолетом. Так случается, например, после крупных социальных потрясений, затронувших все пласты жизни, нарушивших традицию и воззвавших не только к новому социальному устройству, но и к созданию нового культурно-исторического контекста. Разумеется, существует преемственность между старым и новым, но существует и психологическое ощущение исчерпанности старого, когда усталая трансформация его должна перейти в этап качественно новый — созидание. Продолжительность этого процесса установить невозможно, ясно только, что в масштабах человеческой жизни она огромна. Это связано и со стабилизацией социальных идей, и с отлаженностью быта, и с возникновением новых культурных традиций.

Все это в равной мере касается и любовной лирики. Одни лишь чувства и талант не могут решить дело. И то и другое, когда

речь заходит об искусстве, осуществляют себя в полной мере лишь в контексте эпохи, в контексте культуры. То главенствующее положение, которое любовь занимала в античности, или в произведениях эпохи Возрождения, или в произведениях романтиков, сейчас явно находится под сомнением.

Ни эпикурейски безмятежной, ни религиозно-мистической, ни салонно-эротической, ни язычески-страстной любовной лирики представить сегодня невозможно. Речь идет, разумеется, не о подражании, а об эстетической и мировоззренческой ориентации.

Быть может, прав герой романа Апдайка «Давай поженимся», предположивший, что мы живем в паузе между старой и новой любовной моралью? Это, во всяком случае, хотя бы в некоторой степени объяснило повышение внимания к любви психологов, социологов, романистов и отступление на второй план этой темы у поэтов.

То, что ученые называют «сексуальной революцией», — явление для нас настолько новое, длящееся на наших глазах, что еще трудно, почти невозможно предположить формы, в которые выльются любовные отношения в ближайшем будущем. Освободившись от многочисленных запретов, которые накладывало на любовь христианство, человек оказался перед лицом природы наедине с самим собой, со своими нравственными понятиями, волей и разумом.

В любовных отношениях стал более значителен элемент сознательного (имею в виду не рационализм, а моральную окрашенность любовного чувства). Любовники сегодня — непременно и товарищи, люди, равные в праве на наслаждение, стремящиеся к гармонии не только чувств, но и взглядов на жизнь. Это явление, безусловно, отрадное, но есть в нем и оборотная сторона. Доступность любви и равноправие партнеров почти совсем вытеснили из любовного обихода понятие святости. Померк ореол Прекрасной Дамы, поржавели рыцарские доспехи.

Высокое любовное переживание всегда было связано с представлением о бесконечности и тайне. Но сам смысл этих слов как бы постепенно повыветрился из нашего сознания. Парадокс, но во времена давние, когда человечество еще не представляло себе действительных масштабов Вселенной, понятия бесконечности и тайны были для людей более живыми и актуальными. Почему так произошло? Или подсчеты астрономов не вызывают трепета перед тайной рождения Вселенной, сродного чувству, возникающему от созерцания звездного неба? Или работы Эйнштейна меньше влияют на воображение современного человека,

чем на нашего предка влияла непостижимость грозового распада?

Упрек в прагматизме, предъявляемый нашему времени, не совсем, на мой взгляд, точен. Здесь дело в глобальной перестройке сознания, в стремлении подлинность чувства сопрячь с новыми представлениями о мире. Говоря сегодня о любовной поэзии, мы имеем дело с издержками этого процесса.

Во многих сборниках молодых поражает робость чувств, неумение выбрать масштаб, взглянуть на жизнь шире. В них не хватает главного — средоточия духовного действия, которое привело бы к возвышающему все прочие чувства и поступки состоянию — любви. И здесь бессмысленно критикам ругать поэтов, а поэтам ссылаться на объективность; каждому время взглянуть на себя и на жизнь вокруг и открыть в себе и в жизни источники новых сил или хотя бы научиться активно ждать новое. Ведь и весна начинается в нас. Конечно, и без нашей душевной работы однажды ночью теплый ветер слижет снега. Но это будет не долгожданное, а тоскливое превращение природы, которое не пробудит нас от спячки. Разве чуть быстрее потечет кровь, напомнив о неисполненных желаниях, разве еще солнечный зайчик запрыгнет в сонные глаза, но и его мы с улыбкой прогоним с лица ладонью.

Именно этой честной мужской верностью ожиданию близки мне стихи Дмитрия Толстобы. Он не взывает к теням прошлого, не обижается на время. Существование героя в его стихах обыденно, есть в нем свои всплески радости и перемежающиеся с ними состояния душевного простоя. Голос его прост, ненапряжен; кажется, будто вы прохаживаетесь вместе по знакомым ленинградским набережным и улицам. Он как будто не торопит момент радости и поэтому никогда не перепутает счастье с экзальтацией чувств, но в то же время он внимательно вглядывается в окружающее, чтобы не пропустить мига любви, когда тот настанет. И на все поэтому он смотрит глазами любви:

Впадаю в парк неторопливо.
Пошли по сумеркам зеленым
косые алые наплывы —
их ветры скалывают с кленов.

Что ж... Скоро ветви обнищают.
И сумрак скроет переливы.
Ничто любви не обещает.
Но я парнишка терпеливый.

Он как бы сам населяет мир любовью, зрение его вдруг становится подробным, чувства обостряются, и нет выхода этому ощущению единства с миром и людьми:

Запахло в городе грибами,
брусникой, мхами и корой.
Мужчины пиво пьют у бани.
Я становлюсь в их теплый строй.

Лесной комар над кружкой кружит.
Паук сползает по стене.
И это все зачем-то нужно,
зачем-то очень нужно мне.

Такая любовь, воплощающаяся в обостренном чувстве родства с людьми, кажется мне подлинной; она дарит и радостью, и скорбью, и, главное, — обещанием.

Это настроение, этот мотив мы встречаем из молодых не у одного только Дмитрия Толстобы. Вот он же у Юрия Герасимова:

Пусть не сейчас, пускай не скоро —
Не обойди меня судьбой:
Дай встретить женщину, с которой
Я мог бы стать самим собой.

Самим собой... Не так уж много,
Не о несбыточном молю.
Я и такой похож на бога:
Все человечество люблю.

«Да не размываем ли мы границы темы, не уклоняемся ли от вопроса? — говорит читатель. — Ведь тогда выйдет, что почти любое стихотворение написано о любви».

Да, отвечу, границы размываем, но от вопроса не уклоняемся. Впрочем, не мы и размываем эти границы, а сама тема просится из них. Да и было ли когда-нибудь в русской поэзии иначе? Когда подлинная любовная лирика существовала вне социальных и философских вопросов, когда не была она совершеннейшим выражением отношения человека к времени и космосу? Ведь помним мы, что свой стихотворный цикл «Родина» Александр Блок открыл стихотворением, которое посвятил жене.

Такое половодье любовного чувства в лирике молодых, когда неопределимы очертания его, когда проникает оно и в пейзаж, и в жанровую сцену, и в политическое стихотворение, не пугает, а радует меня. Пугает другое: когда заявленная в первых строках любовная сцена оттесняется холодноватой игрой слова, тонет в банальностях, а то и вовсе присутствует лишь номинально, словно поэт выполняет обязанность перед темой. Тут мы имеем

дело с безлюбовной лирикой, которая только выдает себя за любовную.

Так, нередко темой стихотворения у молодых становится мимолетное влечение к случайной встречной. Тема эта в русской и советской поэзии не новая, только у Блока стихотворений подобного рода наберется не меньше десяти, среди них такие шедевры, как «В ресторане», «Седое утро» и другие. Лирическая напряженность, драматизм переживаний нередко достигают в них высшего предела.

Сегодня загадочный взор красавицы не обжигает сердца поэтов. Ученически правильно справляются они со своим чувством. Вот для примера стихотворение Николая Чехова «Агроном»:

В полях, туманами повитых,
Где сумрак дружен с тишиной,
Проходишь ты
И деловито
Срываешь колос наливной.
И он лежит в твоей ладони,
Тяжеловесен и усат.
Твой взгляд
В хлебах раздольных тонет,
Как тонут в нем
Глаза ребят.
Пришла ты из другого края
В мои леса, мои луга...
Тебя назвать бы «дорогая»,
Но ты другому дорога!

Не буду ставить под сомнение высокую нравственность автора, которая продиктовала ему заключительные строки, но только представляется мне, что в качестве подписи под портретом сельской труженицы они выглядят не особенно уместно. Ведь в описании агронома нет и намека на любовное чувство. В лучшем случае по тому, как деловито срывает героиня усатый колос, мы можем заключить, что она хороший агроном и к работе своей относится с любовью. Но даже из самой чувствительной души эти прекрасные качества не способны исторгнуть любовное признание. Так ведь можно всем мастерицам своего дела в любви признаться. Кстати, ровно через два стихотворения автор подтверждает это предположение. Восхитившись мастерством кружевницы, он тут же переходит к любовному признанию: «А мне все снятся синь-глаза, И взгляд твой снится...»

Иногда безлюбовность даже и не очень скрывается. Это уже качественно иное ее проявление. В некоторых стихах утверждают себя этакие анти-Вертеры, апологеты Дома. Их воля к жизни — форма проявления любви к себе. Так и слышится вопрос: «Не стреляться же в самом деле? Не на любви свет клином».

Вот стихотворение Юрия Красавина из сборника «Журавлиный лет»:

Стали губы твои надменны,
И пошел упрек на упрек.
Между нами выросли стены,
Пригибается потолок.
Между нами
Погасло солнышко.
И чего мы только
Ждем?
Раскатать потолок бы
По бревнышку,
Но боимся разрушить
Дом...
Пусть плохой,
Хоть какой...
Между нами,
Дом хорош,
Не нужен другой.
Доругаемся
И дотянем
До серебряной,
До золотой...

Что противостоит здесь желанию лирического героя разрушить свое безлюбовное счастье, кроме стремления к душевному комфорту и боязни перемен? Судя по всему — ничего. Просто был бы дом, «пусть плохой, хоть какой», но свой. А ведь дело, судя по нагнетанию образов в начале стихотворения, не в заурядной ссоре любящих; непохоже это и на интенсивное чувство любви-ненависти. «Доругаемся и дотянем» — вот и вся стоическая философия семьянина.

Я не склонен думать, что это явление сугубо современное. Ведь и в народе было всегда две мудрости, и одна из них гласила: «Стерпится — слюбится». Но то, что сегодня в эту пресную похлебку некоторые пытаются подмешать романтической приправы, — явление новое. Тут и о нравственном долге говорят, и о мужестве жить, когда любовь прошла, и о сострадании... Великих влюбленных всех веков упрекают в узости кругозора и в этической уязвимости.

Кто же спорит — лучше не стреляться, а жить, даже если ты несчастлив в любви. Но только не надо безлюбовность представлять любовью, как это сделали, например, авторы фильма «Романс о влюбленных». Не надо думать, что любовь — прилагаемое к прочим радостям и заботам жизни.

Любовь — способ существования, то есть способ труда и совести, долга и красоты. Высшим выражением ее для человека всегда являлась любовь мужчины и женщины. Но и то правда,

что если личная жизнь человека не сложилась и не встретил он на дорогах мира своего лица в женском лике, то возможности проявить и ощутить любовь все равно остаются безграничными, потому что безграничны они во Вселенной. И именно это чувство безграничности любви является последней опорой человека в его взгляде на мир и на собственную судьбу в нем. Именно так нужно понимать, по-моему, слова поэта о том, что «только влюбленный имеет право на звание человека».

Анализ любовной лирики молодых, мне кажется, не дает сегодня основания для каких-либо крайних выводов. Не взялся бы я и прописывать рецепты, поскольку проблема эта шире и не лежит только в области поэзии. Именно пристальное внимание к жизни, отзывчивость, овладение современной культурой могут помочь молодым сказать свое слово об этом индивидуальнейшем и интимнейшем переживании.

Ольга Козлова

СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО — ЖИТЬ!

«Где он обитает нынче — этот самый молодой герой? Притихли что-то споры о нем в критике (вспомним, какие страсти кипели на эту тему, скажем, десять—пятнадцать лет назад); не очень-то охотно предоставляют ему место на своих страницах прозаики и драматурги (хотя, конечно, изредка вспоминают о нем)...» — так начинает свои раздумья о молодом герое Николай Кузин («Москва», 1979, № 8).

Действительно, критика сейчас больше занята проблемами развития «деревенской» прозы и характером «делового» человека. Но вот сама-то проза и драматургия... Ведь герои привлекшей всеобщее внимание «производственной» драматургии, все эти «деловые люди» — Чешков И. Дворецкого, Лагутин Г. Бокарева, Бобров и Петров В. Черных, Сакулин и Шиндин А. Гельмана — все они молоды. Да и герои «деревенской» прозы не одни старики и старухи. Вспомним хотя бы Виктора Нетесова из последнего романа Федора Абрамова «Дом», которого одни считают вариантом «делового» человека в деревне, а другие и вовсе новым, «загадочным» для «деревенской» прозы характером.

И все же... Все же Виктор Нетесов не герой «Дома», а лишь его персонаж, увиденный прежде всего глазами Михаила Пряслина. «Деловой» же человек появляется на сцене и на экране с вполне сложившимся характером. Это человек, твердо знающий, чего он хочет, и умеющий добиваться этого, принимающий решения и готовый отвечать за последствия этих решений. Это, если воспользоваться названием одной из пьес В. Черных, «человек на своем месте».

Очевидно, поэтому, пожалуй, никто еще и не говорил о герое «производственной» драматургии как о *молодом* герое нашего

времени. Ведь само понятие «молодой герой» связано у нас прежде всего с поисками места в жизни, с открытием мира, осмыслением его и себя в нем. Десять — пятнадцать лет назад такой герой привлек к себе пристальное внимание авторов «исповедальной» прозы и вызвал то кипение страстей в критике, о котором вспоминает Н. Кузин. Существует ли он сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к нескольким произведениям ленинградских писателей, опубликованным в последнее время.

«Свет на сцену» — первая книга Игоря Куберского. Три повести, составляющие большую ее часть, — «Мальчику вслед», «Свет на сцену» и «Давай начнем сначала» — заставляют вспомнить героя «исповедальной» прозы 60-х годов. На первый взгляд, каждая из них совершенно самостоятельна, герои носят разные имена и могут показаться совершенно разными людьми. Но постепенно читатель убеждается, что повести объединены именно героем. «Мальчику вслед» — воспоминания о детстве где-то в гарнизонном городке, благополучном, послевоенном детстве. Это даже не воспоминания, а врезавшиеся в память ощущения и впечатления: «...поле огромное... а вокруг поля светят деревья и все облетают, облетают, образуя желтую кромку, и, остановившись, я смотрю на эти деревья и на убегающую стайку мальчишек, и огромное ликующее чувство переполняет меня. Вот-вот я закричу от счастья, — я закусываю губу и бросаюсь вслед за остальными».

Герой второй повести — выросший мальчик. Сергей до призыва в армию работает осветителем в одном из дворцов культуры, большая часть «Света на сцену» посвящена именно работе. И вот тут-то в нашем герое появляются черты, решительно отличающие его от былого героя «исповедальной» прозы. Тот входил в мир, как правило, твердо зная, что мир нуждается в немедленном и решительном переустройстве; окружающие, особенно те, кто были старше его, представлялись ему замшелыми консерваторами, и характер его проявлялся в столкновениях с нередко мнимыми противниками. Сергей не жаждет каких-то радикальных и немедленных перемен, он способен довольно быстро и точно оценивать людей, с которыми сталкивается, он прекрасно понимает, что его начальник, старший осветитель Перетряхин, не только мастер своего дела, но и что «перетряхинские «закидоны» (то есть прямая и точная требовательность)... не что иное, как самый оптимальный вариант действия, предложенного нам для исполнения». Он знает и то, что истина жизни состоит в этом оптимальном варианте, а не в снисхождении к собственным слабостям и слабостям других, которого совершенно лишен Перетряхин. Но это знание существует у него само по себе, каким-то

образом оно откладывается на будущее, «в котором я, став наверняка лучше и мудрее, уж разберусь, что это там было между нами, какие такие дела-разговоры, поступки-проступки». В настоящей жизни Сергей с готовностью поддерживает все наскоки на Перетряхина своего напарника Владимира Дятла, «потому что внешне все выглядело как раз наоборот: взбалмошный, въедливый старикашка измывается над хорошими ребятами, ни в грош не ставит, вздохнуть не дает...» Боязнь последовать за Перетряхиным, стать таким же «запаленным» и приводит Сергея к настоящей подлости, он подписывает заявление о том, что под руководством Перетряхина невозможно работать, при этом стараясь оправдать себя: «Там было написано все, что и в самом деле было, и могло вполне сойти за правду». Но правдой-то это не было, и Сергей, знающий истинную цену и Перетряхину, и написавшему заявление Владимиру Дятлу, отлично понимает это. Понимает, но хочет жить жизнью «нормального», «удручающе нормального», с точки зрения Перетряхина, человека, пользуясь при этом «человеческой» поддержкой Дятла. Перетряхин таких «удручающе нормальных» людей не понимает, поэтому и не считается с ними. Он «поборник силы и красоты», не случайно и повесть кончается его словами: «Сережа, ты будешь всю жизнь об этом жалеть». Жалеть о проявленной слабости, о несостоявшемся поступке, об отложенной на будущее настоящей жизни, отложенной и потому не состоявшейся. Жалеет ли Сергей? Вероятно, жалеет, иначе зачем ему вспоминать и Перетряхина, и себя тогдашнего, зачем несколько раз в году фантазировать: «...а напишу-ка я письмо тому, тому и тому, — и, начинаясь как оправдание, это продолжается уже как уверенность, что можно поправить и возвратить. Может быть, так оно и есть?»

«Возвращение — это прекрасно. А можно ли вернуться?» — это размышления уже героя «Давай начнем сначала» Андрея Афанасьева. Сергей был накануне призыва в армию, Андрей служит уже год и пользуется служебной командировкой, чтобы навестить родных, увидеть родной город. «Я думал, что везу с собой радость, — ехал и улыбался». Но радость встречи быстро схлынула, и осталось странное чувство пустоты, ощущение себя чужим в родном доме, чужим в родном городе. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Значит, наш дом — это тоже река. А я думал, что озеро», — размышляет Андрей. Почему же все-таки ему так тяжело с родными, с близким другом, даже встреча с девушкой не приносит радости? К армии он привыкал мучительно трудно, его терзало ощущение незащищенности, а теперь: «...там, в армии, все ясно. Там, что ни говори, все твои привычки. И главное — там тебе лучше, спокойнее. Ты при деле». Может

быть, и возвращение так тяжело, и радость встречи так непрочна именно оттого, что Андрей прежде всего ищет именно покоя, не спокойствия человека, уверенного в правильности своих мыслей и поступков, а покоя, обеспеченного и защищенного кем-то другим. Не случайно он постоянно ждет от окружающих полного понимания и одобрения. «Мне казалось, что все меня поймут — и не будет обиженных». Надеясь на это всеобщее понимание, Андрей с легкостью обижает и родных, уходя от них в последний вечер, и друга, и Машу, девушку, которую встретил. Он восхищен ею, но больше всего благодарен за то, что она сама решает все в их отношениях, освобождая его от ответственности за них. Любит ли Андрей Машу? Нет, он сам сознается в этом, но гаснет даже его порыв честно сказать: «Знаешь, Маша, я сукин сын, плюнь ты на меня». «В конце концов, успокоил я себя, человек не только то, что он сейчас про себя думает. У него всегда тысяча возможностей доказать, что это не так». Опять герой откладывает настоящие поступки, настоящую любовь, истинную жизнь на потом, на будущее. Может быть, поэтому так легко дается ему прощание? Легко было проститься с Машей, с родными, с городом: «Все совершилось и стало прошлым. Но и прошлого не было... Я ехал сквозь город и прощался с ним. Вернее, думал, что прощаюсь. Я его не видел, так же как он меня. Мы больше не принадлежали друг другу — у нас не осталось общих дел».

После этих горьких слов о «легкости» прощания мы видим мучения Андрея в ожидании последнего Машиного звонка, но что скажет он ей, когда она позвонит, он и сам не знает: «В три я ей позвоню. О чем мы будем с ней говорить?» Наверное, поэтому и не звонит и не пишет ему Маша. «Я ее понимаю, а иногда не понимаю», — признается Андрей.

Герой повестей Куберского, как безжалостно видит сам автор, полностью сосредоточен на себе, своих переживаниях, чувствах, ощущениях. Требуя всеобщего понимания, он даже не пытается понять других, если же случайно и понимает, то торопится заглушить в себе это понимание, не желая тревожить себя, принимать какие-то решения. Он привык, что за него решают другие, ему остается только подчиняться обстоятельствам.

Однако нежелание принимать решения может дорого обойтись, может искалечить жизнь человеку, как это почти случилось с Ростиславом Дронниковым, героем повести Галины Грушиной «Азы» («Нева», 1979, № 9). Человек, который с детства знал, что будет только художником, к моменту нашего с ним знакомства работает младшим научным сотрудником в одном из НИИ, но наука существует для него «от девяти до шести». О работе художником в кинотеатре «Космос» он вспоминает как о счаст-

ливейших днях своей жизни и отбывает службу переводчиком при заведующем отделом, смутно надеясь на далекую экспедицию. На людей, по-настоящему занятых наукой, он смотрит со стороны, удивляясь их «фанатизму», а в приятелях у него оказывается расчетливый карьерист Мокроусов, «состоящий только из настоящего». «Ну что за жизнь!» — размышляет Дронников. Неприкаянное положение в НИИ... И еще один слой — вина перед Нелькой, домашний неуют. Эти слои никак не соприкасаются, но они равно несносны и составляют его бытие. Да, отношения с отцом — еще один слой. И еще один — рисование. Интересно, так у всех или только у него? Жизнь, составленная из лоскутьев. Существование сразу в нескольких мирах. И в каждом у него другое лицо. Как достигнуть гармонии?

Что же привело Дронникова к этому дисгармоничному состоянию? Именно отказ от решений, попытка просто плыть по течению. Решил отец-академик, что неудавшийся художник станет метеорологом, и сын стал занимать чье-то место в НИИ; не удалась юношеская любовь — что ж, можно быть и с нелюбимой, лишь бы кто-то был рядом; нет настоящего друга — годится в приятели и приспособленец Мокроусов. Так постепенно жизнь и дробится, раскалывается, теряет смысл. Дронников нашел в себе силы оставить опостылевшую службу, пойти работать художником, прийти к почти забытым друзьям, уйти от тех, кто, «прикрываясь красивыми, но выхолощенными словами, превыше всего ставили свой успех и удовольствие». Но, постигая простые истины, азы, — «что следует дорожить людьми, которые нас любят, что не все то золото, что блестит», — Дронников чуть не потерял любовь. Нелька, нелюбимая, но так уверенная, что без нее он пропадет, любящая его, мать его сына, готова оставить его, кажется не простит ему обиды и одиночества. «На скамейке в тени кустов сидела Нелька с ребенком на руках. Втянув голову в плечи, она смотрела на него в напряженном ожидании». Что скажет ей, что сделает Дронников? Он теперь знает, что нет худшего поступка, чем причинить боль любящему человеку, что «каждый человек творит мир заново. Мир, себя, судьбу». Каким будет его мир — теперь зависит только от него.

Юра Смольников, герой повести В. Мусаханова «Паруса» («Нева», 1979, № 8), намного моложе Ростислава Дронникова — ему всего пятнадцать, и ситуация, в которой он оказался, не столь остра и, можно сказать, давно нам знакома. Школьник вступил в конфликт с учительницей, которой «все написанное в учебниках казалось очевидной истиной». Сколько раз уже мы сталкивались с такого рода конфликтами и в так называемой «школьной» драматургии, и в повестях и рассказах о десяти-

классниках. Сначала кажется, что и Смольников уже привычно для читателей на протяжении всей повести будет спорить с учительницей, потом его не поймут родители, но в конце концов найдется мудрый наставник, способный все понять, недалекая учительница будет посрамлена, а родители поймут своего сына. Однако ничего этого не происходит. Юра прекрасно понимает, что и ему «не надо было при каждом ответе по литературе выказывать пренебрежение к предмету и доводить до идиотского абсурда какую-нибудь неудачную фразу из учебника», что «если бы Любаша хоть раз оспорила меня, что было нетрудно, если бы она перед всем классом спокойно выявила идиотизм моих ответов, то это, вероятно, отбило бы у меня охоту паясничать. . .» Но учительница, считавшая истиной в последней инстанции школьный учебник, ничего подобного не сделала, и результатом ее очередной стычки с учеником оказался уход Смольникова из школы. При этом он совершенно не гордится этим, как его ровесники десять — пятнадцать лет назад. Он мучительно ищет выход из создавшегося положения. «Как жить дальше? Этот дохлый вопросик вы задаете себе осенним днем, и вам до слез охота, чтобы все осталось, как прежде, чтобы и дальше жилось по-старому, но по-старому жить уже нельзя, а по-новому вы еще не умеете». Вернуться в школу, попросить прощения за дерзости у учительницы? .. «Даже в воображении все это выглядело омерзительно и невозможно». Пятнадцатилетний человек впервые серьезно задумывается о будущем, начинает понимать, что оно «не картинка из журнала мод». Юра решает сдавать экзамены сразу за два класса экстерном. Решение снимает тяжесть с души героя, у него появляется цель. «Я вдруг почувствовал и осознал, что взял на себя очень много. Так много, что только держись. Я никогда не думал, что самое трудное — это решать самому... Это настоящий день рождения, когда вы принимаете на себя ответственность за жизнь, которая у вас впереди... Но принять решение, осознать свою ответственность хотя бы только за себя самого — лишь первый шаг, решение надо как-то осуществлять. Поначалу все в жизни Смольникова складывается прекрасно: с помощью старшего друга Василия он устраивается работать в заводское КБ, готовится к экзаменам. «Если вам уже пятнадцать, а вы еще ничего не сделали самостоятельно, то вы и не знаете, сколько у вас сил. И ошибаетесь, думая, что их очень много или, наоборот, очень мало. И вам просто необходимо чего-нибудь добиться самому, чтобы понять, сколько же сил у вас на самом деле. И чем серьезнее ваша задача, тем вернее вы сможете оценить свои силы. И я занимался, работал в КБ и попутно выяснял, на что способен».

Юра оказался вполне способен заниматься самостоятельно, подготовиться к экзаменам, но первая же неудача — отказ допустить его к ним из-за отрицательной характеристики, выданной ему бывшей учительницей, — выбивает его из колеи. Все сразу становится ненужным. «. . .Я томился обидой на всех и вся. И от этой обиды я уже ничего не соображал, почти перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. И эта грустная тихая истерика все больше сковывала и превращала в оцепенелого идиота, и я уже иногда испытывал даже удовольствие от своего настроения и не хотел ничего понимать, абсолютно ничего. . .» Как легко этот юноша мирится с поражением! Что же будет с ним дальше? Дальше «ты будешь на все плевать, — говорит Юре его друг, — а другие будут думать за тебя. . . всегда найдется какая-нибудь бездумная необременительная работенка», и пойдет жизнь-существование без цели и смысла, начнутся сожаления о безвозвратно ушедшей, бесплодно прожитой молодости. . . Не зря друг обвиняет героя в боязни настоящей работы, потому что «главная работа — это добиться своей цели». Мирясь с поражением, Юра отказывается от этой цели, но, как говорит он сам, он «всего лишь родился, и предстояло серьезное дело — жить». Жить, принимая самостоятельные решения, отвечая за них, трудно, но вряд ли Юрий Смольников сможет вернуться к прежней бездумной жизни. В. Мусаханов оставляет своего героя как бы на распутье: «Если ты действительно честный человек, то подумай обо всем крепко и реши, хочешь ли того, чего добиваешься, и хватит ли тебя на это. . .» — говорит ему друг. Вновь герою предстоит принимать решение, выбирать не просто цель в будущем, а образ жизни.

Пожалуй, такой выбор предстоит не только Юре Смольникову, но и всем молодым людям, с которыми познакомили нас Мусаханов, Куберский и Грушина. Азы, истины для многих простые и естественные, порой даже банальные, постигаются ими нелегко. Теперь им придется эти истины прилагать к собственной жизни. Принимать решения трудно, но еще труднее не отказываться от них.

Итак, молодой герой, занятый осмыслением собственной жизни, существует и в наши дни. По сравнению с прежним героем «исповедальной» прозы он меньше склонен немедленно судить, обличать и выставлять оценки, он меньше действует, но больше размышляет, он даже готов признать свою неправоту в каких-то ситуациях. Однако его позиция по отношению к окружающим — это зачастую позиция наблюдателя. Он сам по себе, наш герой, еще более эгоцентричен, чем десять — пятнадцать лет назад, и этот эгоцентризм преодолевает с величайшим трудом.

Что же, такой эгоцентричный наблюдатель — единственный молодой герой нашей литературы? Разумеется, нет. Рядом с повестью Г. Грушиной в «Неве» опубликована повесть В. Ларина «Вдоль Млечного Пути», герой которой тоже молод, но ничего общего не имеет с рассмотренными нами. Гена Маслов, герой рассказа И. Куберского «Дорогой товарищ Рута!..» — ровесник Андрея Афанасьева, но как далеки они друг от друга. Героя, который, как в фокусе, собрал бы в себе основные черты целого поколения, сейчас, пожалуй, нет. Но каждый новый молодой человек — герой повести или рассказа добавляет какую-то новую черту в коллективный портрет поколения; что-то свое и необходимое вносят в этот портрет и те, о ком мы говорили в этой статье.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

ПЕРЕВОДЫ

КРИТИКА

Альманах

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980, 336 стр. План выпуска 1980 г. № 49. Редактор *Н. А. Милосердова.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *Л. П. Полякова.* Корректор *И. Г. Клейнер.* ИБ № 1981. Сдано в набор 27.07.80. Подписано к печати 05.11.80. М 15277. Бумага тип. № 1. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19.53. Уч.-изд. л. 18.48. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1916. Цена 1 р. 40 к. Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р. 40к.

